

УТҚУР ХАШИМОВ

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

ПОВЕСТИ

Перевод с узбекского

Ташкент

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма

1988

Уз 2
X 29

X $\frac{4702570200-52}{M352(04)-88}$ 59-88

ISBN 5-635-00050-9

©
Издательство литературы
и искусства имени Гафура Гуляма,
1988 г. Перевод. Оформление.

УТКУР ХАШИМОВ ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

Перевод автора.



Эта повесть состоит из больших и маленьких новелл. Но объединяет их образ самого дорогого для меня человека — матери. Тех людей, о которых пишу, я видел своими глазами. Только изменил некоторые имена. И судьба этих людей в какой-то степени тоже связана с моей матерью.

Все матери мира одинаковы по отношению к своим детям. Раз так, то повесть эта посвящается вам, дорогие Матери.

Автор

* * *

Может, и с вами порой случается такое: просыпаетесь вы вдруг среди ночи. И лежите, лежите без сна, уставившись в потолок... И кажется, что даже монотонно тикающие часы постепенно замолкают. Тихо в комнате, за окном, тихо в черном небе. Не слышно и шороха ветерка. Воцаряется такая тягостная тишина, что у вас начинает звенеть в ушах. Тишина эта тяжким грузом наваливается на вас, пригвозждает к постели — и вы чувствуете себя одиноким, бессильным существом. Будто вы остались один в целом мире... В такие минуты перед моими глазами внезапно возникает мать. Она выходит из темного угла комнаты, грустно улыбается и склоняется надо мной. И гладит мой лоб огрубевшими от многолетнего тяжелого труда пальцами... Слезы подступают к горлу, мне трудно сдерживать себя.словно сон, наплывают смутные обрывочные воспоминания, и с бешено колотящимся сердцем я вскакиваю с постели.

СВЕТЛЫЕ ЛУННЫЕ НОЧИ

Стоит начать вспоминать свое детство, как сразу оживают перед глазами теплые летние ночи. Во дворе у нас рос один-единственный миндаль. Расцветал ранней

весной, но не плодоносил. Мать разъясняла мне: «Миндаль оттого не дает плодов, что одинок». Под этим самым миндалем находилась супа¹. Перед самым заходом солнца мать щедро поливала двор водой, и запах прогретой дневным солнцем земли смешивался с запахом растущего возле супы базилика, кругом распространялся удивительный аромат, и стояла тишина.

А потом в небе, усыпанном крупными звездами, всплывал молодой месяц, похожий на тиллякош². Мать глядела на него и тихо шептала:

О луна, светлая луна,
Крылья — золотые,
Мы шлем тебе благословенье,
А ты нам — здоровье.

При этом она гладила меня по голове... А луна, словно желая еще раз услышать эту песню, неподвижно повисала в небе, и звезды с нежностью смотрели вниз задумчивыми глазами, а мама рассказывала сказку.

Несчастливая девочка из сказки, которую обратили в камень, горько плача, пела песню:

О камни, белые камни,
Выпустите меня из плена,
Я хочу увидеть маму,
Я соскучилась по маме.

— Я выбрал в небе свою звезду. Вот она, мама. Самая яркая звезда Большой Медведицы — моя...

— Ладно, сынок. Пусть она будет твоей. А вон та, четвертая, моя.

— Почему? Ведь она самая маленькая!

— Потому-то она и моя... Четвертая звезда — звезда сиротка. Видишь, она совсем не выросла. А сироток надо жалеть.

Звезды таинственно мерцали, тоненький месяц тайком выглядывал из-за облака, ветерок осторожно шептал о чем-то, от земли и базилика исходил таинственный аромат, и небо и земля были полны тайн.

Иногда с неба падали звезды. Только что сиявшая звезда внезапно исчезала, оставляя в небе тоненький светлый след. В такие мгновения мама вздрагивала:

¹ Супа — глиняное возвышение в саду или во дворе для сидения или лежания.

² Тиллякош — позолоченная металлическая подвеска, которую носят на лбу как украшение.

— Как жалко... Кто-то испустил дух, бедняжка!..

Я пугался и прижимался к матери. Только б не упала другая звезда.

...Вспоминаю свое детство, и оживают перед глазами теплые летние ночи. Не знаю, может, именно в те светлые лунные ночи мама в первый раз вложила мне в руку перо.

Гляжу в усыпанное звездами небо. Быть может, самые яркие звезды — это души наших матерей. Быть может, погасшие звезды матерей соединились вместе и превратились в солнце. И может, поэтому солнце сравнивают с матерью.

УТЕШЕНИЕ

На кладбище глубокая тишина. И только выстроившиеся в ряд по обеим сторонам дорожки пирамидальные тополя тихонько напевают колыбельную песню, словно склонившиеся над могилами матерей сыновья, желая им вечного покоя. Их скорбный шелест сливается со словами молитвы, переходя в терзающий сердце напев... Могильщик в белом хлопчатобумажном одеянии, которому очень идет борода с проседью, заканчивает молитву, проводит ладонями по лицу и поднимается с места.

— Ну, полно, сын мой! Как бы не стало совсем худо. Такие вот земные дела, стало быть. Что еще?— Он на минуту смолкает, а затем добавляет:— Матушка ваша хорошей была женщиной, аллах пожалел ее. Она не лежала прикованная к постели, сама не мучилась и других не мучила... Не всякому суждена такая тихая спокойная смерть.

Я неотрывно гляжу на не успевший еще высохнуть могильный холмик и думаю: наверно, так оно и есть. Мать прожила свою жизнь тихо, скромно. Никогда никому не сделала плохого. Ни с кем не ссорилась. Может быть, поэтому и не захотела вступить в спор с самым безжалостным посланником природы — со смертью. Может быть...

— Вот видите,— продолжает могильщик,— в тот день лил проливной дождь. Он не прекращался до тех пор, пока мы ее не похоронили. А как только похороны закончились, то сразу засияло солнце. Таких чистых душой людей мало, сынок, я знаю, что говорю.

Наверное, и это так. Наверное, привыкший разделять людское горе, этот благообразный старик в свое

время каждому скажет такие же слова утешения. Спасибо тебе, отахон¹. Спасибо за твои руки, которые понадобятся каждому не сегодня, так завтра. Спасибо за твое доброе сердце, которое открыто человеческому страданию. Но только... Если бы дело было в дожде... Если бы жизнь матери продлилась хотя бы на три дня, я бы согласился, чтобы после не дождь шел, а падали бы с неба камни...

Вот уже неделю, как друзья мои, знакомые и незнакомые, с печальным видом входят и выходят из моего дома. Одни посидят молча и молча уходят. Другие тихо спрашивают:

— А сколько ей было лет?

Я отвечаю... отвечаю и думаю: а есть ли у матери возраст? Разве бывает доброта молодой или старой? А милосердие? А верность и преданность?

Прежде я знал одну истину. Дети для матери всегда остаются детьми, даже тогда, когда они давно уже взрослые. Теперь я познал и другую. И для детей, оказывается, мать не имеет возраста. Мать есть мать. И этим все сказано.

С О Н

Мне приснилось, будто мать ходит с фонарем в руке. Лица ее я не мог разглядеть, фонарь светит слишком тускло. «Будь осторожен, сынок, на дороге яма», — говорит она мне. Гляжу во все глаза, не вижу никакой ямы. Проснулся, а мамы нет...

Порой я поздно возвращался домой то с работы, то с собрания, то из гостей. Однажды приехали ко мне гости из Намангана. Я пригласил их домой, но они предпочли ресторан. Вышли оттуда за полночь. Вернулся я домой навеселе. Ворота открыла мама. Съежилась от холода, дрожит вся.

— Почему вы не спите до сих пор?! — рассердился я. — Что, кроме вас, некому ворота открыть?

Мама грустно улыбнулась:

— Какой уж там сон, сынок? Вот и сажу-у-у...

На следующий день у меня затянулось дежурство в редакции. Возвращаюсь и вижу, что в маминной комнате горит свет.

— Опять не спите?

Мама, как и вчера, грустно улыбнулась.

¹ Отахон — отец (обращение к пожилым людям).

— Ты же знаешь, мальчик мой, в последнее время я страдаю бессонницей.

А я-то, дуралей, тогда так и поверил, что она и вправду страдает бессонницей, и свылся с тем, что, когда бы ни возвращался, в полночь ли, под утро, свет в маминой комнате горит обязательно.

Как-то после работы провожал я московских друзей в аэропорт. Самолет вылетел с опозданием. И я вернулся домой в полночь... Было удивительно тихо вокруг. И темным-темно.

Мне приснилась мама. Будто она ходила с фонарем в руках.

КВАКВА — НОЧНАЯ ПТИЦА

«Что-то вы очень затосковали, надо проветриться», — с этими словами друзья мои утащили меня в горы. Странно, каждый раз, когда я вижу нависающие над головой величественные горы, острые скалы, напоминающие громадные леденцы, я думаю о том, что жизнь не вечна. Эти скалы, замершие неподвижно, словно черные тени в черном небе, сколько таких, как мы, они видели?.. Жаль, говорить они не умеют. Иначе поведали бы много интересного.

В доме, где мы расположились на ночлег, было холодно. Я долго не мог уснуть. Во дворе шумели тополя. Где-то поблизости слышался шум реки. Вдруг до ушей моих донеслись печальные, трогающие душу звуки: хак-ку, хак-ку... На несколько мгновений воцарилась тишина, и снова откуда-то издалека донеслось: хак-ку, хак-ку...

Был я еще совсем ребенком, когда мама рассказала мне чудесную легенду о двух братьях. Однажды будто бы жили два брата. Старшего звали Ильхак, а меньшего — Исках. Не любили братья друг друга и жили очень недружно. Мать вконец извелась, не зная, за кого заступаться. И тогда всемогущая природа обрушила на них свой гнев, ослепила обоих и превратила в птиц. И лишь тогда поняли братья, что не могут жить друг без друга, что нуждаются друг в друге. И с тех пор будто горько плачут по ночам, кличут друг друга, но тщетно...

Во дворе по-прежнему шелестели тополя. Шумела река. И в этой наполненной шелестом и шумом реки тишине раздавался исполненный страдания, проникающий в самое сердце крик: «Ил-хак. Ис-хак!..»

Бедная моя мама! Как желала ты, когда рассказывала ту волнующую притчу, чтобы пятеро детей твоих,

слушавших тебя, приподнявшись в постели, словно птенцы ласточки, были дружны между собой!

...Все матери мечтают, чтобы дети их жили вместе. Но судьба распоряжается по-своему, едва оперятся, они разлетаются в разные стороны. Жизнь даже в этом безжалостна к матерям.

ДОЛГ

Не помню, по какому поводу все мои братья собрались за столом вместе и кто-то в шутку спросил мать:

— Каждый месяц вы получаете пенсию. Куда вы девае те столько денег? В сундук, что ли, складываете?

— Какой там сундук?— рассмеялась мать.— Долги у меня есть. Вот и отдаю их потихоньку.

Старший брат нахмурился:

— Долги? Какие у вас могут быть долги?

— Э, сынок, зачем тебе об этом знать? Это мои дела.

После этого разговор перешел на другую тему. Я уже и забыл о нем, когда несколько дней спустя, прогуливаясь во дворе, встретил соседскую девочку — семилетнюю Нилуфар. В волосах — белый бант, одета в атласное платье.

— Ой, какая ты нарядная, Нилу, в гости собралась, что ли?

— Не-а! Сегодня я родилась,— сказала она, хлопая своими черными-черными глазенками и улыбаясь.

— Ах, да ты у нас, оказывается, юбиляр, ну-ка погоди, я сейчас...

Я вошел в дом и вынес оттуда горсть конфет.

— Вот держи, подружек своих угости.

Нилуфар покачала головой и посмотрела на меня очень серьезно, совсем как взрослая.

— Я конфеты не ем. У меня зубы выпали.— Затем тем же серьезным тоном добавила:— В прошлом году Пошша буви¹ подарила мне туфли.— Девчушка задумалась.— А еще трехколесный велосипед Бахтиеру, а Баходиру — рубашку...

Конфеты выпали у меня из рук...

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

Нашего брата газетчика я мог бы сравнить и со скаковой лошадью и с лошадью, назначение которой — пахать

¹ Пошша-буви — моя уважаемая бабушка.

землю Он мчится к цели и в то же время изо дня в день тянет за собой плуг...

Я дежурил в редакции. Сидел один в кабинете и работал, как вдруг вошла уборщица тетя Вера.

— Это ваш стол?— спросила она, почему-то нахмурившись.

— Мой.

— Курите?

— Курю.

— А почему пепел бросаете на пол? Ежели у вас пепельницы нет, сказали бы, я б принесла из дома!

Я смутился. И правда, пепел упал на пол. И мне ли не знать, как тяжел труд уборщицы!

Мама моя тоже работала уборщицей. Возле нашего дома находился пионерский лагерь. Мама вставала задолго до рассвета и подметала территорию лагеря. А мы, братья, помогали ей, поливая землю. В сущности, это не бог весть как трудно. Становишься в арычек, протекающий вдоль дорожки, и поливаешь ее водой из алюминиевого тазика. После этого мама начинает подметать метлой с длинной ручкой. Ранним утром вода в арычке холодная как лед, ноги прямо режет от холода. Но это еще не самое страшное. Самое страшное — это вставать чуть свет. Ведь до полуночи мы носимся по кишлаку до изнеможения. Мама тихонько будит нас как раз в тот момент, когда сон особенно сладкий.

— Вставай, сынок, день уже занимается.

И вот твои сверстники спят себе преспокойно в палатках, а тебе приходится поливать, подметать... Обидно почему-то становилось. Может быть, поэтому я порой хитрил. То притворюсь, что голова болит, то ноги... А мама всегда верила и вместо меня брала с собой моего друга по имени Абдувахид, который частенько ночевал у нас, или старшего брата. Иногда папа очень сердился. «Что он, лучше всех, что ли? Пускай тоже работает»,— говорил он про меня.

Когда старший брат поступил в институт, я учился то ли в пятом, то ли в шестом классе. Как только брат стал студентом, я понял, что он стесняется того, что мать у него уборщица. Наконец он как-то сказал об этом открыто:

— Мама, бросьте вы эту работу...

Мама на минутку задумалась.

— Ты что, стыдишься?— сказала она после паузы.— Я ведь не воровством занимаюсь. Разве ж труд позорен?

И отец, и братья промолчали.

...Не знаю почему, но в тот день я снова почувствовал себя маленьким. Вспомнилось, как в детстве мама ставила колыбель, в которой лежал мой младший братишка, возле своей постели, а я пристраивался рядом с мамой.

В зимние вечера я лежал, просунув ноги под сандал¹, и упрасивал маму:

— Мама, расскажите сказку.

— Спи, сынок, устала я.

— Ну, пожалуйста!

— Ладно, закрывай глаза и слушай... Давным-давно жили-были...

Я сразу догадываюсь, что это за сказка.

— Опять про обкаш?²

— Нет, про солнце.

— Но вы ведь про него рассказывали.

— А другой я не знаю...

— Ладно, рассказывайте.

— В далекие времена жило-было солнце...

— Наше солнце?

— Да, наше солнце. Не перебивай! Но ему совсем не хотелось вставать над землей. И поэтому оно каждый день молило бога — жаловалось, мол, много на земле мусора, не желаю я видеть это. А бог успокаивал его, ты всходи, солнышко, не бойся, на земле есть люди, которые не только разбрасывают, но и убирают мусор, чистят землю, берегут ее. Это очень хорошие люди.

— Вы хорошая, да? Вы чисто подметаете улицы.

— Слушай дальше, сынок... А солнце каждый день по-прежнему роптало на то, что на земле никак не переведутся плохие люди. Оно не желало их видеть. А бог все успокаивал его и говорил: «Ты должно освещать землю, и чем ярче ты будешь светить, тем меньше останется на земле плохих людей!»

— Мама, а старший мой брат плохой, да?

— Почему?

— Он ведь пнул ногой деда-мороза, которого я слепил, и развалил его!

¹ Сандал — низкий квадратный столик, который ставится поверх углубления в земляном полу; углубление заполняется горячими углями, а стол накрывается одеялом.

² Обкаш — местный вид коромысла.

— Нет, твой брат хороший... Плохие люди бывают другими.

— А какими?

— Вырастешь, узнаешь. Ну, хватит, теперь спи.

Фитиль семилинейной лампы приспущен, в комнате пахнет тлеющими углями и керосином... Полумрак. А мне все не спится.

— Мама, расскажите про коромысло.

— Поздно уже, спи...

— Рас-ска-жите.

— Ну ладно, слушай. Было не было, жил-был в давние времена один паренек. Хороший, говорят, был паренек, но вот однажды обидел свою мать.

— А что он сделал?

— Обидел, и все. Выходит он утром на улицу и видит, как соседская старушка, согнувшись в три погибели под тяжестью коромысла, несет воду. Паренек подбежал к старушке и хотел было взять у нее коромысло. А старушка вместо благодарности сильно ткнула этим коромыслом паренька в плечо.

— Наверно, болело?

Мама умолкла.

— Что болело?— спросила она после долгой паузы.

— Да плечо у того парня.

— Болело.— Мама засмеялась. Потом вздохнула:— «Ты,— сказала старушка пареньку,— прежде чем утешать кого, сперва научись не обижать мать свою».

— А он больше не обижал мать?

— Нет, никогда не обижал.— Мама опять замолчала, а затем тихо продолжила:— Видишь ли, человек перво-наперво должен любить близких своих. В мире много хороших людей. Очень много. Но ежели ты не будешь любить отца своего, сестру, братьев...

— И вас тоже,— прерываю я ее.

— И меня тоже...— говорит мама смеясь.— Если мать свою не будешь любить, ты и вообще никого на свете любить не научишься.

— И дом наш,— говорю я как всезнайка.

Но мать не сердится.

— И дом наш,— соглашается она.— А как же? Наш дом не хуже любого другого, пусть в нем хоть сто этажей будет!

— Теперь не будет протекать, мама?

— Крыша, что ли? Отец починил. Теперь не будет протекать.

Воцаряется тишина. Я думаю. Думаю о том, каким может быть дом в сто этажей, и никак не могу его себе представить.

— Мама,— спрашиваю я тихо,— а в Ташкенте есть стoeтажный дом?

— Нет.

— А в Москве?

— Наверное, есть.

— А что, Москва самый большой город?

— Да.

— И больше его нету?

— Может, и есть. Чтобы любить Москву, ты должен любить Ташкент. А чтобы любить Ташкент, люби свой родной Домбрабад, ладно?

— Ладно. А почему?

— Вырастешь, узнаешь.— Мама гладит мой лоб. И почему-то вздыхает.

У меня совсем прошел сон.

— Мама,— пристаю снова.— А что больше: река или море?

— Море.

— А река?

— Река тоже большая.

— Больше нашего Конкуса?

— Больше.

— А Ходжа говорит, что в Чирчике есть река...

Мама смеется:

— Спи, сынок.

Какой уж там сон! Я думаю о реках.

— А летом,— вспоминаю я,— Вали чуть не утонул в Конкусе. Его брат мой старший вытащил из воды!

— Все равно,— говорит мама задумчивым голосом.— Люби Конкус.

— Почему?

— Потому что Конкус — это наш анхор¹. Мы из него воду пьем.

— Если буду любить, то и другие реки полюблю, да?

Мама снова смеется:

— Конечно.

— И собачку мою любить, да?

— Люби, сынок.

— Мама, а Адхам сумасшедший?

— Это почему же?

¹ Анхор — большой оросительный канал.

— Вчера он швырнул льдом в кошку. И она стала хромать.

— Нельзя обижать животных, сынок. Хватит, пора спать.

— Ладно... Когда вырасту, в Москву поеду?

— Поедешь, сынок, обязательно поедешь.

Мама потихоньку начинает дремать. А я продолжаю мечтать в полутьме, уставившись в потолок. И в мечтах своих то оказываюсь в больших городах, то плыву по рекам. Тихо поскрипывает колыбель. Братишка заплакал. Мама тут же просыпается. Принимается тихонько качать колыбель и петь песню. Мама поет колыбельную братишке, но быстрее убаюкивает меня...

Правда подобна воздуху. Вы дышите воздухом, но не замечаете его. Только теперь я понял: в тех двух легендах, которые так часто рассказывала мне в детстве мать, заложена, оказывается, простая, как жизнь, и глубокая, как жизнь, правда.

ВЯЗАНЫЕ НОСКИ

Каждый год, когда езжу отдыхать, привожу матери вязаные носки. На Кавказе их полным-полно. Называют их то «джуба», то «джураби». Мать радуется от души, будто я привез ей бог весть какую драгоценность, и читает длинную молитву. Хвалится соседкам, какой у нее внимательный и заботливый сын. Ноги у нее больные. В холодную погоду опухают, болят.

Когда соседи спрашивают ее о здоровье, она успокаивает и их, и себя.

— Э, старею, милые.

Но здесь виновата не только старость. Другие этого не знают, а я знаю. Отлично знаю.

В детстве я переболел многими болезнями: корью, коклюшем, малярией... Поэтому на кухне у нас всегда висела на гвоздях всякая всячина: от вороньих перьев до цветов с таким странным названием — петушиный гребень. Особенно часто у меня болело горло. Как только промочу ноги, так начинается ангина. До сих пор не могу понять, какая связь между ногами и горлом.

Не помню, сколько мне тогда было лет. Помню только, что был очень маленьким и стояла зима. Мы с братьями отчаянно катались на ногах по блестящим ледяным дорожкам. Я весь взмок. Захотелось пить, и я съел снег. А вечером у меня поднялась температура, открылся ка-

шель. Пробовали полоскать горло квасцами, не помогло, дали выпить отвар сушеного урюка, бесполезно... Началось удушье. Боли особой я не чувствовал, но дышал с трудом. Смутно помню, что терял сознание. В ушах до сих пор стоят причитания матери:

— Ой, что же делать! Ой, сыночек мой умирает!

Она поспешно завернула меня в одеяло и понесла куда-то. Валил снег, но на лицо мне не попадал. Я ощущал на лице горячее дыхание матери, она шла спотыкаясь, тяжело дыша.

Она внесла меня в какой-то тускло освещенный дом. У меня снова потемнело в глазах. А мама все причитала:

— Умирает! Сыночек мой умирает!

— Не отчаивайтесь, Пошша, бог дал болезнь, даст и лекарство.

Я смутно догадался, что это был голос Хаджи-буви.

Хаджи-буви положила меня навзничь, головой к себе на колени. Сунула мне в рот палец, обмотанный марлей. Сердце у меня чуть не выскочило из груди, я забился, заплакал, но вырваться из рук Хаджи-буви не смог. Я так и не понял, что она сделала с моим горлом, но мне вдруг сразу полегчало. Открываю глаза, а Хаджи-буви улыбается.

— Ну как, лучше?— спросила она, глядя меня по голове.

Затем надо мной склонилась мать. Она все еще всхлипывала, волосы ее были растрепаны, лицо серое.

Через некоторое время я сел и протянул ноги к сандалу. Хаджи-буви заставила меня выпить какую-то горькую жидкость. Затем посмотрела на мать и воскликнула:

— Ой, вай, Пошша-а-а! Что же вы наделали, пропадете ведь!

Мама недоумевающе смотрела то на меня, то на Хаджи-буви.

— Без ног ведь останетесь!— сказала Хаджи-буви, качая головой.— Как же вы пришли в таком виде?

Только тут я увидел калоши мамы, которые стояли у порога. Они были полны снега.

— Вы же пришли считай что босиком,— продолжала возмущаться Хаджи-буви.— Надо немедленно смазать ноги мазью, есть у меня такая, из вороньих мозгов, иначе хромать вам всю жизнь.

Мать посмотрела наконец на свои ноги. Они были красные, точно ошпаренные кипятком.

— Но они не замерзли,— сказала она тихо.— Наоборот, горят, В снегу разогрелись.

Хаджи-буви попробовала растереть ей одну ногу.

— Чувствуете?

— Что?— спросила мама, глядя на меня, а не на ногу.

— Боль чувствуете?

Мама молча покачала головой и заплакала.

...На другой день она слегла. Болела долго. Лекарство Хаджи-буви не очень помогало. В конце концов мать поправилась, но в холодную погоду ноги у нее опухали и болели.

Каждый год, когда я езжу отдыхать, привожу маме вязаные носки. А она, словно стала обладательницей чего-то драгоценного, читает долгую молитву, тут же показывает обнову соседям, хвалится, какой у нее любящий сын. И перед моими глазами сразу встает та страшная ночь, когда валил снег, и вспоминаются красные, как сырое мясо, ноги матери, и я молча ухожу из дома.

САМЫЙ ТЯЖКИЙ ГРЕХ

О том, что наступила осень, можно догадаться, взглянув на руки кишлачной детворы. Мы взбираемся на орешину, но орехи еще не совсем созрели, они еще в молочной зеленой кожуре. А очистить орех от такой кожуры дело нелегкое. Находишь битый кирпич и трешь об него орех. В конце концов показывается желтая скорлупа. Но и руки уже успели стать такими коричневыми, словно их вымазали хной. И тогда можешь хоть тысячу раз пытаться отмыть их, привлекая на помощь глину и грязь,— ничего не выйдет. У молочного ореха есть одно достоинство: он бывает тяжелым. Если хорошенько обточить его с обоих концов и смазать жиром, то он превращается в гладкий шарик-биту, и его можно запускать в игру. Чем он меньше, тем лучше. Он с треском угрождает в большие орехи, а в него самого попасть трудно. В этой игре выигрывает тот, кто большее число раз попадает орехом в орех соперника. Победитель забирает выигранные орехи себе. Игра игрой, однако у ореха есть еще одно достоинство: он утоляет голод. Съешь штуки четыре — и полдня ходишь сытым.

...Я часто думаю: хорошо, что в тяжелые послевоенные годы, когда еще жили голодно, были у нас ягоды и фрукты. Как-никак это помогало людям держаться на

ногах. Ранней весной готовили сумалак, кашу из пшеничного солода и муки, затем созрел исмалак — туркестанский шпинат, затем, глядишь, тутовник. И урюк... Позднее — яблоки, виноград, осенью орехи. И еда, и игра.

Однажды я, Ходжа, Той и Вали целый день играли в шарик-биту. Своей маленькой битой я выиграл целую тюбетейку орехов. В игре участвовал наш джурабаши¹, он проиграл полный карман орехов.

Вечером я пришел домой радостный, с полной тюбетейкой орехов. Слышу, из кухни доносится монотонный звук, — это мама готовит в деревянной ступе хлебное толокно.

Почему-то мама часто готовила толокно. Причину этого я понял позже. Не потому, что хлеба было много, а, наоборот, потому, что его не хватало. Толокно очень сытное. Стоит съесть две ложки, запить яблочным чаем, и ты наелся.

Я зашел в кухню и протянул маме тюбетейку с орехами.

— Где взял? — спросила мама, пристально глядя мне в глаза.

— Выиграл. Возьмите, добавьте в толокно.

Я знал, что вкус у толокна с орехами совсем другой. К нему примешивается вкус масла.

Мама взяла орехи и похлопала меня по плечу.

— Иди, потерпи немножко, я сейчас все сделаю.

Я пошел и сел на супе возле хонтахты². На дастархане³ не было ничего, кроме двух пиалушек, перевернутых вверх доньшками, и чайника. Через несколько минут мама принесла на блюде толокно. Съев одну ложку, я вдруг хватился своего шарика-биты. Пошарил в одном кармане — нет, в другом — тоже нет.

— Что случилось? — спросила мама, видя мою растерянность.

— А где моя бита?

— Какая бита?

— Та, которой я выиграл!

У меня сердце ушло в пятки. Что, если мама расколола мою битку вместе с другими орехами?

С толокняной кашей во рту я побежал на кухню. В

¹ Дж у р а б а ш и — вожак.

² Х о н т а х т а — низенький столик для еды.

³ Д а с т а р х а н — скатерть.

углу я увидел половинку кирпича, а рядом с ним тешу, ручной инструмент типа топора. Я порылся в битой скорлупе и нашел полированную скорлупу своей победоносной биты. В отчаянии я крикнул:

— Что вы наделали?

Со стороны супы донесся мамин голос:

— Что случилось?

— Что вы наделали?— крикнул я еще раз.— Что вы сделали с моей битой?

Мама подошла ко мне.

— Вот,— сказал я, показывая скорлупу.— Вы раскололи мою битую!

Мама улыбнулась.

— Откуда ж я знала. Ты же ничего не сказал. Не огорчайся, сынок, старший брат сделает тебе другую.

Я еще пуще разозлился из-за того, что мама улыбалась.

— Не надо мне другой! Не надо!— кричал я, топая ногами.— Этой битой я выигрывал.

Мама погладила меня по голове.

— Я ведь правда не знала, сынок. Ты сам дал мне тубетейку и не предупредил. Пойдем, попей чайку!— Она взяла меня за руки и привела к супе. Пододвинула ко мне блюдо с толокном:— Садись, поешь. Небось проголодался!

Я отодвинул от себя блюдо.

— Не буду!

Мама опять пододвинула блюдо ко мне.

— Ешь, сынок, вкусно.

— Не хочу! Не хочу! Не буду!— Я с размаху ударил по блюду рукой, и оно упало сначала на супу, а затем на землю.

Внезапно в маминих глазах вспыхнул гнев. Она занесла ладонь над моим ухом. От страха я закрыл глаза. Нет, она не ударила меня. Только прошептала дрожащими губами:

— Ведь это хлеб, глупец! Какой же ты совершил грех!

Она медленно спустилась с супы на землю. Сгрэбла рукой вывалившуюся кашу, но она была перепачкана землей. Затем подняла голову и поглядела на меня. В глазах ее были боль и упрек.

Через некоторое время моя старшая сестра и братья собрались за столом. Каждому досталось не больше чем пол-ложки толокна. Потом пришел отец. Мама принесла

из кухни целый ляган¹ пареной свеклы. Свекла — тоже ничего, только надоедает, если есть ее каждый день. Все-таки это не хлеб.

— А толокна сегодня нет?— спросил отец, с трудом глотая горячую свеклу.

С затаенным страхом я взглянул на маму.

— Было,— сказала она тихо.

— Не осталось, что ли?

— Ступка нечаянно перевернулась,— ответила мама виновато.

— Что?— Отец застыл с куском свеклы в руке и недовольно посмотрел на мать.

— Просыпалось,— сказала мама, опустив голову.

— Проклятье!— выругался отец тихо.— Взрослая женщина, а хуже маленькой... Гляди, как бы хлеб не ослепил тебя!— Он резко поднялся, спрыгнул с супы и быстро вышел на улицу.

Я перевел глаза на маму. Она сидела все так же, не поднимая головы, в глазах ее застыло страдание.

ПЛАЧ РЕБЕНКА

Я редко видел, чтобы мама гневалась. Но однажды она рассердилась не на шутку. Мы ехали навестить мою старшую сестру. Когда мы свернули в узенькую улочку, то услышали плач ребенка. На обочине катался по земле мальчонка лет трех и ревмя ревел, белая рубашонка и штанишки были перепачканы землей.

— Останови машину, сынок,— сказала мама, глядя в ту сторону подслеповатыми глазами.

— Что-нибудь случилось?

— Останови же,— повторила мама, улыбнувшись.

Чуть-чуть поколебавшись, я остановил машину.

Мама, крихтя, открыла дверцу и вышла из машины. Потерла свои затекшие ноги и, прихрамывая, пошла назад, туда, где валялся мальчонка. Я невольно последовал за ней. Упрямец все еще катался по земле и орал при этом как резаный. Только теперь я заметил молодую женщину, склонившуюся над ребенком: она сама готова была расплакаться.

— Совсем сдурел,— сказала женщина, чуть не плача.— Купи, говорит, мороженое. Купила, а он вон что вытворляет.

¹ Ляган — медное или глиняное блюдо.

Мальчонка по-прежнему ревел во весь голос и издевался:

— Гаячее маёжено! Гаячее маёжено пиниси!

— Да где я найду такое?— Видимо, терпение у женщины лопнуло, и она рывком подняла малыша с земли. И шлепнула его пару раз.

— Ой, доченька, ведь он же ребенок, ребенок!— сказала мать, подступая к чирикающей, словно воробьяха, молодой женщине.— Иди ко мне, мой хороший,— сказала она, прижимая мальчонку к себе.— Иди, я куплю тебе горячее мороженое.

Мальчонка плакать не перестал. Но уже не топал ногами, как прежде. Холодное «маёжено», которое привело его в такую ярость, растаяло и пятном расплозлось на его белой рубашонке, он с головы до ног был перепачкан дорожной грязью.

— А ты чего стоишь?— обратилась мать вдруг ко мне.— Или ты тоже дитя малое? Подкати сюда машину. Сейчас поедем далеко-далеко.

Честно признаться, мне совсем не хотелось сажать мальчишку в машину в таком виде. У меня были новые поролоновые чехлы. А теперь он все перепачкает. Но что поделаешь, подогнал я машину, а сам чувствую, что становлюсь мрачнее тучи.

Мать разъярялась сидевшей рядом с ней женщине:

— Так у вас сынок капризным вырастет, доченька. Надо научиться отвлекать его.

Мальчик перестал плакать, но все еще всхлипывал.

— Куда вы направлялись, милая?— спросила мама, чтобы как-то отвлечь молодую, неопытную мать.

Мне, честно говоря, в этот момент не было никакого дела до того, куда направлялась эта женщина со своим капризным чадом. Я с ужасом отметил, сколько грязи налипло на мои новые чехлы. Женщина, видимо, почувствовала мое состояние, смутилась и поспешила остановить машину.

— Вот мы и приехали. Спасибо. Здесь мы сядем на троллейбус.— Она взяла на руки успокоившегося мальчонку и торопливо вышла из машины.— Большое вам спасибо!

— Странная вы,— сказал я матери, не в силах скрыть досаду.— Ну зачем вы лезете не в свое дело?

— Как это не в свое дело?

— Чужой ребенок... Ну, плачет, а вам-то что? Поплачет и перестанет.

— Почему же это чужой?— неожиданно рассердилась мать.— Разве может быть чужим плачущий ребенок? И не стыдно тебе так говорить? Разве можно не сжалиться над плачущим дитем?

Я промолчал. Но все равно в душе считал, что мать не права. Но теперь я начинаю постигать одну истину: у матерей свой, не понятный нам и не укладывающийся в нашем сознании особый мир.

ИЗМЕНА

Тогда я не ходил еще в школу. В двух верстах от нашей махалли¹ находился детский дом. Ребята постарше поговаривали о том, что там часто показывают кино. Однажды я случайно подслушал, как мои братья шушукались с соседскими ребятами:

— Сегодня, говорят, кино будет!

— Про войну!

Братья мои в кино пойдут, а я что, дома буду сидеть? Ну уж нет!

— Я тоже пойду!— заупрямился я.

— Ладно, пойдешь. Только сперва сделаешь все, что тебе скажут.

В тот день я с удвоенной энергией исполнял все, что мне поручалось. Два раза напоил козу, привязанную к орешине, охранял от назойливых птиц урюк, который разложили для просушки на супе. Даже резинку от своей рогатки отдал младшему братишке, чтобы тот штаны свои подвязал.

А вечером держал ухо востро. Наконец на улице показались соседские мальчишки. Они крикнули братьев, я побежал вслед за ними. Дружок старшего брата Дамин, увидев меня, спросил:

— А этот куда?

— В кино!— уверенно ответил я.

Дамин задумался.

— Ладно, только ботинки надень,— сказал он, глядя на мои ноги.

А все ребята были босые.

— Зачем мне ботинки?

— Мы же через забор будем лезть, понял?— рассердился Дамин.— А если за нами погонится сторож? Знаешь, как от него удирать? Там ведь полно колючек. Иди, иди, да побыстрее смотри. Мы тебя подождем.

¹ Ма х а л л я — городской квартал.

Я пулей вбежал во двор.

Мама сидела на корточках и доила козу. Спросила, не вставая, зачем мне в такую жару понадобились ботинки.

— Нужно! Нужно!— сказал я, задыхаясь. И, не дожидаясь ответа мамы, кинулся к навесу. Порывшись в сундуке, полным всякой ветоши, еле отыскал один ботинок со стоптанным задником. Как назло, второго не было видно. Переворочил все. Долго искал и все-таки нашел. Схватил и стрелой вынесся со двора. Ни братьев, ни ребят. Я выбежал на большую улицу. Но их и след простыл.

Вернулся во двор, со злостью швырнул ботинки на землю и расплакался. Наверное, никогда раньше не плакал я так горько, и мама перепугалась.

— Что случилось?— спросила она, подойдя ко мне.

— Обманули!

— Кто, почему?

— Обманули! Обманули!— не в силах найти другие слова, повторял я сквозь слезы, топая ногами.— Обманули!

Своими пахнувшими свежим молоком руками мама погладила мой лоб.

— Не плачь, сынок. Порой случается и такое. Только сам так никогда не делай, хорошо?

Учился я в четвертом классе, и был у меня дружок, с которым сидели мы за одной партой. Отец его вернулся с войны героем, и друга моего тоже звали Кахрамон¹. Может, оттого, что отец Кахрамона был героем, учителя любили его больше других.

В нашем школьном дворе росло много орешин. На большой перемене мы тайком от учителей сбивали орехи. Только с орешины, росшей над застекленной теплицей, никто не осмеливался сбивать: все знали — если разобьем стекло теплицы, никому не поздоровится. Однажды на большой перемене Кахрамон потащил меня к той орешине.

— Ты что?— попытался я отговорить его, удерживая за руку.— А вдруг стекло теплицы разобьем!

— Я и не знал, что ты такой трус!— засмеялся Кахрамон.— Ладно. Ты будешь сторожить. А я — сбивать. Увидишь учителя, свистни.

¹ Ка х р а м о н — герой.

С этого дерева никто не сбивал орехов, поэтому их было на нем полным-полно. Кахрамон одним комком земли сбил сразу с десятка. Наполнил оба кармана, затем подыскал ком побольше и снова кинул. На этот раз он промазал, и послышался звон разбитого стекла. Окно теплицы разбилось вдребезги. Пока я сообразил, что к чему, Кахрамона уже и след простыл. И в тот же миг кто-то крепко схватил меня за руку. Я оглянулся и увидел нашего классного руководителя. Я перепугался.

— Что ты сделал?— гневно спросил он.

— Ничего,— ответил я срывающимся голосом.

Он потащил меня за собой. Я еще пуще перепугался, думая, что он поведет меня в учительскую. Но он привел меня в наш класс. Галдящие одноклассники мигом смолкли. Классный руководитель провел меня между партами и велел стоять у доски. Я тихонько взглянул на Кахрамона. Тот сидел как ни в чем не бывало и смотрел в окно.

— Признавайся перед своими товарищами!— сказал учитель, делая акцент на каждом слове.— Что ты сейчас натворил?

— Ничего,— сказал я, не поднимая глаз.

— А кто разбил теплицу?

— Не знаю.

— Не знаешь?— Учитель рассердился не на шутку и повысил голос:— А кто, по-твоему, должен знать?

Комок застрял у меня в горле, я знал: если открою рот, то расплачусь.

— Кто?!— почти крикнул учитель, выходя из себя.

Я прикусил губу и молча покачал головой.

— Он,— сказал классный руководитель, указывая на меня пальцем,— только что разбил стекло теплицы и не хочет признаваться.— Внезапно голос его сделался тихим.— Дети, может, кто-нибудь из вас видел, как он кидал камень в орешину?

Я умоляюще смотрел на товарищей. Все молчали.

— А ты?— спросил учитель, обращаясь к Кахрамону.— Ты тоже не видел, Кахрамон?

Кахрамон медленно поднялся.

— Видел,— пробормотал он.— Это он кинул.

В глазах у меня потемнело. Я не верил своим ушам. «Видел. Это он кинул!»

— Молодец!— кивнул головой учитель.— Хоть один достойный нашелся среди нас. Садись, Кахрамон.— Он повернулся ко мне лицом и продолжал:— А ты — лгун!

А оттого, что лгун, еще и трус. Скажешь отцу, чтобы заменил стекло в теплице. И побыстрее.

Слезы потекли у меня из глаз, хотелось крикнуть на весь класс, на всю школу: «Это не я, это он, он кинул камень, он разбил стекло! Не верите, так посмотрите, что у него в карманах!» Но я не мог вымолвить ни слова. И кинулся вон из класса. Выбежав на улицу, я разрыдался. Придя домой, я, задыхаясь от гнева, рассказал обо всем маме. Она гладила меня по голове и тихо утешала:

— Не горюй, сынок. И так бывает. Только сам никогда так не поступай, видишь, из-за лжи друг твой стал тебе врагом.

...Студенческие годы. Я полюбил девушку, прекрасную и чистую, как ангел. По ночам, когда сияла молочно-белая луна, мы долго гуляли. У нас была «своя» аллея, «свой» анхор, «своя» скамейка. Потом... она почему-то стала меня избегать. Бывало, задумается о чем-то, прячет от меня глаза...

Я не знал, в чем провинился перед ней, и поведал о своей печали лучшему другу, с которым мы все делили пополам, ели из одной тарелки, спали под одним одеялом... Он называл мою мать мамой. А мама считала его своим пятым сыном. Я доверял ему все свои тайны, считая его более опытным и ловким во всем, что касалось женского пола.

«Брось,— успокаивал он меня.— Девушки капризны. И сами порой не знают, чего хотят. Ты на рожон не лезь, в один прекрасный день сама придет и попросит прощения...»

Теперь я стал просиживать вечера в читалке.

Приближались экзамены. Однажды я просидел в библиотеке до самого ее закрытия. Вышел на улицу, и захотелось мне пройтись по «нашей» аллее. Стоял теплый летний вечер. В небе ярко светила луна, весело подмигивали звезды, о чем-то шелестел в листве деревьев легкий ветерок. Я приблизился к «нашей» скамейке, стоявшей на берегу анхора. И остановился как вкопанный, услышав звонкий смех. Этот смех я узнал бы за версту. Внутри у меня что-то оборвалось. Да, это была она. Только на моем месте... сидел мой друг, он обнимал девушку за плечи, а та притворно отстранялась от него и смеялась так же, как смеялась когда-то в моих объятиях.

В тот день я понял, как тяжело потерять сразу и друга и любимую... Придя домой, бросился ничком на супу. Я никого не желал видеть, даже мать. Лежал долго. Вдруг я услышал у наших ворот голос моего друга:

— Ассалам алейкум, мам!

Все дрожало во мне от ярости, но я не мог сдвинуться с места. Затем тот же веселый голос раздался над самым моим ухом:

— Ие¹, что это с тобой?

Не помню, то ли, вскочив со своего ложа, я ударил его, то ли уже в тот момент, когда он наклонился надо мной... Помню только, что он деланно рассмеялся и тут же ушел. Мать стояла в оцепенении. Отчего-то силы покинули меня, и я снова лег. В небе плыла, бессовестно улыбаясь, предательница-луна, щедро заливала землю своим светом, словно ничего не случилось, изменницы-звезды по-предательски подмигивали, смеялся надо мной и ветерок-предатель.

Надо мной склонилась мать. Я закрыл глаза, притворившись, будто сплю. Она долго сидела возле меня молча и наконец тихо прошептала:

— Не горюй, сынок, бывает и так. Только ты...

Я не дослушал ее до конца. Не захотел слушать. «Что я?!— душа моя взбунтовалась.— Мне-то что делать? Если, что называется, один мой глаз враг другому, если предает самый близкий человек, если изменяет любимая, что мне делать? Один предает потому, что трус, другой — из-за корысти, третий — из зависти. Как же можно жить среди таких людей в таком мире? Чему и кому верить?»

Все во мне кричало, взывало к истине.

А мать сидела все так же молча и все так же гладила меня по лбу, и я чувствовал, как дрожат ее пальцы. На какой-то миг я вновь ощутил себя ребенком. Таким, каким я был, когда меня обманули с кино, когда меня оклеветал мой одноклассник и мама утешала меня... Где-то в глубине души моей внезапно вспыхнула надежда: «А мать, разве она предала тебя? Хоть раз?» Кто-то может сунуть палку в колеса другому, кто-то может обогатиться. Только мать никогда не предаст. Может, именно в этом и заключена великая тайна продолжения рода человеческого?

Я взял слегка дрожащую ладонь матери и приник к ней губами.

¹ Ие — возглас удивления.

ФОТОКАРТОЧКА

Дела земные всегда делаются в спешке. Однажды, как обычно, я завтракал на ходу. А мать, как обычно, уговаривала меня:

— Да садись ты, сынок. Посиди немного.

— Все. Я поехал.

— Погоди, сынок.— Мать посмотрела на меня не так, как обычно, а с какой-то затаенной печалью.— Поговорить надо.

Я поспешно взглянул на часы: надо еще успеть заправить машину, заехать на работу, потом в издательство...

— А что такое?

Мама продолжала смотреть на меня печальными глазами.

— Давай сфотографируемся вместе,— сказала она вдруг.

Я изумился:

— Зачем?

— А вдруг скоро помру.

Она произнесла это таким тоном, будто обронила: «Схожу к соседке». Я не удержался, рассмеялся.

— Да полно вам, мама.— С этими словами я вышел из дома.

Прошло всего две недели... Я просыпаюсь по ночам и думаю: какими же мы бываем черствыми! Разве ж не было у меня времени сфотографироваться? Для всего всегда находилось время. И для работы, и для книг, и для отдыха... Ты что, кинозвезда? Или какая историческая личность? Вон лежит целая пачка фотографий. Самых разных. И где только и с кем только не снимался! Только... Нет у тебя фотографии, где ты снят вместе с матерью!

КНИГА

Сегодня вышла моя новая книга.

Всякий раз, когда у меня выходит книга, самый первый экземпляр я дарю матери с посвящением: «Моему первому учителю — матери!»

В глазах матери, как только она видит книгу, вспыхивает радость, она произносит длинную молитву, целует меня в лоб и каждый раз повторяет одни и те же слова:

— Ты моя опора, сынок...

А затем, словно боясь, что кто-то отнимет у нее книгу, прячет ее под подушку. И я чувствую, что мать больше меня радуется вышедшей книге.

Как-то раз, не вспомню сейчас зачем, я зашел к жившему на краю кишлака нонвою — мастеру, выпекающему лепешки вручную. Гляжу, во дворе на сури — широко деревянном помосте — лежит моя книга. Страницы истрепаны, пожелтели от солнца. Мне стало любопытно, и я взял ее в руки. Увидел свое посвящение: «Моему первому учителю — матери!»

Я пришел домой хмурый и буркнул матери:

— Я ведь не для того дарил вам книгу, чтоб ее читала вся махалля!

Мать виновато улыбнулась.

— Мавлю так просила, не могла отказать. Обещала, как только прочитает, вернуть.

— До Мавлюды она побывала уже не в одних руках,— сказал я сердито.

— Успокойся, сыночек. Я принесу ее.

И правда, в тот же день принесла обратно...

Каждый раз, когда у меня выходила книга, мама повторяла одно и то же:

— Ты моя опора, сынок...

Теперь я знаю, что не я был опорой для матери, а она для меня. И опора эта вдруг рухнула.

Сегодня вышла моя новая книжка. И я посвятил матери не только первый экземпляр, а все шестьдесят тысяч. Только...

ШЕЙХ НАШЕЙ МАХАЛЛИ

Вероятно, когда-то у него было имя. Но только в махалле никто не знает, как его зовут. Все называют его Шейхом.

Говорят, еще во время войны забрела в нашу махаллю одна вдова с мальчишкой лет пяти-шести. Сердобольные люди отвели ей небольшую каморку, прилежавшую к чайхане. Ребенок есть ребенок. Весной он забирался на крышу каморки и пускал бумажного змея. Воздушный змей все выше поднимался в небо, а мальчик все разматывал нитку, пятясь назад, и упал с крыши. На истошные крики несчастной матери сбежались посетители чайханы. Мальчик разбил голову, из нее сочилась кровь. Хаджи-буви тут же смазала рану пеплом кошмы и сажей, к счастью, мальчик поправился. Только стал

немножко придурковатым. С тех пор никто не видел, чтобы он плакал. Все время улыбался. При этом кончик языка всегда высовывал изо рта. Может, поэтому иногда в уголках его полных губ скапливалась белая пена, похожая на мыльную пену парикмахеров. После войны мать его умерла, и Шейх остался один. Потом снесли старую чайхану, и от каморки Шейха тоже ничего не осталось. Но его не бросили. Для него все двери были открыты. И у нас он часто жил. Любил подолгу беседовать с моей матерью, а я диву давался, о чем это мать может разговаривать с этим полоумным.

Ни одна свадьба, ни одни поминки не обходились без Шейха. У него были свои обязанности: в первую очередь кипятить самовар.

Зимой и летом мужчины и женщины, собравшиеся на свадьбу ли, на поминки ли, нуждались в помощи Шейха.

— Шейх, четыре чайника! Один зеленый и три черных!

— Шишаш...

Шейх говорил странно: вместо «ж» у него получалось «дз», не мог произнести «с», у него выходило «ш».

— Шейх, быстро! Уважаемые гости прибыли!

А Шейх не торопится. Свое дело знает.

— Не нудзно шпешить. Мне-то что до того, что они уवादзаемые,— говорил он с улыбкой.

И никто не сердился. Все знают: в течение скольких лет ни на одной свадьбе не лопнул ни один чайник, ни один гость не остался без чая.

Пьет он только пиво. Немного, всего две бутылки. Хозяева праздника всегда оставляют для Шейха его долю. Перед тем как гости расходятся, Шейх пьет пиво прямо из горлышка и тут же начинает танцевать. Танцует до иступления, так что на губах выступает пена.

А все вокруг хлопают в ладоши и кричат:

— Давай, Шейх!

— Молодец, Шейх!

Шейх, ободренный выкриками, смелеет и всю топает ногами.

Иногда молодые шутники окружают Шейха.

— Ну... а твою свадьбу когда сыграем, Шейх?

Шейх высовывает язык и улыбается.

— Давай и тебя женим, а? Найдем тебе подходящую женщину.

— Мне не женщину, а девушку!— опять высовывает язык и улыбается Шейх.

— Ишь чего захотел! Девушка-красавица как увидит тебя, так ее тут же удар хватит, и попадет она в больницу!

Шейх не обижается. А может, он вообще не знает, что такое обида. Знай себе улыбается.

Мы устраивали поминки — прошло двадцать дней со дня смерти матери. Чуть забрезжил рассвет, к нам явился Шейх. Походка у него вразвалочку. Пришел в одной рубашке.

— Вот и Шейх пожаловал!— сказал кто-то.— Ну-ка присмотри за самоваром.

Но Шейх не направился к самовару, стоявшему в углу двора. Ни на кого не глядя, поднялся по ступенькам на веранду и прошел в комнату матери.

— Эй, Шейх, ты куда?— сказал кто-то, преграждая ему путь.— Ведь там сидят старики.

— Пусти!— крикнул Шейх, выпучив глаза. Затем вошел в комнату матери и внезапно кинулся на пол.

— Мама!— прохрипел он.— Ма-а-ама!

Схватив пятерней рубашку за ворот, сдернул ее с себя и разорвал в клочья, могучие загорелые плечи его вздрагивали, в уголках дрожащих губ выступила пена.

— Мама! Мама!

При каждом слове «мама» он бился головой об пол и молотил по нему кулаками. На лбу у него выступила шишка.

— Мама! Куда же вы ушли, мама!

Все оцепенели, увидев, как горько плачет Шейх, который раньше никогда не плакал. Кто-то хотел поднять его с пола, но он оттолкнул его.

— Оставьте его одного!— шепнул кто-то.— Пусть плачет.

Через несколько минут он встал пошатываясь. Ни на кого не глядя, вышел из комнаты, спустился во двор и ушел.

Т О Й¹

Прошлой весной, когда я поливал цветы перед нашими воротами, подъехал новенький «Москвич». Из машины вышел какой-то парень могучего телосложения. Я не узнал его.

— Бог в помощь, большое у вас хозяйство!— пробасил незнакомец.

¹ Т о й — жеребенок.

И тут я вскрикнул от удивления:

— Ой, никак Той?

Да, это был Той. Как же он вымахал, какие же у него длинные руки, ноги! Совсем еще недавно был сопливым пацаном.

— Приехал повидаться с мамой Пошшой!— сказал он с ласковой улыбкой, которая так не вязалась со всем его обликом. Шагая широко, он вошел во двор и столкнулся лицом к лицу с матерью.

Странно, но она узнала его сразу.

— Ой, да это же наш Той, как хорошо, сын, что ты к нам пожаловал!

Тюю пришлось низко нагнуться, чтобы мама поцеловала его.

— Машину купил,— сказал он, улыбнувшись снова.— Хочу, чтобы вы благословили покупку. И покатать вас хочу.

Той усадил маму на переднее сиденье и с полчаса катал.

Мне не понравилось, что мама, словно дитя малое, катается на чужой машине.

— Надо же, какой здоровый стал,— радостно сказала мама.— В столовой, оказывается, работает, шеф-повар. Дай бог ему счастья!

Той стал часто захаживать к нам.

И всякий раз, когда я видел его, вспоминалось детство. Той был самым щуплым и тихим среди нас, мальчишек. За нашим домом лежал довольно большой пустырь. Ребята из окрестных мест приходили сюда пасти скотину. Было шумно и весело. Той приходил издалека — аж из самого Бешкургана — и приводил с собой такую же тихую, как и он сам, безрогую коровенку.

У каждого сезона свои игры: ранней весной — «чижик», бумажные змеи, летом — футбол, поздней осенью — лянга... Только двое ребят не участвовали в наших играх. Это Ходжа, у которого были какие-то особенные глаза, они смотрели на мир так задумчиво и грустно. И Той. Ходжа сам не хотел играть, а у Тоя была причина: надо же кому-то пасти скот. То и дело чья-нибудь бродяга корова или чья-нибудь шкодливая коза норовили забраться в посевы. И тогда наш джурабаши, у которого на верхней губе уже проступал темный пушок и ломался голос, приказывал:

— Той! Твоя очередь, сбегай за козой!

— За коровой смотри, Той, за коровой!

— Той! Гляди, баран в картошку полез!

Почему-то Той всегда дежурил чаще нас. Хотя его корова, словно выдрессированная, ни на шаг не отходила от хозяина. Но ведь за скотиной других ребят тоже надо кому-то присматривать! Той утирает нос и молча бежит к огороду. Пока пригонит брыкающегося козла, чей-нибудь бычок, задрав хвост, убежит в джидовую рошу. Наигравшись вдоволь, мы отдыхаем в тени ивы. Джурабаши расстилает на траве отцовскую фронттовую шинель, растягивается на ней и сладко зевает:

— Той, мы устали. Вздремнем немножко. А ты подежурь и присмотри за скотиной.

Той пыхтит, утирает нос, но помалкивает.

Однажды он взмолился в сердцах:

— Не зовите меня Той. У меня же имя есть — Тоир.

Наш джурабаши обвел всех нас лукавым взглядом.

— Ладно! — пробасил он. — Но только за это тебе три дня пасти нашу скотину. Если три дня будешь ее пасти хорошо, не будем больше звать тебя Той. Запомни: пасти надо так, чтобы к вечеру вымя у коров было полным. Понял?

Бедный Той целых три дня в поте лица трудился. А мы гоняли мяч в свое удовольствие. На четвертый день джурабаши созвал «собрание».

— Друзья, — сказал он торжественным тоном. — Отныне чтобы никто не звал Тоя Той. Отныне имя ему — Хутик¹. — И, обращаясь к нему, продолжил: — А будешь таким же молодцом не три дня, а еще годик, то вырастешь и станешь Ишаком.

Мы все держались за животы от хохота. Той, как всегда, вытер нос. Он сидел молча и чертил перед собой землю пальцем.

В игре «чижик» есть одно беспощадное правило: проигравший должен на одном дыхании добежать до условленного места, при этом от него требуется еще и непрерывно жужжать или мычать; не хватит дыхания, перестал мычать или жужжать — скачи на одной ноге. А если споткнешься и коснешься земли другой ногой, то совсем худо. Чижик опять подбрасывается битой, и от того места, где он приземлится, снова придется скакать на одной ноге...

Однажды я заставил Тоя маяться с полверсты. Известное дело, у него не хватило дыхания.

¹ Х у т и к — ослик, осленок.

— Скачи!— крикнул я.

Он заскакал на правой ноге. Но больше десяти прыжков сделать не смог. У него текло из носа. Он то и дело утирал его. А ребята заливаются. И больше всех я. Той споткнулся и упал.

— Давай снова!

— Не буду!

— Будешь!

— Не буду! Не буду!— Той внезапно рассвирепел и стал бить кулаками по земле.— Я вас ненавижу! А тебя больше всех!

В шуме я не расслышал, как подошла моя мать. Гляжу, а она стоит возле меня...

— Вставай, сынок,— сказала мать, погладила Тоя по голове. Потом подолом платья вытерла ему нос.— Не плачь, не надо.

Затем жестом отозвала меня в сторону:

— А ну иди сюда.

Я подошел.

— Ты почему заставляешь плакать своего брата?— сказала она возмущенно.

— Какого еще брата?

— А вот его.

— Тоя, что ли? Да какой он мне брат!— ухмыльнулся я.

— Эх ты! Знаешь, что мягкое дерево червь точит. Если слабый, значит, обижать можно?

— А пускай он делает что положено. Чего он маяться не хочет?— закричал я.

— А ты померешь, да, если он по-твоему не сделает?

Спустя какое-то время после этого Той с родителями переехал в другое место. И мы даже не поинтересовались куда.

Когда умерла мама, Той пришел со своей матерью, тетей Нисо, и после часто заезжал. Буквально через день. Он всегда справлялся: «Может, что надо?»

В тот день я приехал домой и увидел машину Тоя у наших ворот. Той с тетей Нисо сидели на веранде. Поседевшая тетя Нисо поздоровалась, обняла меня за плечи.

— Приснилась мне ваша матушка,— сказала она, глаза ее увлажнились.— Будто ведет она Тоирджана за руку. Вот и пришла справиться, как вы тут живете.— Она на минуту смолкла и продолжала дрожащим голосом:— Какая была славная женщина! А как она любила Тоирджана!..

Тетя Нисо пристально посмотрела мне в глаза и тихо спросила:

— Вы это знали, да?

— Да, она его любила,— ответил я и сразу вспомнил тот случай.

Тетя Нисо снова внимательно поглядела мне в глаза:

— Должно быть, она рассказывала вам?

— О чем?

— Неужто не рассказывала?

— Не пойму, о чем вы?— удивился я.

— Ой, да ведь Тоирджан, можно сказать, братом вам приходится.— Теперь настал черед удивляться тете Нисо.— Как же вы этого не знаете? Тогда вам едва исполнился годик, а Тоирджану было всего чуть больше месяца. Я неожиданно тяжело заболела. О аллах, сколько же у него страданий, которые он придумал для рабов своих. Сорок дней я была на волосок от смерти... Война, голод, помощи ждать неоткуда. За себя-то я не беспокоилась, вот его было жалко, думала, помрет с голоду. Кормить-то его грудью я не могла. Заворачивала в марлю кусочек сала или хлеба и совала ему в рот. И вот как-то зашла ваша матушка и все увидела. Взяла Тоирджана на руки и покормила грудью. После этого в летний зной каждый день по три раза ходила ко мне в Бешкурган. И так целых сорок дней. Одной грудью кормила вас, а другой — Тоирджана.— Нисо-хола¹ всхлипнула. Вытерла влажные глаза кончиком платка.— Какая была женщина! Не знала, как ее отблагодарить! Однажды спросила ее об этом, так она меня отругала. «Что это вы придумали, милая, разве материнское молоко продается? Тот, кто делает кому-то хорошее, а потом ждет от этого выгоды, тот превращает благодеяние в грех»,— сказала она... Какая была славная женщина!

Тетя Нисо задумалась, сжимая в руке кончик платка. И я, и мой молочный брат, о чем я не подозревал до этой минуты, сидели, уставившись в одну точку. Каждый был занят своими мыслями, но все мы думали об одном человеке — о моей матери.

Т Е Р П Е Н И Е

Отец наш был человек вспыльчивый. Но даже в гневе он никогда не поднимал на нас, детей, руку. Однако мать так часто повторяла: «Ну-ка ведите себя прилично,

¹ Х о л а — тетушка.

а то отец рассердится», что все мы, как только появлялся отец, становились тихими, переставали озорничать.

Времена были трудные, и поэтому отец по вечерам подрабатывал, чинил часы. Все соседи, жители нашей махалли, несли к отцу неисправные часы. В комнате его всегда было полно самых разных часов, они тикали на все лады. Мама не разрешала нам входить в эту комнату. Но однажды мы с младшим братом все-таки вошли туда, на столе лежали большие карманные часы с цепочкой. Крышка была открыта, стекло вынуто, и тут же рядом лежали аккуратно разложенные разные детали. Нам с братишкой захотелось «помочь» отцу. Но часы никак не шли. Заслышав в соседней комнате мамы шаги, мы потихоньку улизнули. А вечером, едва отец вошел в комнату, раздался гневный крик:

— Кто трогал часы?

— Да ведь туда никто не входил!— удивилась мама.

— Здесь все разбросано!— возмущенный отец вышел из комнаты. В руках у него были «починенные» наши часы.— Стрелки нет. Что я завтра скажу хозяину!

Мы с братишкой сидели не шевелясь с отсутствующими взглядами. Хорошо еще, что наши старшие братья гуляли на улице, а то бы им точно влетело по первое число.

Немного погодя сели обедать. Братишке досталась деревянная ложка, мне — железная. Стали ссориться из-за ложек. Он хотел отнять у меня железную, опрокинул касу, и шурпа пролилась на скатерть. Отец и так был зол, а тут еще это. И он напустился на мать. Мол, детей распустила, в доме ничего нельзя оставить. И ударил по лицу. Мне так было жаль ее. Но что я мог поделать?

Назавтра я проснулся, когда отец уже ушел на работу, а со двора доносился громкий женский голос. Его я узнал сразу. Он принадлежал жене нашего соседа Мумина-ака. Мумин-ака — кетменщик. Человек он тихий, вполне соответствует своему имени. Мумин — значит смирный, бессловесный. А вот жена у него совсем другая. От мала до велика все зовут ее Келиной¹. Ни от кого у нее нет никаких секретов. Все, что происходит у нее в доме, тут же становится достоянием махалли: что у нее подгорело, почему кто-то из ее сыновей не ест репу, у какой из дочерей какие нелады.

¹ Келиной — жена старшего из братьев, невестка.

— Ухожу!— громко кричала она.— Уйду от него. Он не уходит, так я сама уйду! Уйду и все из дому заберу, ничего ему не оставлю.

Понятно. Келинойн поссорилась с мужем. Как только разразится у нее в доме скандал, она тут же «уходит» к своей матери.

Я стал тихонько наблюдать за этой сценой.

— Что случилось, милая?— сочувственным голосом спросила мать.

— Вчера он так ругал меня, так ругал, чтоб он сдох!— Келинойн обеими руками стукнула себя по ляжкам.— И мать мою оскорблял, чтоб ему могила стала домом!

— Будет вам, не сердитесь,— пыталась успокоить ее мать.

— Да как же мне не сердиться?— еще пуще завопила Келинойн.— Вечером приготовила усьму¹. Стала красить брови, хотела сделать все до его прихода. Ну и машкичири² чуточку подгорела. Так что здесь такого, подумаешь, конец света! А он мне и говорит, сгореть бы ему в могиле: «Чем краситься без конца, лучше бы за едой смотрела!»—«Ну и что с того, что я крашусь, для кого я, спрашивается, крашусь?— говорю я ему.— Для тебя же и крашусь, скорпион несчастный. Не гулящая же я какая-нибудь! Мое дело приготовить, а твое — кушать, так вот кушай, что тебе дают, и помалкивай!» А то «подгорела»! Чтоб язык у него отсох, которым он мою мать поносил! А еще говорит, что у меня язык слишком длинный. Надо бы его язык на куски изрезать! Чтоб аллах забрал к себе его несчастную душу!

— Хватит, милая, хватит,— утихомиривала ее мать с грустной улыбкой.— Говорят же, дом без плова бывает, а вот без ссор... Не проклиняйте его, беднягу, так.

— Ой, как это не проклиняйте?— Келинойн опять хлопнула себя по ляжкам.— Как не проклинать этого дурака, место ему в могиле! Чтоб у него изо рта и из носа хлынула кровь, как же такого не проклинать? Хватит, надоело, ухожу!

— Куда же вы пойдете, милая, шестеро детей все-таки, их-то куда денете?— проговорила мать, продолжая едва заметно улыбаться.— Они у вас мал мала меньше.

¹ Усьма — растение, содержащее красящее вещество.

² Машкичири — каша из риса и маша.

— Ничего, как-нибудь сама прокормлю своих детей. Ежели я умещалась в тесном животе матери, думаете, не помещусь в ее просторном доме? Не прогонит же она меня. Лучше сдохнуть, чем жить с таким...— Келинойи внезапно умолкла. Долго разглядывала мать, хлопая глазами, и уже тихим голосом спросила:— Ой, что это у вас с лицом?

— Поленом ударила,— опустила голову мать.— Гляжу, дров совсем не осталось. Дети в школе, дадаси¹— на работе. Полено попало сучковатое, ударила я разок тешой, щепка отлетела и...— Мать осторожно погладила синяк под глазом.— Вернулся дадаси с работы и очень рассердился. Не могла, говорит, подождать, что ли, я бы сам наколол.

Я оцепенел от неожиданности. Мама сказала неправду. Солгала, но мне почему-то очень понравилось, что сейчас она говорит неправду. А что ей оставалось делать, не признаваться же во всем этой скандалистке Келинойи?

— Ага!— снова завелась Келинойи.— Муж ваш даже дрова колет. А мой ведра воды не принесет, чтоб руки у него отсохли! Палец о палец не ударит по хозяйству. Чтоб ему башку отсекла сабля святого Али! Не могу я так больше.

Я не мог больше слушать все это. Отчего-то мне захотелось плакать...

ПОЖЕЛАНИЕ ДЕДУШКИ ИРМАНА

Если на свете и есть два безобидных существа, то одно из них — дедушка Ирман, а другое — старуха его, бабушка Хабиба. Если на свете есть две спокойные, ласковые коровы, то одна из них — корова дедушки Ирмана. Если даже на всем белом свете одна-единственная такая корова, то все равно это корова дедушки Ирмана.

Дедушка Ирман хромает на левую ногу, он ходит, опираясь на палку. У коровы сломан правый рог. Никто не знает, как сломался рог у этой пестрой коровы. Но зато все знают, почему хромает дедушка Ирман. Знают, но почему-то толкуют по-разному. Моя мать утверждает, что дедушка Ирман был ранен в ногу в схватке с басмачами. Но отец объяснил все по-другому. Когда на кишлак внезапно налетели басмачи, дедушка Ирман со страху полез на дерево и свалился с самой его верхушки.

¹ Дада, дадаси — отец, почтительное обращение жены к отцу своих детей.

Но как бы там ни было, дедушка Ирман хромал. Весеннею порою он приводит на выгон свою корову. В руке у него палка, на здоровом роге коровы висит узелок с провизией. Дойдя до выгона, дедушка Ирман снимает узелок и отпускает корову пастись. Развязывает обмотанный вокруг пояса большой, размером с простыню, кыйикча¹ и расстилает его на густой траве в тени деревьев. Затем произносит «Бисмилляху рахману рахим»² и устраивается поудобнее на своем ложе. Пестрая корова, посапывая, как паровоз, пасется тут же рядом. Время от времени она поглядывает на хозяина, словно вопрошая, правильно ли она поступает. Корова такая смиренная, что не обращает ни малейшего внимания даже на тех озорников, которые лезут под нее и по очереди сосут молоко прямо из вымени. Ребята очень уважают дедушку Ирмана и его корову. Даже наш заводила сорвиголова джурабаши, увидев дедушку Ирмана, становится тихим и безобидным, как овечка, и вежливо здоровается с дедушкой, приложив руки к груди:

— Ассалям алейкум.

— Ваалейкум ассалям,— отвечает дедушка Ирман, стараясь придать своему голосу солидность. Но это у него не получается, голос у него тонкий, как у женщин, и очень ласковый.

Каждый раз, когда я вижу его, мне вспоминается притча о Хызре, ангеле добра и справедливости, которую поведала мне мать. Потому что у дедушки Ирмана и волосы, и борода, и лохматые брови, нависшие над глазами, белые как снег. Он носит чистую белую рубашку и штаны из домотканой материи. Бабушка Хабиба очень тщательно следит за его одеждой: она у него всегда чистая, выглаженная. А лицо у него румяное, улыбчивое, открытое. Как утверждает мать, такие лица бывают только у людей благородных. Правда это или нет, я не знаю, но дедушку Ирмана очень люблю.

Он лежит на боку, подпирая рукой голову. Вот он достает из кармана рубашки наaskaвaк — табакерку, сделанную из маленькой тыквы, бросает под язык наcвaй — специальный табак — и, жмурясь от удовольствия под ласковыми лучами весеннего солнца и постукивая по своей палке, начинает тихо петь: «Птица поет на дереве, а я слушаю ее, и у меня душа поет!» Тут, смешно ковы-

¹ Кыйикча — поясной платок.

² «Во имя господина милостивого и милосердного».

ляя, подбегает к нему мой голопузый братишка, который только-только научился ходить. Дедушка Ирман перестает петь. Он тянет руку к промежности карапуза и шутит:

— А ну-ка, отец родной, дайте вашего поцюхать табачку.

Братишка хохочет, заливается от щекотки.

Дедушка Ирман делает вид, что нюхает пальцы с покривившимися ногтями, чихает.

— Ап-ап-ап-ап-чхи! Ох, крепкий у вас табачок.

Вдруг я вижу, что на краю выгона стоит мать и делает мне знаки. Вскакиваю, пулей мчусь к ней. Мать протягивает мне кувшин для омовения.

— На, отнеси дедушке.

Я знаю, что в кувшине теплая вода. Осторожно берусь одной рукой за ручку, другой за носик кувшина и, пыхтя от усердия, несу дедушке.

— Вот, дедушка, вода.

Дедушка поднимает на меня удивленные глаза, затем довольно улыбается.

— Значит, уже время полуденной молитвы, мой черненький? Спасибо! Дай бог всем вам большого счастья, а вашей матери — видеть и наслаждаться этим счастьем.

Приговаривая так, он встает и уходит в укромное место совершать обязательное омовение перед молитвой. Через некоторое время он возвращается, вытирая лицо и руки кыйикчой. Затем снова расстилает его на траве вместо молитвенного коврика и долго шевелит губами, шепчет молитвы. Ребятишки затихают. Наконец дедушка садится на корточки и принимается читать молитву вслух:

— Аминь! Пусть мир царит везде, чтобы на этом свете не знали войн, аллаху акбар!

Мальчишки и девчонки нестройным хором снова приветствуют дедушку Ирмана. Так положено. Дедушка Ирман отвечает на приветствия, затем садится поудобнее и не спеша развязывает узелок со снедью.

— А ну, чернявые мои! А ну, красавцы мои,— произносит он торжественным голосом,— прошу к дастархану. Не робейте, мои милые.

Если на импровизированной скатерти появляется кукурузная или ячменная лепешка, для нас наступает праздник. Но в большинстве случаев ни того, ни другого. Зато всегда у дедушки Ирмана бывают ягоды тутовника. Сытные, сладкие, вкусные. Я запикиваю в рот горсть

ягод и бегу домой. Мать к этому времени обязательно заваривает чай. Иногда это чай из сушеной кожуры яблок, иногда из чего-нибудь другого, но всегда это вкусно. В конце трапезы дедушка Ирман произносит благодарственное слово скатерти.

— Благодарим аллаха за угощение!— говорит он тоненьким голосом.— Амины! Пусть мир царит везде, чтобы на этом и на том свете не знали войн, аллаху акбар!

И только после всего этого он начинает рассказывать об Алтмышвае. Алтмышвай¹— сын дедушки Ирмана. В молодости у бабушки Хабибы было много детей, но все ее дети умирали, не прожив и сорока дней. А вот с Алтмышваем все обстояло иначе — парень рос богатырем, ни разу не болел. В моем возрасте он мог уже оседлать коня. А когда ему было столько же лет, сколько нашему джурабаши, ему ничего не стоило разрыхлить мотыгой целый танап² земли. Вот каким был в детстве Алтмышвай!

Вначале я думал, что его так назвали, потому что он шестидесятый ребенок у бабушки Хабибы. Оказывается, я ошибался. Когда он родился, дедушке Ирману исполнилось шестьдесят лет. В честь этого и нарекли ребенка Алтмышваем.

— Во всем свете не сыщешь парня, как мой Алтмышвай,— не устают повторять дедушка Ирман.— Аллах создал его единственным в своем роде, форма, в которой он отливал его, больше не существует, сломалась она.— Дедушка Ирман сам получал удовольствие от своего рассказа. Доставал из кармана табакерку, ссыпал на ладонь чуть больше обычной порции наса и бросал под язык.— Вот сейчас он сражается на море, Азоб называется то море.— Дедушка Ирман всегда говорил именно — Азоб, а по-узбекски это означает «страдание». Только потом я понял, что это Азов.— И море это такое — чуть ветер поднимется, волны — как горы. Но мой Алтмышвай ничего не боится. Задает жару фашистам. Только командир у них какой-то непутевый. Написал нам, что Алтмышвай погиб смертью храбрых...— Тут дедушка замолкает. В глазах его под густыми белыми бровями сверкают слезы. Никто не поймет, смеется он или плачет.— Нет,— говорит он дрожащим голосом,— завтра или послезавтра мой сын вернется. И вся грудь его будет в орденах. И тогда мы напишем письмо этому командиру.

¹ Алтмышвай — шестьдесят.

² Танап — семь соток.

Я буду диктовать, а Алтмышвай будет писать. Ты, скажу, парень непутевый, командир. Вот, скажу, вернулся же мой Алтмышвай героем, живой и здоровый...

Дедушка Ирман опять замолкает. Теперь надолго. Молчат мальчишки, молчат девчонки. Дедушка Ирман выплевывает табак. Вытирает губы тыльной стороной ладони, находит взглядом корову.

— Вот приедет Алтмышвай, продадим корову, женим его, устроим пир на весь мир,— говорит он с надеждой в голосе. Затем снова начинает дробно выстукивать пальцами по палке и тихонько петь.

«Поет птица на дереве, а я гляжу вокруг, и душа моя тоже поет».

Пока дедушка Ирман напевает себе под нос, я вспоминаю, как мы с матерью ходили домой к дедушке Ирману и видели там фотографию Алтмышвая. Вообще-то дом дедушки Ирмана — это наше ребячье царство. Как только поспевают ягоды тутовника, дети всего кишлага приходят во двор к дедушке Ирману. Забор у него низенький, если едешь верхом на ослике, все видно как на ладони. Только войдешь к ним во двор, как тут же навстречу уже спешит бабушка Хабиба, на голове у нее огромный марлевый платок, широкие концы которого она перебрасывает крест-накрест на груди.

— Ах, голубчики мои, чтоб дом ваш ломился от пшеницы, чтоб вас стало еще больше, проходите,— говорит она ласковым голосом.

Ребята, не теряя времени, вскарабкиваются на тутовник. Тутовник похож на хозяина. Крона его разрослась густо, но не вверх, авширь, стелется над землей, занимая почти полдвора. Залезть на него нетрудно, но бабушка Хабиба боится, что дети могут сорваться и сломать себе шеи.

— Эй, чтоб вас больше стало, осторожнее!— кудахчет она как встревоженная наседка.— Упадете еще. Сейчас позову вам дедушку.

Через некоторое время из низенькой комнаты на террасу выходит, опираясь на палку, дедушка Ирман.

— Ну-у, чернявые мои, пришли, прискакали!— говорит он, не скрывая радости.— А ну, старуха, неси презент.

Бабушка Хабиба выносит латаный-перелатаный и широкий, как парус, кусок брезента.

По крайней мере, тридцать мальчишек, щебеча, как ласточки, схватив по краям, натягивают его. Дедушка

Ирман, кряхтя, взбирается на дерево и садится на самую толстую его ветвь. Бабушка Хабиба протягивает ему шест.

— Бисмилля¹,— говорит дедушка Ирман и бьет шестом по веткам тутовника.

Ягоды обильным дождем падают на натянутый брезент. Ягоды большие, величиной с кокон шелкопряда, сочные, сладкие. Ребятишки опускают брезент на землю и с визгом, криком налетают на ягоды. Сверху раздается тонкий голос дедушки Ирмана:

— Не торопитесь, голубчики, сейчас натрясу еще, хватит вам всем досыта.

Мы набиваем животы ягодами, а на террасе стоят три пузатых кувшина, каждый ростом с меня. Бабушка Хабиба готовит из ягод тутовника варенье — шинни, наполняет им кувшины. Приходи зимой в любое время — наешься варенья.

И каждый раз, когда дедушка Ирман заговаривает об Алтмышвае, я вспоминаю, как мы с матерью ходили к нему домой. То было время, когда ягоды тутовника уже наливались сладким соком. Дедушка Ирман тряс ягоды. Бабушка Хабиба мыла их и приносила нам на глиняном блюде. Мы с наслаждением ели их. Затем бабушка Хабиба приглашала нас пить чай.

— Тутовник обязательно надо запивать чаем, иначе жажда замучает,— заботливо объясняла она, провожая нас в комнату с низким потолком.

Как только мы входили в комнату, украшенную старинными подносами, в глаза мне сразу бросалась лепешка. Такую красивую лепешку я видел впервые. Она была большая, румяная, обсыпанная маковыми зернышками. Почему-то ее прибили гвоздем к стене. Краешек у нее был надкушен.

— Ма-ма-а! Хлеба-а!— сказал я умоляюще.

Мать быстро взглянула на меня, прикусила нижнюю губу и покачала головой. Это был признак того, что ей стыдно за меня. Я стал приставать к бабушке Хабибе, зная, что на свете нет человека добрее, чем она.

— Бабушка, хлеба,— сказал я тем же тоном, показывая на лепешку, висящую на стене.— Бабушка, хлеба-а!

Но бабушка на этот раз не была щедрой.

— Эту лепешку трогать нельзя, милый,— сказала

¹ Бисмилля — с богом.

она, погладив меня по голове.— Нельзя, верблюжонок мой. Эта лепешка принадлежит твоему брату Алтмышваю. Видишь, уходя на фронт, он надкусил ее¹. Вот когда он вернется, он доест ее, а кусочек даст и тебе. Вон посмотри, он улыбается тебе.

И действительно, на лепешке следы зубов Алтмышвая. А под лепешкой его портрет. Портрет почему-то пожелтевший. Только потом я понял, что он пожелтел от слез бабушки Хабибы. С портрета улыбается смуглый парень в бескозырке.

— Хочешь курт²?— спросила бабушка Хабиба, снова погладив меня по голове.

Я взглянул на мать, она нахмурила брови.

И я промолчал. Когда, распрощавшись, мы вышли на улицу, мать начала упрекать меня.

— Противный мальчишка, я чуть не сгорела со стыда. Эта лепешка дожидается Алтмышвая, понятно? На Алтмышвая пришла похоронка, а они все-таки его ждут, понятно?

Что я понял, чего я не понял, не помню, но мне хотелось верить словам дедушки Ирмана. Скоро Алтмышвайака вернется домой героем. Дедушка Ирман продиктует ему письмо командиру. Напишет, что он, командир, непутевый человек. Вот, скажет дед, Алтмышвай вернулся героем, цел и невредим, а ты писал, что он погиб. Затем они продадут пеструю корову и закатят свадьбу.

Закончив рассказывать об Алтмышвае, дедушка Ирман каждый день повторяет нам одну и ту же притчу. Эта притча мне не нравится — я боюсь ее. Но дедушка Ирман так часто повторял ее, что я заучил ее наизусть. А наш заводила почему-то любит именно эту притчу.

— Дедушка,— просит он.— Расскажите о том крае и о другом крае.

Дедушка Ирман с удовольствием выполняет его просьбу.

— Ладно, мои непослушные, черненькие, пухленькие, садитесь ближе.

Дедушка Ирман никого из нас не знает по имени. Все мальчишки для него — черненькие, все девчонки — пухленькие. И самое удивительное — ко всем нам обращается только на «вы».

¹ Существует поверье, что если человек, уходя из дому на долгое время, надкусит лепешку и ее сохранят, то он обязательно вернется обратно.

² Курт — сухой овечий сыр.

Отправив в рот новую порцию наса, он начинает притчу.

— Давным-давно это было. Мирно соседствуя, существовали два государства.— Дедушка Ирман замолкает, затем упрекает одну из девочек.— А ну, пухленькая, вытри нос своему братишке.

«Пухленькая» утирает подолом платья нос мальчишке, который вовсе ей не брат.

— Молодец!— довольно говорит ей дедушка Ирман.— Итак, и в том краю, и в другом краю люди мирно растили хлеб, пасли скот. Но, голубчики вы мои, и в ту пору существовали нехорошие люди. Вот они и посеяли раздор между двумя государствами-соседями... «В другом краю такие огромные пастбища, за три дня на хорошем скакуне не объехать,— шептали они своему падишаху.— Вот если бы завоевать тот край, казна ваша наполнилась бы золотом». А люди с черным нутром в другом краю тоже шептали своему падишаху: «В том краю сады подобны раю. Вот бы завоевать эти земли, казна ваша наполнилась бы золотом».

Дедушка Ирман сплевывает табак и вдруг пристальное смотрит на Тоя.

— Голубчик вы мой, черненький вы мой, и у вас из носу течет.

— Не обращайтесь внимания, дедушка!— ехидно подает голос всезнайка джурабаши.— Бесплезно ему говорить, у него там неиссякаемый источник.

Той обиженно шмыгает носом. Через мгновение на кончике его носа снова появляется капля, но он не обращает внимания, слушает сказку дедушки Ирмана.

— Итак, падишах того края и падишах этого края стали собирать войско. И воины у них были как на подбор. Молодцы, как мой Алтмышвай. А родители джигитов, убеленные сединой старики и согбенные старухи, были убиты печалью. «Кому-то и на пользу война, но не нам,— возмущались они.— Неужели мы отправили своих детей в пасть смерти, только чтобы падишах обогатился?» Но кто прислушается к голосу бедных, голубчики вы мои? Устремились воины одного края к границам другого. И началась кровавая бойня. Сколько луноликих красавиц затоптали кони, сколько детей погибло в люльках, сколько матерей исходило слезами, потеряв своих детей. Девушки-невесты, молодые женщины, дети взмолились богу: «Пусть ради собственной наживы сражаются падишахи, но в чем наша вина?.. Почему ты ли-

шаешь нас отцов, матерей, братьев, сестер?»— говорили они. Но их глас не достиг божьего слуха.

Тут дедушка Ирман замолкает. Я начинаю ненавидеть падишахов и того края, и другого, ведь это из-за них началась война. Мне хочется уничтожить всех злодеев, из-за которых матери лишаются детей, а дети теряют матерей.

— А ну, чернявенький, подтяни штанишки,— говорит, улыбаясь, дедушка Ирман.— А то уже «соловья» видно, голубчик.

Чернявенький поспешно подтягивает штаны.

— Молодец, голубчик!— весело говорит дедушка Ирман.— Дай вам бог счастья. Итак, война длилась сорок лет. Она опустошила и тот край, и другой. Клянусь вашими невинными душами, сколько рек высохло, сколько садов превратилось в пепелища. Все сгорело, земля почернела, ни одной зеленой былинки не осталось, ни одного целого дерева. Стали гибнуть и птицы, и животные. Наконец деревья, травы, реки, птицы тоже обратились с мольбой к богу: «Воюют люди, а в чем же наша вина?— вопрошали они.— Ты создал нас для людей, почему же род людской уничтожает нас?.. Если уж люди так плохи, что не могут жить мирно, то что же делать нам?..»

Крепко рассердился всевышний. И превратил оба эти края в бесплодные степи. С тех пор там нет ничего живого: ни людей, ни деревьев, ни травы, ни цветов, ни даже капли воды. С тех пор солнце обходит стороной те земли. Там и близко нет ветра. Птицы не летают. Тот край и другой стали царством вечной ночи.

Дедушка выплевывает табак, глубоко вздыхает. Он словно говорит: «Такие вот дела»,— и сокрушенно качает головой.

— Проклятым пашистам не сиделось на месте, и мой Алтмышвай взял в руки меч, чтобы покарать этих людоедов. А ведь нелегко плавать небось по морю Азоб.

Он смотрит на меня и лукаво подмигивает.

— Вот у Алтмышвая есть меч. Такой меч был лишь у богатыря Алпамыша¹, длиной в сорок газов². Как вернется Алтмышвай, я тот меч подарю вам.

...Так и не достался мне меч Алтмышвая длиной в сорок газов, обещанный мне дедушкой Ирманом. И сам Алтмышвай, и его меч остались на войне. В тот год де-

¹ Алпамыш — герой народного эпоса «Алпамыш».

² Газ — мера длины, приблизительно равная 1,5 метрам.

душка Ирман рассказал нам еще одну легенду. Хоть я и слышал ее лишь раз, но почему-то крепко засела она у меня в голове.

Вечером мы собрались на айване дедушки Ирмана. Во дворе крупными обильными хлопьями падал снег, передняя открытая часть айвана была завешена той самой латаной-перелатаной брезентовой палаткой, которую мы обычно подставляли под ягоды тутовника. Было довольно холодно. Мы сидели, просунув ноги под сандал. Хоть ногам и было тепло, все равно хлад пробирал спину до костей. На сандал вывален хлопок из мешка, он горой высится над нами. По словам дедушки Ирмана, нам надо вылущить десять пудов курака — нераскрытых коробочек хлопчатника. Если мы до завтра не вышелушим коробочки и не сдадим хлопок в колхоз, то вызовем неудовлетворение бригадира Хайдара, прозванного Ветром. Курак на холоде заledenел, возьмешь в руки — жжет. В двух нишах в стене тускло горят керосиновые лампы. Когда пламя в них колышется, огромные тени молча работающих женщины подпрыгивают на стене, как фантастические чудовища-дивы. Только справятся с одним мешком курака, как дедушка Ирман тут же вываливает на старую скатерть содержимое нового мешка. Руки мои сводит судорогой. К тому же заledenелый курак больно колет и царапает ладони, пальцы. Покамест извлечешь твердый, как дольки ореха, хлопок, острые шипы коробочки вонзаются под ногти, они кровоточат. Дедушка Ирман время от времени жалостливо поглядывает на меня.

— Погрейте руки, чернявый вы мой!

В конце концов у моей матери лопнуло терпение.

— Пусть будет проклят этот хлопок, — сказала она измученно. — Все руки в кровь исцарапала.

Дедушка Ирман неодобрительно покачал головой.

— Не говорите так, голубушка, — сказал он своим тонким голосом. — Грех так говорить. Хлопок — это райское растение, милая моя.

Он долго шарил в объемистых карманах яктака, долгополой рубашки, ворота которой не застегивал и зимой; наконец выудил табакерку, несколько раз шлепнул по ней ладонью, положил под язык табак.

— Да, хлопок — это райский цветок, — продолжал он уверенно. — Если хотите, я расскажу вам одно предание, голубчики вы мои.

И поведал нам легенду, которую раньше мне слышать не доводилось.

— В давние времена на наши края налетели полчища врагов. Люди спрятались в крепости. Враг окружил и осадил город. В конце концов и те, кто был в крепости, и те, кто был за крепостью, изнемогли от усталости. Те, кто спрятался в крепости, обессилели от голода. Собрались они и пошли за советом к аксакалу и сказали: «Чему суждено быть, того не миновать. Мы откроем ворота крепости. Дети наши погибают от голода, мы сами тоже, нет у нас ни дров, ни корма для коней». Но аксакал был мудрым человеком.— Тут дедушка Ирман торжественно расправил плечи, выпрямился.— И вот этот аксакал вынес откуда-то из худжры¹ несколько кустов хлопчатника. «Хлопок — это цветок рая,— сказал он осажденным.— Прежде всего поднимем на ноги раненых». Очищенный хлопок стали прикладывать к ранам, они на глазах заживали. Из хлопка направили пряжу, сшили одежду, пеленки младенцам, из семян отжали масло. Отжатые семена пошли на корм коням. Кусты хлопчатника хорошо горят и дают устойчивый жар, они пошли на обогрев.— Голос дедушки Ирмана зазвучал громче.— Смотрят, а враг-то в худшем положении. Пришлось ему снимать осаду и бежать без оглядки.— Дедушка Ирман, отвернувшись, выплюнул табак, поцокал языком.— Вот видите, каков наш хлопчатник. Это действительно райский цветок. А ну, старуха, носи шинни. Поедим его всласть!

Бабушка Хабиба проворно вскочила с места, опустила в кувшин пиалу. Затем еще и еще раз. На айване сразу запахло тутовым вареньем.

...В тот день, когда выпал первый снег, я и подумать не мог, что вижу бабушку Хабибу в последний раз. Еще не наступил новый год, а снегу навалило на удивление много, затем начались лютые морозы. В один из таких дней, после утреннего чая мать неожиданно спросила меня:

— Хочешь пойти к дедушке Ирману?

Я несказанно обрадовался. Разве можно отказаться от такого заманчивого предложения!

— Пробовать варенье?— спросил я поспешно.

Мать тихо покачала головой.

— Нет. Бабушка Хабиба заболела воспалением легких. Им нечем топить. Давай отнесем им уголь.

Я еще помнил, как трудно пришлось нам в прошлую

¹ Х у д ж р а — подсобное помещение.

зиму, когда нечем было топить. Поэтому, наверно, в этом году отец припас угля.

— И я понесу!— сказал я, подпрыгивая от нетерпения.— В мешке понесу.

— Вот и молодец!— сказала мать и похлопала меня по плечу.— Но ты не сможешь поднять мешок. Понесешь в ведре.

Отец был на работе, братья в школе. Сестра отправилась в город продавать козье молоко. Дома только мать, я и младший брат. Я кое-как уложил его в люльку; мать еле-еле усыпила его. Мы пошли в сарай, насыпали в мешок угля. Я держал мешок, а мать насыпала совком. Каждый раз, когда мать опорожняла совок, над мешком взвивалась угольная пыль. Через некоторое время наши лица почернели. Затем я сам наполнил небольшое ведерко. Мать взвалила на плечо мешок и пошла, согнувшись под тяжестью, оставляя на снегу глубокие следы. За ней двинулся и я. Маленькое ведерко сначала показалось мне легким. Шагов примерно через пять-десять оно стало невыносимо тяжелым. Я шел и спотыкался, скользил на снегу, чуть не падал и все время переключивал ведерко из одной руки в другую. Вдобавок ко всему начало покалывать от мороза руки. Дужка ведра прилипла к ладони, и, когда я переключивал ведро из одной руки в другую, казалось, что с ладони сдирается кожа.

— Мама, у меня руки замерзли,— чуть не плача, сказал я.

Мать жалостливо оглянулась на меня, но не остановилась.

— Шагай быстрее, сыночек, мы уже почти дошли.

Мешок был худой, видно, прогрызли мыши, и от нашего дома до самого дома дедушки Ирмана тянулась по снегу тоненькая ниточка угольной пыли.

Наконец мы дошли ко двору дедушки Ирмана.

— Ты подожди здесь,— сказала запыхавшаяся мать.— Я скоро.— Сказав это, она, согнувшись пополам, вошла через калитку во двор. Через некоторое время вернулась и забрала у меня ведерко.

— Бедная, она бредит!— сказала она, вернувшись.— Дедушка читает молитвы.

В этот раз мне не удалось попробовать варенья бабушки Хабибы. Мы с матерью сразу пошли обратно. В руке у матери ведро, в ведре пустой мешок.

Видно, отец приметил-таки черный след на снегу, во всяком случае, вечером он спросил у матери, кому она

дала уголь. Мать виновато потупилась, но все же сказала правду.

— Бабушка Хабиба простудилась. У них топить нечем, вот я и решила отнести им немного.

Отец не стал ругать мать.

— Плохо,— сказал он тихо.— Надо сообщить доктору.

Мать отрицательно покачала головой.

— Мне кажется, это ни к чему. И тепло им теперь. Может, завтра ей полегчает.

Но бабушке Хабибе не стало лучше. На третий день отец ушел на работу, но вернулся с полпути домой.

Мать, которая поила чаем младшенького, сидевшего у нее на коленях, обеспокоенно спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Бабушка Хабиба умерла,— тихо произнес отец.

— Ах! Ах, бедная!— из глаз матери брызнули слезы.— Вчера она говорила, что ей уже легче.— Мать посадила моего младшего брата на тюфяк, вскочила с места.— Бедная, бедная!

— Смерть посылает бог,— сказал отец глухим голосом. Плечи его дрожали.

Отец, за ним мать с братишкой, затем и я побежали к дому дедушки Ирмана. Тетушка Зеби и усатый дядя Исраил расчищали от снега двор. Соседка с веснушками на лице и Келинойи плакали навзрыд, повторяя единственное: «Ах, мама, мамочка»¹.

Дедушка Ирман тоскливо смотрел на каждого входящего. Он бил себя по груди, покрытой седыми волосами, которые виднелись в распахнутом вороте, и все повторял еще более тонким, чем обычно, голосом.

— Умерла, так и не дождавшись единственного сына. Так и ушла, не насладившись ликом Алтмышвая!

Нет. Он не плакал. Только стонал. Его била дрожь, сотрясала все его тело. Он где-то потерял свою тюбетейку и стоял с непокрытой головой². На его голове, на белой бороде, на приоткрытой груди холодно сверкали снежинки.

Бригадир Хайдар Ветер, который только и знал что приказывал людям, весь сникший, плакал, сидя под тутовником:

¹ Если у женщины нет детей, то оплакивают ее знакомые, соседи, называя мамой, мамочкой.

² В дни праздника или траура быть без головного убора считается неприличным.

— Ах, мама! Не было тебе счастья на свете, мама!

Когда вынесли специальные носилки с телом покойной, накрытым паранджой¹, поднялся невообразимый плач, женщины рыдали в голос, били себя в грудь. Мать с криком бросилась на гроб.

— Ах, мама! Так ты и ушла, не увидев своего единственного сына!

Мужчины подняли на плечи носилки и пошли, мать кинулась вперед, но, сделав пять-шесть шагов, поскользнулась и упала.

— Мама! Мама!— Я склонился над нею и заплакал. Она не видела и не слышала меня.

— Ах, какое горе!— простонала она.

На всех поминках бабушки Хабибы: на третий день, в день стирки одежды усопшей, на седьмой — мать хлопотала больше всех, успевала столько, что можно было подумать, что у нее шесть ног и восемь рук.

Дедушка Ирман продал корову на двадцатый день после смерти бабушки Хабибы. Из разговоров отца с матерью я понял, что Хайдар Ветер пытался отговорить дедушку Ирмана от этой затеи, но тот настоял на своем. «Что хорошего видела на этом свете моя старуха?— сказал он.— Пусть хоть дух ее увидит то, чего не видела она. А когда вернется Алтмышвай, мы купим другую корову». Его корову за бесценок купил Далавай.

После смерти бабушки Хабибы мать стала каждую неделю стирать и гладить одежду дедушки Ирмана. Каждый четверг она готовила сладкую кашу-халвайтар, сдоблив ее вместо сахара соком сахарной свеклы. Ежедневно она относила касу² еды, которую готовила дома, дедушке Ирману. И все повторяла одну и ту же фразу:

— Трудно теперь дедушке, ах, сынок, как же ему трудно.

Однажды отец принес новую весть. Дедушка Ирман решил устроить поминки сорокового дня. Его хотели отговорить и от этой затеи, но дедушка Ирман решительно отверг все советы.

— Поминки сорокового дня — самые главные, в этот день душа усопшей покидает этот бренный мир и переходит в потустороннее царство. Пусть же возрадуется дух моей старухи,— сказал он.

¹ Паранджа — накидка, в которую кутались женщины, выходя из дому.

² Каса — глубокая чаша.

На третий или четвертый день после тех поминок я стал свидетелем странного случая. Был воскресный день, и отец, и братья находились дома. Вдруг во дворе разругой твякнула моя собачка и замолчала. Неожиданно распахнулась дверь. На пороге появился дедушка Ирман в своей обычной долгополой рубашке-яктаке. Вероятно, шел снег, ибо тубетейка его, обмотанная по краям платком, и плечи были в снегу. Самое удивительное — он был без своей палки, на которую обычно опирался при ходьбе. Когда он переступил порог, я увидел, что он босой. Огромные его ноги были в ссадинах, разодраны в кровь, одна штанина подвернута, на ногах до самой лодыжки налип грязноватый снег. Все мы оцепенели от растерянности.

— Алтмышвай вернулся,— сказал дедушка Ирман, странно улыбаясь.— Вернулся-таки! И старуха моя вернулась. Они вдвоем пошли на кладбище читать молитву усопшим.

На лице матери мелькнула растерянная улыбка, но в ту же минуту она сменилась ужасом. Мать взглянула на отца.

— Вернулся,— снова странно улыбнулся дедушка Ирман. Затем прижал левую руку к груди, а правой стал делать движения, словно перебирал струны дутара.

«Поет птица на дереве, а я гляжу вокруг, и душа моя тоже поет».

Вдруг он замолк. Заметив меня, тихо засмеялся.

— Ах, и вы здесь, чернявенький! Брат ваш Алтмышвай вернулся. Вернулся...— Затем он захохотал во весь голос.

Я никогда не слышал, чтоб он так смеялся. Притопывая израненными ногами, он снова запел:

«Поет птица на дереве, а я гляжу вокруг, и душа моя тоже поет».

Мы, словно загнипнотизированные, не дыша смотрели на него. Дедушка Ирман плясал долго. Грязь и снег, налипшие на его ноги, стаяли, разбрызгались по циновке. Наплясавшись, он сел на корточки и, смотря в угол, где обычно стоит наша обувь, прочитал молитву, провел руками по лицу.

— Аминь! Чтобы и на этом, и на том свете не знали войны. Аллаху акбар!

Назавтра его увезли в больницу. Сопровождали старика отец и Хайдар Ветер. Как рассказал отец, дедушка Ирман у входа в больницу сел на землю, спросил, в ка-

кой стороне кыбла¹. Затем, воздев руки к небу, забормотал:

— Аминь! Чтобы и на этом и на том свете не знали войны! Аллаху акбар!

МОЯ ТЕТУШКА АЧА

Мать и дня не могла прожить без людей. Соседские молодухи, старушки из других махаллей часто собирались у нас и вели оживленные беседы. Я всегда удивлялся: и откуда они находят столько слов?

Почтальонша-татарка, каждое утро приносящая нам газеты, не сразу уходит из нашего дома. Непременно поводит мать.

— Здравствуйте, здоровы ли?— спрашивает она со своим татарским акцентом и тут же принимается изливать ей свои горести.— Ушел, сволиш! К любовнице ушел.

Мать всякий раз успокаивает ее.

— Потерпите, доченька, потерпите. Муж у вас совсем не плохой.

— На развод подам! Добьюсь, чтоб алименты платил!

— Не говорите так, милая, не делайте ребенка своего сиротой при живом отце.

— Э, будь что будет! В суд на него, паразита, подам! Мать говорит ей с уверенностью в голосе:

— Не торопитесь, милая. Муж вас все равно любит. Чует мое сердце. Не сегодня завтра все у вас наладится.

Вслед за почтальоншей заходит соседка — хромая старушка.

— Верно говорят, свой есть свой, а чужой есть чужой,— говорит она, чуть не плача.— Сколько раз говорила я Рахматулле своему, женись на дядиной дочери. Так нет, не послушался. А что из этого вышло? Уперся: мол, убейте меня лучше, а все равно на ней не женюсь, на кляче этой... Да, как только женятся, так мать сразу и не нужна. Сын мой не успел жениться, так сразу и переменился...

— Не обижайтесь на него, дорогая,— ласково утешает ее мать.— Невестка ваша очень хорошая женщина, недавно встретила с ней на улице. Она вас так нахваливала, так нахваливала...

¹ Кыбла — сторона света, в которую мусульмане обращаются во время намаза.

— Вай, да нарочно это она, чтоб у нее язык отсох. Не знаете вы, какой у нее колючий язык!

— Все будет хорошо,— говорит мать с какой-то внутренней убежденностью.— Вот увидите. Сноха ваша считает вас второй матерью. Чует мое сердце...

Сердце у моей матери на редкость «чующее», оно всегда предсказывает только хорошее.

Каждый раз, когда я слышу подобные разговоры, я вспоминаю случай из своего детства.

Был конец войны. То, что тогда не умещалось в моем ребяческом сознании, я понял много позже: война закончилась, но в сердцах людей остались незаживающие рубцы. У чьих-то ворот играл карнай¹, а у кого-то был траур, слышалось оплакивание погибшего.

Как-то мой старший брат с криком вбежал в ворота:

— Мама! Цыганка идет, цыганка!

Я остолбенел. О цыганах мы слышались таких страшных рассказов, что при одном упоминании о них пытались спрятаться, как мыши в нору. Говорили, будто цыгане упрятывали играющих на улице детей в мешок. А если дома не было взрослых, то они душили детей и, обчистив дом, исчезали.

Вслед за старшим братом, словно она гналась за ним, вбежала во двор смуглая-пресмуглая цыганка. Поверх длинного грязного платья на ней была безрукавка, на плече хурджун — переметная сума с бахромой, в волосах — монеты, на ногах старые красные сапожки... В ужасе я прижался к матери. Отца-то дома нет, что же мы будем делать? Лежавшая в углу двора наша маленькая собачка, яростно лая, бросилась на цыганку. Цыганка на секунду остановилась и пригрозила своей кривой палкой. Я с испугом взглянул на мать: что же она медлит, пусть поскорее прогонит незваную гостью!

А мать пристально поглядела на цыганку, и вдруг лицо ее прояснилось.

— Ой, да ведь это Ача-хола!— сказала она, обрадовавшись так, будто увидела сестру родную.— Добро пожаловать, милая.

Она хотела было подойти к цыганке, но я схватил ее за руку и потянул назад.

— Не ходите!— выдал я сквозь слезы.

— Не бойся, дурачок, это же тетушка Ача!— Мама сбежала с айвана во двор и, обнявшись, поздоровалась с цыганкой.

¹ Карнай — медная труба, на ней играют на торжествах.

А наша собачонка все продолжала лаять и носилась вокруг цыганки.

— Пойдемте, ну пойдемте же в дом,— сказала мама, направляясь к айвану.

— По мне, так лучше здесь!

Цыганка скинула хурджуи на землю, поставила его под тенью миндаля и уселась на него. Разгоряченная быстрой ходьбой, она стала обмахиваться, как веером, воротом своего длинного платья, на шее ее мелькнули бусы в два ряда. Увидев в ее ушах золотые серьги, я почему-то подумал: «Наверное, украла». И еще больше испугался. Сейчас начнется. Как говорили мои старшие братья, сейчас начнет гадать, заговорит-заговорит, а потом всех передует.

— Ма-а-ма!— закричал я.

Цыганка даже не взглянула на меня. Широко раскинула в молитвенном жесте свои смуглые руки.

— Амины! Дай бог, чтобы в этой семье были только свадьбы. О аллах, покарай всех врагов этого очага!

Мать тоже опустила на колени и повторяла за ней молитву.

Вероятно, мой старший брат оповестил соседей, и через несколько минут к нам пришла Хаджи-буви и молодая женщина Хайри-апа¹, которая жила через три дома от нас.

— В доме твоём враг,— сказала цыганка нараспев.— Вра-аг!

Меня снова обуял страх. Но мать почему-то оставалась спокойной.

— Что здесь врагу-то делать, тетушка,— сказала она тихо.— О брате своем тревожусь я. Все думаю о нем и мучаюсь по ночам. Все возвращаются, а брата моего бедного нет и нет.

Мать часто вспоминала своего старшего брата, ушедшего на войну; отца моего не взяли на фронт из-за болезни. Через каждые два слова вспоминала мать о своем брате и плакала. И сейчас вот она заговорила прежде всего о нем. Я понял: ей хочется, чтобы цыганка погадала ей.

— Иди, сынок, поиграй,— сказала мама. Но я, словно замороженный, не мог сдвинуться с места.

Цыганка неторопливо сунула руку в хурджуи, вы-

¹ А па — старшая сестра, обращение к женщине старшей по возрасту.

нула какой-то грязный узелок. Хаджи-буви и Хайри-апа молча опустились на колени возле матери.

— Тетушка Ача всегда верно гадает,— сказала мать, хвалясь соседкам.— Я много раз проверяла это.

Тетушка Ача не обратила на эти слова никакого внимания. Черными пальцами она развязала узелок и достала из него пригоршню камешков. Они были похожи на те маленькие камешки, которыми соседские девочки пользовались в своих играх. Только у цыганки они были разноцветные: белые, черные, серые... Разделив камешки на кучки, она закрыла глаза и начала что-то бормотать. Ее сомкнутые ресницы дрожали, и при этом казалось, что темная родинка на ее лице тоже вздрагивала. Теперь к моему страху добавился какой-то интерес, и я глядел на нее разинув рот. Все мы окаменели, словно в ожидании чуда. Словно сейчас должно произойти что-то необыкновенное.

— Жив твой брат!— внезапно проговорила цыганка. Тыльной стороной ладони она дотронулась до камешков, и они рассыпались в разные стороны. Белый камешек подкатился прямо к ногам матери.

— Вернется он!— сказала тетушка Ача, пристально глядя в глаза матери.— Он уже в пути-и!

— Да паду я жертвой ваших прекрасных слов, тетушка.— Мать вскочила с места и кинулась в дом. В нашем хозяйстве была одна блестящая ложка. Мать хвасталась, будто она серебряная.— Вот возьмите пока это. Вернется брат живым-здоровым, я вас с головы до ног одену.

Она протянула ложку тетушке Аче. Я ожидал, что цыганка поспешно спрячет ложку в хурджун. Но та не спешила. Отложила ее в сторону и обратила свой взгляд к Хаджи-буви.

— А я своего сыночка увижу ли?— спросила Хаджи-буви дрожащим голосом.— Увидеть бы мне только единственного, а потом можно и помереть, нет у меня другого желания.

На этот раз цыганка долго рылась в кармане безрукавки. Затем извлекла оттуда шестигранный камешек величиной с орех.

— Это мухра — таинственный камень,— прошептала мама.

А цыганка, будто не слышит ничего, долго вертит камешек в руке. Смуглая рука ее еле заметно вздрагивает, а глаза уставились не мигая на камешек, испещренный

множеством каких-то линий. При этом цыганка шепчет что-то беспрестанно.

— Сыну твоему путь загорожен!— сказала она наконец.

В глазах Хаджи-буви, в вечно грустных ее глазах словно вспыхнул огонек.

— Да жив ли он?— она с мольбой потянулась к цыганке.— Три года уж не знаю, жив или нет. Жив он?

— Жив! Жив твой сын. Жди. Только долго будешь ждать.

Все это время Хайри-апа, сидевшая затаив дыхание, видимо, больше не в силах терпеть, воскликнула:

— А мой Аскар-ака? Когда вернется Аскар-ака? Милая тетушка, скажите! Что стало с Аскар-ака? Получила одно письмо из госпиталя, и больше нет вестей. Умоляю, скажите...

Цыганка и на нее поглядела испытующим взглядом и, все так же неторопливо порывшись в хурджуне, вынула небольшое зеркальце.

— Держи!— сказала она, протягивая зеркальце Хайри-апа.— Гляди в него!

Хайри-апа застыла на коленях, пристально вглядываясь в зеркальце. А цыганка вынула еще одно зеркальце.

— Сколько лет?— спросила она твердо.

— Аскар-ака?— Хайри-апа внезапно вздрогнула, словно пробудившись ото сна, и взглянула на цыганку.— Двадцать два. Если... Если...— Она хотела что-то сказать, но запнулась.— Двадцать два,— повторила она поспешно.— Двадцать два исполнилось.— Она на минутку умолкла и тихо добавила:— Ушел на фронт, когда не прошло и сорока дней после нашей свадьбы...

Цыганка, покачивая головой, уставилась в зеркальце, которое держала в руке, и опять забормотала что-то. Хайри-апа напряженно смотрела в зеркальце, будто сейчас откроется какая-то истина. Наконец цыганка подлом плаття вытерла зеркальце и снова спрятала его.

— Что?— прошептала Хайри-апа.— Что? Аскар-ака мой...

— Жив...— Тетушка Ача, не глядя на нее, взяла у нее из рук зеркальце.— Показался он в зеркале. Болен он.

— Когда, когда я увижу его?— Хайри-апа схватила тетушку Ачу за руку.— Когда он вернется?

Тетушка Ача задумалась:

— Дорогу я видела в зеркале, дорогу! Вернется муж

твой. Когда наступит полнолуние, не спи, гляди в небо. И увидишь его тогда!

— Дай вам бог долгой жизни, тетушка!— проникновенно сказала Хайри-апа.— Спасибо за добрые слова! Вернется муж, вот этот браслет будет вашим.— И, словно ей не верят, сняла с руки золотой браслет и показала его.— Аскар-ака мне другой подарит.

В тот день в доме у нас был праздник. Четыре женщины пили яблочный чай. Мама торжественно положила на стол кукурузную лепешку, которую испекла утром, Хайри-апа — толокно, а Хаджи-буви — сушеные плоды тутовника. А цыганка была гостьей.

В тот день я узнал тайну. Через неделю наступит полнолуние. Три соседки будут пристально глядеть в небо, чтобы проверить предсказание тетушки Ачи.

...В долгожданную ночь Хаджи-буви с Хайри-апа пришли к нам, когда еще даже не стемнело. Они долго сидели, говоря о том о сем. Затем уложили маленьких детей спать. Старшие сами уснули. А я лежал под деревом на супе с открытыми глазами и ждал чего-то.

Наконец три женщины пошли к миндаю и сели в ряд. Стрекотали кузнечики, а в чистом небе плыла круглая, белая, как молоко, луна, обливая землю ласковым светом. Женщины застыли на месте, уставились на луну, каждая из них желала увидеть на луне того, кого ждала. Прошло много времени. По-прежнему стрекотали кузнечики, где-то трещала ящерица, в углу двора, в загоне, время от времени блеяли козы, и только луна, волшебная луна сияла молча. А три женщины застыли безмолвно, они глядели на луну не отрываясь и казались в ночи статуями. Постепенно мне все это наскучило. Я хотел было приподнять голову, но боялся, чтобы не увидела мама. Глаза у меня начали слипаться, как вдруг я вздрогнул от взволнованного крика.

— Вон! Вон! Я видела!

Я все-таки поднял голову и увидел, как Хайри-апа в мольбе протягивает руки в сторону луны.

— Вон! Мой Аскар-ака! Мой Аскар-ака!— Хайри-апа, задыхаясь, вскочила с земли.— Вон глядите, у него голова переверзана. Неужели не видите?

В надежде увидеть Аскара-ака с забинтованной головой я быстро перевел взгляд на луну. Луна по-прежнему спокойно висела в небе, и, кроме темных пятен, ничего на ней не было заметно.

— Вай, где, где же?— Мама и Хаджи-буви тоже встали.

— Ой, да вон же! Улыбается.— Хайри-апа бессильно схватила за грудь.— Слава богу, вы живы, оказывается,— внезапно она разрыдалась.— Ой, видела я, так ясно видела...

— А я что говорила?— обрадовалась мать.— Разве я не говорила, что предсказания тетушки Ачи всегда сбываются. Даст бог, вернется твой Аскарджан, и тогда в вашем доме будет такой праздник, что...

Я впервые подумал, как красива Хайри-апа. Она смеялась, смеялась сквозь слезы и все время повторяла только одно:

— Ой, я видела! Я ясно видела!

...Три женщины снова пили чай. Беседовали, повеселевшие, и расхваливали тетушку Ачу.

И действительно, предсказание тетушки Ачи сбылось. Вернее, одно из предсказаний. Когда наступила зима, вернулся мой дядя. Вошел, стуча костылями...

Хаджи-буви, как ей и было велено цыганкой, ждала сына. Лет двадцать. Пережила она много полнолунных ночей. А потом... ее хоронила вся махалля. И Аскар-ака, которого так ясно видела Хайри-апа в ту полнолунную ночь, тоже не вернулся... Но почему-то никто не обвинял тетушку Ачу. И тетушка Ача не держала обиды на мать, за то, что она не смогла одеть ее с ног до головы, когда вернулся мой дядя. Иногда она заходила к нам со своим выдавшим виды хурджуном, и мать неизменно приветливо встречала ее. Ибо наша мать не могла жить без людей. В доме у нас всегда бывало полно народу. И кто бы ни приходил к нам, сердце ее всегда предсказывало для них только хорошее.

Но однажды онахватила через край. Один из моих бывших однокашников стал прорабом и вел себя в махалле словно бойвачча¹. Не знаю, какой бес его попутал, но изменился он за короткое время неузнаваемо. Построил себе не один дом. И угодил в тюрьму. Однажды возвращаюсь я с работы, гляжу, сидит его мать и плачется моей.

— Оклеветали моего Тухтабая, милая. Как же мне вынести это? У меня давление. Ежели помру в один прекрасный день, и похоронить некому.

— Ой, не говорите так, милая,— тихо утешала ее мать.— Говорят ведь: и хорошие желания и плохие доходят до всевышнего. Все позабудется, вот увидите.— Вне-

¹ Байвачча — богач.

запно она понизила голос до шепота:— Сердцем чую. Вернется ваш Тухтабай. Славный он у вас. Вот вспомните меня. Не сегодня завтра вернется.

— Спасибо вам, сестра! Да сбудутся ваши слова!— Мать Тухтабая всхлипнула и прочитала краткую молитву.— О боже! Да сбудутся ваши слова!

Хоть я и терпел безропотно все «предсказания» матери, но этого стерпеть не смог. Вечером, когда я вернулся с работы и разговор зашел о госте, я побранил мать.

— Кривить душой вы, вероятно, научились у тетушки Ачи,— сказал я полушутя-полусерьезно.— Жалеете проходимца, который присвоил общественное добро.

Мать внимательно посмотрела мне в глаза.

— Почему ты такой жестокий?— спросила она, помолчав какое-то время.

— При чем тут жестокость?— не унимался я.— Получил по заслугам. Впредь будет знать, что можно, а что нельзя.

— Конечно, вы ученые, все вы знаете...— Мама опять смолкла, затем, словно говоря сама с собой, добавила:— А в чем мать-то виновата? Ведь у нее давление, а ежели завтра что случится с ней, ты будешь рад? Она же мать...

В комнате повисло тягостное молчание. И я почему-то вспомнил Ачу-хола, ту лунную ночь и тот яблочный чай...

С О В Е С Т Ь

На первом этаже нашего дома живет старуха, которую все зовут тетей Клавой. Никто не зовет ее по отчеству, все «тетя Клава» да «тетя Клава». Жизнь у тети Клавы сложилась неудачно. Еще в молодости осталась вдовой. Проработала на заводе тридцать лет. Всю свою жизнь посвятила единственному сыну. Но сын оказался неблагодарным. Сразу после женитьбы переехал к жене. После этого характер у тети Клавы изменился: она стала раздражительной, злой. Целыми днями сидела на скамейке у подъезда и бранилась со всеми:

— Эй, пьяница, чем с утра пить всякую гадость, лучше принес бы детям пару пакетов молока!

— Эй, франт, не ставь машину у подъезда, здесь тебе не гараж.

Иногда моя младшенькая приходила и жаловалась:

— Тетя Клава обозвала меня дурочкой.

— За что?

— За то, что я ношусь на самокате.

— Ну и правильно, не носись...

В один из дней мы не услышали привычного голоса тети Клавы. Выяснилось, что она в больнице. Весь дом заскучал. Через две недели ко мне постучался сосед тети Клавы.

— Одолжите сто рублей,— попросил он.— Тете Клаве срочно понадобились триста рублей. Соседи уже собрали двести.

— А зачем ей такие деньги?

— Точно не знаю,— пожал плечами сосед.— Но она очень просила.

Я дал сто рублей. Через месяц тетя Клава выписалась из больницы. Сидит на скамейке у подъезда нахохлившись. Лицо бледное, изможденное. И ругаться с кем-нибудь, видно, нет сил.

— Ого, да вы помолодели!— сказал я, чтобы как-то поднять ей настроение.

Тетя Клава, кряхтя, поднялась со скамейки.

— Спасибо, сынок,— сказала она, почему-то поклонившись мне.— Ты очень выручил меня. Не беспокойся, деньги тебе я верну. С пенсии. Соберу и верну.

Мне показалось странным, что такая задиристая тетя Клава вдруг поклонилась мне.

— Ну зачем вы так? Я же не говорил о деньгах. Как ваше здоровье?

— Операция прошла благополучно,— печально улыбнулась тетя Клава.— Для этого и нужны были деньги.

Я удивился:

— Как это?

— Да так вот. Отдала их врачу.

Я невольно сел рядом с ней.

— Кому, вы сказали?!

— Врачу!— Тетя Клава, словно осуждая мою наивность, тихо покачала головой.— А пожалей я триста рублей, еще неизвестно, чем бы все кончилось и сидела ли бы я здесь, на этой вот скамеечке.

У меня волосы на голове встали дыбом.

— Неужели такое возможно? Кто этот врач? Как его фамилия?

— Э, сынок, да что фамилия?— Тетя Клава махнула рукой.— Что изменится от того, что я назову его фамилию?

Я совсем растерялся.

— Что, действительно врач потребовал денег?

— Ой, сынок, сынок!— Тетя Клава осуждающе покачала головой.— Ничего не требовал, не просил, все время переносил операцию: со вторника на пятницу, с пятницы на вторник. За человека не считал. Наконец соседи по палате надоумили. Сказали, дашь триста рублей, сразу положат на операционный стол. Дала я ему эти проклятые деньги, так он сразу изменился, стал хорошо ко мне относиться.— Тетя Клава печально улыбнулась.— А что мне было делать? Боли страшные, а жить-то хочется.

Да, разные подлецы есть на белом свете. Но чтобы брать взятки с больного...

И снова нахлынули на меня воспоминания детства. Вспомнил я доктора, которого все почему-то звали Ачинска.

Он всегда ходил в чистом накрахмаленном халате. Белые редкие волосы как-то особенно шли его светлому лицу. Лишь много позже я узнал, что настоящая его фамилия — Ачинский. Когда я увидел его в первый раз, то изрядно перепугался. Осенью у меня на плече появился нарыв. Мать сунула в раскаленный уголь головку лука, а затем приложила его к ранке. Из ранки вытек гной, а вскоре рядом с ней появились два новых нарыва, и теперь уже не помогали ни лук, ни дрожжи. В конце концов отец сказал матери: «Надо скорее свести его к Ачинска». Назавтра мать повела меня в лечебницу. Братья охотно пугали меня, что Ачинска делает уколы толстой иглой. Мы вошли в крохотную комнатушку, в нос ударил резкий запах лекарств, и я захныкал. На скамейке в комнатке сидели больные: кто-то надсадно кашлял, кто-то концом платка вытирал слезящиеся глаза. Каждый, как мог, утешал меня, а я плакал все сильнее и сильнее. В это время из внутренней комнаты, дверь которой скрывали портьеры, вышел человек в белом халате, с белой куцей бородкой, в пенсне.

— Кто плачет?— спросил он по-узбекски с едва заметным акцентом.

Я понял, что это и есть Ачинска, испугался еще больше, прижался к матери, ища у нее защиты. Мужчина со слезящимися глазами встал было с места, но врач движением руки усадил его обратно.

— Пропустите мальчика,— сказал он и улыбнулся. И за стеклами пенсне в его голубых глазах засветилась ласковая улыбка.— Ай-яй-яй,— говорил он, качая голо-

вой.— Мужчина не должен плакать.— И опять улыбнулся:— Ты ведь уже мужчина.

Он взял меня за руку, и я невольно пошел за ним. В комнате врача окна были занавешаны чистыми занавесками. Мать сняла с меня рубашку. У меня все поджилки тряслись, я страшно боялся укола. Однако укола не последовало. Врач осторожно пощупал пальцами нарывы, затем намазал их какой-то коричневой вонючей мазью.

— Если это не поможет, придется делать переливание, — объяснил он матери.

Когда мы уходили, он опять улыбнулся мне.

...Зимой этот человек снова оказал нам добрую услугу. Помнится, зима в том году была суровой, с сильными холодами. Или так мне казалось из-за отсутствия дров и угля. Во всяком случае, белым налетом изморози покрывались не только стекла окон, но и двери, и стены, и все мы спали в пальто и шапках. Совать ноги под сандал было бесполезно, углей в ямке почти не осталось. Ватное одеяло, которым накрывают сандал, промерзло настолько, что, казалось, жалило, точно скорпион. Изпод сандала несло не жаром, а холодом. Однажды мой младший брат пришел с улицы промерзшим, что называется, до самых костей. Он катался по льду и провалился в прорубь. Его едва спасли. Покамест он бежал домой, одежда на нем застыла. Мать сразу закутала его в большое ватное одеяло. Наполнила горячим настоем алычи и сушеного урюка. Но к вечеру у брата поднялась температура, он беспрестанно кашлял. Ночью он стал бредить, меня разбудили его вскрики. Он метался в постели, бессвязно бормотал что-то, кричал: «Потушите огонь, сгорим, потушите огонь».

Наутро отец наточил пилу и вместе со старшим моим братом вышел во двор. Я тоже надел свои сапоги с полусгнившими подошвами и последовал за ними. Отец и брат по скрипящему под ногами снегу, которого навалило мне по пояс, направились в огород. Они подошли к полусасохшему карагачу, который рос возле самого забора, постелили на снег пустые мешки, сели на корточки и принялись пилить карагач. С веток дерева грузно падал снег. Кора карагача оказалась мерзлой, пила не брала ее. Даже не царапала. Отец злился. Наконец пила миллиметр за миллиметром стала вгрызаться в твердую древесину. Но вскоре работа опять застопорилась. Брат быстро устал и тянул пилу, подаваясь всем телом то вперед, то назад. А пила при каждом рывке выгибалась

дугой и нудно гудела. Отец без конца сплевывал в сторону и ругался на брата.

— Да не дергай ты пилой. Не дергай!

Бедный брат весь взмок. Сам в поту, а руки у него стыннут. Время от времени он дышит на руки, пытаюсь согреть их, шмыгает носом... Наконец карагач гулко упал на землю. Круглая густая крона дерева ударилась об землю, поднялась снежная пыль. Теперь и мне нашлась работенка. Я обрубал мелкие ветки. Когда работа закипела, случилось непредвиденное. Две лошади, одна белая, другая каурая, возникли прямо перед нами, из ноздрей у них вылетали облака пара, они трясли головами, и при этом позвякивали уздечки. Откуда-то вылетела моя собачка и, видимо пытаюсь заглазить свою вину — ведь не дала знать о приближении незнакомых всадников, — стала лаять на них, проваливаясь в снег и снова появляясь. Лошади фыркали, недовольно косились на собаку и отмахивались от нее, как от мухи, хвостами.

Я сразу узнал всадника в кожаном пальто и на каурой лошади. Это был Далавай. Все его знали, и все его боялись. Он еще не стал сборщиком налогов, но люди поговаривали, что он работает на «серьезной работе». Всадник на белой лошади был одет в добротный полушубок, на голове у него красовался лисий трех, брови его были грозно нахмурены.

— Хорошенькое дельце вы тут затеяли, — сказал Далавай, не слезая с лошади.

Почему-то отец сильно побледнел. Пила выскользнула из его рук и зарылась в снег.

— Добро пожаловать, гости дорогие, — сказал он растерянно.

Затем почтительно, двумя руками поздоровался сначала с Далаваем, а потом с человеком в полушубке. Оба, не слезая с коней, нехотя подали ему руки.

— Прошу в дом, — сказал отец, приложив руку к груди. — Испейте чаю.

Далавай покрутил концы тонких рыжих усиков, посмотрел внимательно на отца и обернулся к гостю.

— Что будем делать, товарищ Ташев? Это же настоящее преступление!

Отец совсем растерялся.

— Что за преступление я совершил? — обратился он к Далаваю. — Если я виноват в чем-то, прошу покорно извинить.

— Брось дурачком прикидываться!— сказал Далавай, сплюнув сквозь зубы.— А разрешение у тебя есть?— В его голосе зазвенел металл.

— На что?— Отец, словно нища поддержки, обратился к гостю.— На что я должен иметь разрешение, товарищ Ташев?

— На рубку дерева!— Далавай ловко спрыгнул с лошади.— Где бумага?

— Какая бумага?— Отец непонимающе глядел то на Далавая, то на человека в полушубке.— Ведь... Ведь это дерево растет в моем саду. Его еще мой дед сажал. Оно засохло, вот посмотрите.— В подтверждение своих слов он пнул ногой, обутой в ичиги и в галоши, по толстому суку, который с треском сломался.— Видите, дерево засохшее. Я хотел спилить его осенью, но не было времени.— Затем он повернулся к старшему сыну, который продолжал от холода шмыгать носом, и прикрикнул на него:— Ну, чего стоишь разинув рот? Иди скажи матери, что приехали дорогие гости, пусть накрывает на стол.

Мы с братом изо всех сил припустили к дому, утопая по колено в снегу и обгоняя друг друга. Собака тоже побежала за нами, поминутно проваливаясь в снег. Мать, печальная, осунувшаяся, все еще сидела, сгорбившись, у постели брата.

— Мама, Далавай приехал!— возбужденно крикнул с порога брат.

Мать испуганно вскочила на ноги.

— Ой, беда! С утра у меня дергалось правое веко. Значит, к этой напасти!

Она торопливо вынесла из худжры сушеный урюк, жидю, две кукурузные лепешки. Покрыла стол скатертью. Через мгновение вошел бледный отец, за ним Далавай и человек в дубленке. Мать пошла навстречу Далаваю.

— Входите, милейший, входите! Как ваше здоровье, здоровье вашей жены?— заговорила она дрожащим голосом.— Нет, нет! Не снимайте валенки, дома холодно.

Далавай сделал вид, что отряхивает снег с валенок, затем прямо в валенках прошел по кошке к сандалу.

— Сейчас закипит чай, гости дорогие!— Мать направилась было к двери, но Далавай остановил ее:

— Не утруждайте себя, сейчас мы уйдем.— Затем обратился к брату:— Есть у тебя ручка, чернила?

Брат достал из ниши в стене чернильницу и ручку.

— Что вы собираетесь делать?— спросила мертвенно побледневшая мать.

— В бирюльки играть!— сказал Далавай, садясь на ватное одеяло прямо в мокрых от снега валенках.— Вы же видите, что я собираюсь делать!

Он глянул на гостя в дубленке, который курил у порога папиросу и с брезгливым выражением лица осматривал комнату.

— Прикажете писать самому?

Гость кивнул, словно говоря: «Валяй».

Далавай вынул из внутреннего кармана кожаного пальто бумагу, затем обмакнул перо в чернильницу. В чернильнице что-то скрипнуло. Далавай зло потыкал ручкой в чернильнице, но вместо чернил за перо зацепился кусок льдинки.

— Какой ты, к черту, ученик?— сказал Далавай и нахмурил рыжие брови.— У тебя же чернила замерзли.

Мать вдруг заплакала.

— Что же нам делать, голубчик,— сказала она умоляюще.— Видите, какой лютый в комнате холод? А вот этот,— она кивнула на больного брата,— уже третий день то умирает, то воскресает.

Далавай снова обмакнул ручку в чернильницу, но мать вцепилась в его руку.

— Не пишите, голубчик, не пишите, пожалейте нас.

Далавай брезгливо поморщился и отдернул руку. Серые глаза его недобро сощурились.

— Уберите руки!— сказал он злобно.

— Ах, ты...

Услышав угрожающий голос отца, я повернулся к нему и испуганно замер. На лице его не было и следа того недавнего униженного выражения, глаза сверкали гневом.

— Ты, франт!— сказал он, и снова в его голосе были угрожающие нотки.— А ну-ка встань! Будь ты трижды богом, но, входя в комнату, снимай обувь.— Одним прыжком он оказался рядом с Далаваем.— Снимай, говорю.

Далавай невольно вскочил на ноги, быстро-быстро заговорил, повернувшись к ошарашенному гостю.

— Вы слышали, товарищ Ташев? Будете свидетелем! Он оскорбил меня при исполнении служебных обязанностей. В акт надо записать и это.

— Не твоя тетка сажала это дерево!— У отца дрожали усы. Когда он сильно сердился, у него обычно

дрожали, подергиваясь, усы.— А ну-ка убирайся отсюда, да поскорей.

— А то что?— спросил Далавай, сверкая серыми глазами, затем зашипел, как разъяренный гусь:— Только тронь! Сгною в тюрьме весь твой род!

— Вон отсюда!— Все тело отца сотрясала дрожь.

— Вы слышали, товарищ Ташев? Запомните и эти слова!— Далавай пятился к двери, не переставая обращаться к гостю.— И это запишем, все запишем!

Мать, жалобно причитая, повисла на плече Далавая:

— Простите его, ради бога. Пусть еще выше будут ваши чины и положение.

Далавай резким движением сбросил ее руки со своего плеча. Мать кинулась к человеку в полушубке.

— Товарищ начальник, не принимайте близко к сердцу, не обижайтесь на мужа, у него случайно вырвались эти слова.

— Не унижайся!— закричал отец, и от его голоса задребезжали замерзшие стекла окон.

Брат, что лежал в беспамятстве, вздрогнул, открыл глаза и стал озираться вокруг.

— Воды,— попросил он хриплым голосом.

Снаружи послышался глухой топот копыт. В доме стало тихо. Отец все еще стоял посередине комнаты и тяжело дышал, усы у него дергались, мать бессильно опустилась у порога, старший брат, стоя у окна, наблюдал, что происходит снаружи. Заскрипела люлька, захныкал младший братишка. Но мать не поспешила, как обычно, к нему, осталась на месте.

— Плохи дела,— произнесла она тихо.

Отец постоял, постоял, затем молча вышел из дому. Через некоторое время с огорода послышался стук топора.

Древесина карагача горела долго и давала такой же жар, что и урючина. Под сандалом стало тепло, мы ожили, лица наши раскраснелись. Только отец ходил мрачный, насупленный. Я целый день был взвинченный. А мать неотлучно сидела у все еще температурающего брата, тяжело вздыхала и время от времени шептала: «Господи, пронеси!» Ужин готовила сестра. Вечером состояние брата ухудшилось. Теперь он не бредил, только часто-часто дышал, словно задыхаясь, временами испуганно вздрагивал. Мать беззвучно плакала, жалобно поглядывала на отца. В конце концов отец надел свой ветхий ватный халат-чапан, нахлобучил на голову шап-

ку. Мать вопросительно посмотрела на него, он коротко бросил:

— К Ачинска!

— Не придет.— Мать безнадежно покачала головой.— Кому охота в полночь тащиться по такой погоде.

Отец хлопнул дверью и ушел. В доме воцарилась тревожная тишина. Было слышно лишь тиканье ходиков и частое прерывистое дыханье больного брата. В стекла ударялись крупные сухие снежинки. Из щелей несло холодом. Разомлев от тепла, я незаметно уснул. Проснулся от лая собаки и услышал голос отца, отгоняющего прочь собаку. Кто-то топтался, отряхивался в сених. Через некоторое время в комнату вошел отец, изо рта у него вырывались клубы пара. Вслед за ним вошел Ачинска. Он был одет в длинную шинель, уши обмотаны шарфом. Хотя он был не в белом своем халате, я сразу узнал его по пенсне. Усы отца, брови доктора побелели от инея.

Мать вскочила с места и поздоровалась. Ачинска сбросил шинель прямо у порога. Затем размотал шарф, и его седые редкие волосы упали на лоб.

— Как в Сибири!— сказал он, почему-то улыбаясь.

Он присел возле сандала и, отвернув край одеяла, сунул руки под столик, чтобы согреть их.

Только теперь я увидел в руках у отца небольшой баул.

Согрев руки, Ачинска стал протирать стекла пенсне.

— Исстик сув бар?— спросил он, обращаясь к матери.— Горячая вода имеется?

Мать побежала подкинуть жару в самовар. Доктор снял рубашку с брата и стал выслушивать его. Недовольно покачал головой, лицо его напряглось. Вынув из чемодана блестящую металлическую коробку, достал оттуда шприц, набрал в него лекарство. Я ожидал, что сейчас брат закричит от испуга, но, даже когда доктор, припустив его штаны, сделал укол, брат не закричал, только заворочался, и все. Наверно, он даже не почувствовал боли.

— Ничего,— сказал Ачинска, утешая отца и мать.— Якши бола. Поправится.

И действительно, через некоторое время брат открыл глаза. Но когда врач сделал ему второй укол, он так разревелся, что невозможно было его остановить.

— Все, все,— сказал Ачинска, улыбаясь.— Угил бала йигламайди.— Мужчины не плачут.

Затем они вместе с отцом сидели за сандалом и пили чай. Говорили о том, что война закончилась, теперь хлеба будет больше, жизнь станет лучше, и так далее, и так далее. Ужасно хотелось спать, глаза мои слипались, но я мужественно держался, мне важно было узнать, что еще собирается делать врач с моим братом. Отец в разговоре как бы между прочим упомянул и о сегодняшнем неприятном для нас происшествии. Ачинска нахмурил брови, задумался. Голубые глаза его стали серьезными. Но в конце концов он небрежно махнул рукой:

— Чепуха! Ничего он не сделает.

Наконец он заставил брата выпить какой-то порошок, обернутый в желтую бумажку, затем оставил впрок еще несколько таких пакетиков и засобирался домой. Отец сделал знак матери, та забежала в худжру и вскоре вышла оттуда, держа в руке небольшой мешочек.

— Не обессудьте, доктор,— сказал отец, протягивая мешочек Ачинску.— Денег у нас нет.

Ачинска как надел один рукав шинели, так и застыл на месте.

— Что это?— спросил он, кивая на мешочек.

— Сушеный урюк,— смутился отец и улыбнулся виновато.— Сахарный сорт. Хорошо просушен. Я сушил его на циновках. Ни один не упал на землю.

Ачинска отстранил руку отца с мешочком.

— Болага компот килинг. Иситма тушади. Якши булади.— Приготовьте компот мальчугану. Это собьет температуру. Выздоровеет.

Теперь по-настоящему взмолился отец:

— Не отказывайтесь, доктор. Я сам сушил. Тряс спелые плоды на простыню и потом сушил.

В разговор вмешалась мать:

— Доктор, отнесите жене, в подарок...

Ачинска отрицательно покачал головой.

— Болага компот килинг.— Сказав так, он обул сапоги и вышел из комнаты.

Отец поспешно вышел вслед за ним.

— Дай вам бог счастья,— проговорила мать, высываясь за дверь.— Дай вам бог насладиться счастьем ваших детей.

Опять в комнате воцарилась тишина. Но это была уже не прежняя, раздирающая душу тишина.

Назавтра я проснулся поздно. Старший брат уже ушел в школу, а младший лежал у сандала, опираясь на подушку, и пил чай с молоком, отец и мать, сидя за

стареньким самоваром, с носика которого капала вода, вели неторопливый разговор. Снег прекратился, видно, взошло яркое солнце, так как в комнате было светлым-светло. Только я собрался обмакнуть кусок кукурузной лепешки в чай с молоком, как на пороге появился Далавай. На нем, как и вчера, было кожаное пальто и на ногах валенки.

Отец и мать испуганно вздрогнули. В голове у меня мгновенно пронеслось: сейчас будет скандал. Но скандала не произошло. Далавай, стоя в дверях, даже улыбался.

— Ассалам алейкум!— сказал он громко.

Тогда-то я и понял, что не очень и страшен этот Далавай. К лицу отца прилила кровь, и он медленно поднялся с места.

— Проходите, проходите,— сказал он, здороваясь за руку с Далаваем.

Мать быстро выставила на скатерть джиду, орехи.

Далавай на этот раз снял у порога валенки.

Так как у нас не было новых курпачей, мать перестелила старую в почетном углу сандала и пригласила туда нежданного гостя. Далавай крутил в руках, остужая чай, пиалу и, прихлебывая, подмигнул мне.

— Как дела, герой?!

Я смутился и опустил глаза. И тут мне показалось, что от него исходит душный запах гнили.

— Ну и скандальный же вы человек, брат!— обратился Далавай к отцу и громко рассмеялся.— Мало того, что наломали дров, так еще и человека зря обрутали.

Отец пожал плечами.

— Когда приходит гнев, уходит ум, мил человек...

— Большое же дерево вы повалили!— опять рассмеялся Далавай.— Раз задумали такое дело, надо было со мной словечком перекинуться, мол, так и так. Ведь существуют определенные порядки, закон...

Отец, смутившись, начал сворачивать в трубку край скатерти.

— Знаешь, мил человек, мы не больно грамотны, да и дети намерзлись.

— То-то и оно, брат!— В серых глазах Далавая с покрасневшими веками появилась вроде бы дружеская улыбка. Он фамильярно хлопнул отца по плечу:— Вот и надо было посоветоваться со мной, все было бы как положено.

В разговор вмешалась мать, которая до сих пор молча разливала чай.

— Вы уж простите его, уважаемый.

Далавай не обратил внимания на ее слова.

Он пристально глядел на отца, лицо его стало вдруг строгим.

— Ладно, бывает. Земляки в конце концов, живем рядом. Как-нибудь договоримся. Удар коня может принять только конь. Так, кажется, говорят в народе?

— Спасибо, дорогой,— сказал отец, опустив голову.— Пусть ублажит вас бог за милосердие к нам.

— Я-то ничего против вас не имею,— понизил голос Далавай.— Но ведь этот скандал произошел в присутствии Ташева, а он занимает крупный пост. И он сказал: «Я не оставлю это дело, пока не засажу его в тюрьму. Он оскорбил нас обоих».

Выражение лица матери мгновенно изменилось.

А отец сидел с таким видом, словно махнул на все рукой.

— Я все объяснил товарищу Ташеву,— еще больше понизил голос Далавай, переходя совсем на шепот.— Это наш человек,— сказал я ему,— надо его простить. Но он пока не соглашается. Согласится, куда денется. Я пообещал, что принесу ему «сухих»¹.

Лицо матери прояснилось. Она проворно вскочила на ноги и забежала в худжру. Далавай посмотрел ей вслед. Отец все так же теребил край скатерти, пальцы его едва заметно дрожали. В тот же миг мать вынесла тот самый мешочек, который нынешней ночью отказался взять Ачинска.

— Вот, уважаемый,— сказала мать, ставя мешочек с сушеным урюком перед Далаваем.— Сухой-пресухой. Сахарный сорт. Для себя сушили. Отец постарался.

Далавай недоуменно смотрел то на мать, то на мешочек, затем громко расхохотался. Из его серых глаз полились слезы. Он смеялся, ударял кулаком по столу, тело его сотрясалось от смеха, желтое лицо стало краснее свеклы. Мать, удивленно приоткрыв рот, смотрела то на отца, то на Далаваю, рука ее судорожно комкала ворот платья.

— Ой, ой, ну и проказница, сноха, ну и рассмешила!— говорил Далавай, задыхаясь от смеха.— Ну и простушка же ты! Я сказал «сухих», так она вынесла суше-

¹ То есть денег.

ный урюк. Вы только поглядите! Поглядите! Я сказал «сухих»... «Сухих»...

Он взглянул на отца и осекся. Отец весь напряжился, от гнева по его лицу пошли красные пятна.

— Значит, тебе сухого?— сказал он хрипло.

Далавай перестал смеяться.

— Не мне, а товарищу Ташеву,— сказал он, нахмурив рыжие брови.— Мне вас жалко, брат, детей у вас целый подол.

— Значит, вам нужно сухого!— сказал отец скрипучим голосом, в котором явственно прорывалось возмущение.— А может быть, вам пригодится и это?— Он показал на низ живота. Если отец бывал на кого-нибудь очень рассержен, он пускал в ход слово «подлец», в крайнем случае обрушивал на голову того страшные проклятья, но чтобы он выразил свое негодование таким вот образом, я видел впервые. И мать, и большой брат, опирающийся спиной о подушку, и я испуганно замерли.

— Ах, вот ты как заговорил!— Серые глаза Далавая вспыхнули недобрым огнем.— Ну, пеняй на себя!— Сказав это, он вскочил с места. И отец вскочил. Мать с криком бросилась отцу наперерез.

Далавай решительно сунул руку во внутренний карман кожаного пальто и швырнул на скатерть какую-то бумагу.

— Не явишься послезавтра в указанное место, пришлю милицию! Или сгною тебя в тюрьме, или не носить мне свое имя.

Мать зря боялась. Отец и не подумал бросаться на Далавая. Пока тот натягивал валенки, он стоял как вкопанный посередине комнаты, тяжело дыша, усы его, как всегда в такие минуты, дергались.

Далавай ушел, и наступила тишина.

— Теперь все,— простонала мать.— Теперь он не оставит нас в покое, пока не засадит за решетку.— Она жалобно, умоляюще посмотрела на отца, который все еще стоял посередине комнаты, весь дрожа от гнева.— Родной мой, одумайтесь, успокойтесь, пусть они насытятся нашими слезами и кровью. Давайте продадим шалчу¹, а вырученные деньги отдадим им.

Осенью собирались сыграть свадьбу сестры. В приданое ей отец купил эту шалчу, о которой, как я понял, и говорила мать.

¹ Ш а л ч а — небольшой домотканый палас.

— Почему?— вскричал отец, садясь у края сандала.— Почему?.. Почему я должен давать взятку? Почему? Взятку дает нечестный человек. Взятку берет тоже нечестный человек. Понятно? Взятку бессовестный человек дает бессовестному человеку! Понятно или нет? Почему я должен поступиться своей совестью и дать взятку взяточнику? Почему?

Он, словно потеряв рассудок, при каждом «почему» грохал кулаком по шаткому сандалу. Бумага, которую Далавай швырнул на скатерть, упала, орехи и джнда разлетелись в разные стороны.

— Нет!— сказал отец, задыхаясь.— Не дам я взятку. Пусть лучше засадит за решетку. Пусть привяжет к жерлу пушки и выстрелит.

Младший братишка, который лежал в люльке, видно, испугался криков отца и пронзительно заплакал. Опечаленная мать присела около него, дала ему грудь. Отец долго сидел молча, облокотившись о край сандала и закрыв руками лицо. Руки его все еще дрожали. Наконец он решительно встал, лицо его пылало гневом. Мать испуганно глядела на него.

— Куда? Успокойтесь, возьмите себя в руки.

— Пойду к Ачинску,— тихо сказал отец.— Попрошу составить жалобу. В Москву отправлю.

Он надел свой ветхий стеганый халат и ушел. Вернулся после полудня и принес аккуратно исписанный русским текстом листок.

Как я узнал позже, отец поступил правильно. Его потаскали две-три недели по всяким учреждениям и потом оставили в покое. Только Далавай все-таки отомстил отцу, но случилось это гораздо позднее, когда Далавай стал сборщиком налогов. Но о том, как Ачинска помог ему, отец долго рассказывал людям.

А в мое детское сознание навечно, точно гвоздем, вбито было понятие, что взятка — это подлость, притом самая гнусная. В своей жизни мне приходилось видеть взяточников и взяткодателей разного рода. Берущих взятку за ордер на квартиру и тех, кто давал взятку, чтобы получить квартиру в более благоустроенном районе или доме. Берущих взятку за то, чтобы устроить чье-то ленивое, бездарное чадо в институт, и тех, кто давал взятку, чтобы его полуграмотное дитя училось в институте. Тех, кто брал взятку за то, чтобы достать дефицитный товар, и тех, кто давал взятку, чтобы продать этот же дефицитный товар другим втридорога. Тех,

кто брал взятку, чтобы усадить кого-то в более удобное служебное кресло, и тех, кто давал эту взятку, чтобы, сев в то заветное кресло, в десятикратном размере вернуть то, что было отдано.

Как же прав был мой отец, когда, дрожа от негодования, выносил свой приговор взятке! Когда я мучительно думаю об этом, мне невольно приходит на память та лютая зима, та метельная с пронизывающим ветром ночь, улыбающиеся через пенсне глаза Ачинска и тот мешочек с сушеным урюком, который так и остался лежать на кошме.

Я НАШЕЛ СВОЮ СЕСТРУ

Знаете ли вы, что такое праздник? Если не знаете, я вам расскажу. Праздник — это когда все мы наряжаемся. Это — первое. Конечно, наш отец не может обновить сразу всю нашу одежду, но, как бы там ни было, по одной обновке мы непременно получаем. В этот день мама обязательно готовит плов или, на худой конец, шавлю¹. Это — второе. И наконец, в праздник мама обязательно ведет меня в гости к моему дяде. У дяди есть сын, мне ровесник. Мы полакомимся обаки². А если получится, то и в кино сходим, на «Тарзана». А вы слышали про Тарзана, того самого, который ни львов, ни тигров не боится?

Нам джурабаши рассказывал, он сам видел.

Сегодня мама печет хлеб. Не белый, конечно, а ржаной. Но он тоже очень вкусный. А запах какой! Голова кружится. Специально для меня мама делает кулчу, маленькую круглую лепешку. Лепешка эта выпекается раньше, чем хлеб. Ведь она маленькая. Вот мама надевает ватную рукавицу и встает на перевернутые носилки. Иначе ей не дотянуться до отверстия в тандыре³. И оттуда уже приказывает:

— Снимай тюбетейку!

Я срываю с головы тюбетейку и держу ее наготове. В тот же миг горячая, как угли, румяная лепешка падает в тюбетейку. Я крепко держу в руках тюбетейку, порванную в нескольких местах, и выбегаю на улицу.

— Эй, осторожней, упадешь! — кричит мне вслед мама.

¹ Ш а в л я — рисовая каша с мясом и морковью.

² О б а к и — леденцы домашнего приготовления.

³ Т а н д ы р — печь, в которой пекут лепешки.

Зачем же это мне падать! Вовсе ни к чему. За мной несется моя собачонка. Она знает, что и ей кое-что перепадет. Мы несемся, обгоняя друг дружку, и подбегаем к Ширин-арыку. Я бросаю горячую лепешку в воду, а сам бегу по берегу, обгоняя течение. Мой песик Гурджи тоже несется, путаясь у меня под ногами. Пробежав шагов пятьдесят, я сажусь на травянистом берегу в том месте, где цветут одуванчики, и жду. Ага, вон плывет наш хлеб! Вы когда-нибудь пробовали свежеспеченную лепешку, брошенную в воду? Если нет, обязательно попробуйте! Непременно вспомните меня, такое удовольствие получите!

Одной ногой я стал в воду, поймал лепешку и надкусил. Вкусно-то как! Сверху она холодная как лед, а внутри еще горячая. Одну половинку ем сам, а другую отдаю собачонке. Она съедает и глазами просит еще, при этом жалобно смотрит на мою руку и виляет хвостом. Я ложусь животом на берег и пью чистую-чистую воду. Собачонка моя тоже преклоняет передние лапки и хлопает своим красным язычком по воде.

Когда мы возвращаемся домой, папа стоит под миндалем и торжественно развязывает большой белый узел.

— Это тебе!— говорит отец, глядя на маму, и вынимает из узла сверкающие лакированные кавуши¹. Мама сбрасывает с ног старенькие галоши и примеряет новые. Они ей в самый раз. Она пробует походить в них, кавуши издают скрип.

— Ой, надо же, со скрипом,— улыбается мама, радуясь, как ребенок.— Спасибо, я давно о таких мечтала.

— А где дочка?— Отец с невероятно довольным видом запускает руку в узел.

Старшая сестра, протирая глаза от дыма, выходит из кухни.

— А ну-ка посмотри!— Отец протягивает ей цветастый шелковый платок.

Глаза сестры загораются от радости.

— Спасибо,— благодарит она, смущенная и довольная.

Старшему брату достается полосатая рубашка, другому — вельветовые брюки. Теперь моя очередь! Но нет, отец достает на этот раз подарок самому младшему брату! Матроску!

— А мне?— спрашиваю я, волнуясь.

¹ Кавуши — кожаные галоши национального образца.

— И тебе есть, сынок!— С этими словами отец вытаскивает красную бархатную тюбетейку. Теперь блестят глаза у меня.— Ну-ка примерь,— говорит он и надевает тюбетейку мне на голову.— Э, наградил же тебя бог головой, сынок!

Тюбетейка мне мала.

— Ничего!— говорит папа и сажает тюбетейку на коленную чашечку, затем дергает за один край.

Раздается треск. Я со страхом смотрю на тюбетейку. Нет, целая. Отец снова пробует надеть на мою голову. Хоть и давит немножко, но терпеть можно.

— Ну и голова у тебя, сынок!— снова смеется папа.

Средний брат не без ехидства вставляет:

— Голова-то большая, да ума маловато.

Сестра хлопает его по плечу:

— Когда он вырастет с тебя, будет поумнее, чем ты.

— А себе-то что?— Мама глядит на отца с благодарностью.— Себе-то ничего не купили?

Отец улыбается.

— Потом... Потом и мне купим. Что я, ребенок, что ли...

Старшие братья тут же уносятся на улицу. А как же, надо же показать обновки.

...На следующее утро я проснулся оттого, что кто-то легонько потрепал меня за плечо. Я еще не открыл глаза, как в нос мне ударил запах усьмы. Надо мной склонилась мать и улыбалась. Густые брови ее были черные-пречерные, мама красила только брови. «Брови надо поливать»,— шутила она.

— Тихо,— сказала мама, прижав палец к губам.— Не разбуди младшего. Вставай и быстренько умойся.

Больше ничего не нужно было добавлять. Я сразу понял — мы идем к дяде, а младший брат останется дома. С нами двумя не справиться. Стоит малышу пройти пять шагов, как он начинает проситься на руки, капризничать. А дорога длинная.

Я глянул на братишку — сладко спит, головой упираясь в стенку. Проснется, увидит, что мы ушли, такой ор поднимет. Дома останется сестра.

Я быстренько умылся и выпил чаю.

— Смотри за детьми,— строго сказала мама сестре, которая сидела в углу айвана, выжимала сок усьмы в пиалу и мазала им брови.

— Не беспокойтесь,— сестра вертела головой, гля-

делась в осколок зеркала, который лежал перед ней, и улыбалась,— присмотрю.

Сестра у меня очень добрая. Когда мамы нет, мы все вертимся вокруг нее...

Когда мы вышли к гузару, оживленному бойкому месту на дорогах, перекрестках, я тихо высказал маме свое заветное желание:

— Мама, можно я пойду в кино? На «Тарзана»?

Она, шагая осторожно, чтобы не запыхались ее лакированные со скрипом кавуши, не оборачиваясь, спросила:

— С кем ты пойдешь?

— С Сабиром.

— А мы не к дяде идем!

Я разочарованно остановился. Стало быть, мы идем к папиной сестре. А там у меня друзей нет.

— Мы к тете идем, да?— насупившись, спросил я.

Мама обернулась и посмотрела на меня:

— Нет, к твоей старшей сестре.

— Сестра же дома?— удивился я.

— На Укчи. К твоей самой старшей сестре.

Странно, что еще за самая старшая сестра? У меня есть одна-единственная старшая сестра.

— Пойдем быстрее,— заторопила мать.— Пока прохладно, мы должны дойти до Бешагача.

Я шел за матерью и смутно начинал догадываться кое о чем. Пять-шесть дней назад приходила папина сестра. Она о чем-то шепталась с матерью, и в ушах моих звучали слова «сводная... плачет... Укчи». Значит, мы направляемся на Укчи.

Укчами оказалась тесная улица. По обеим сторонам ее — дома с легкой надстройкой над первым этажом. В нашей махалле уже все вокруг зазеленело, здесь же еще было сыро, по улице текли мутные ручьи. Шли мы долго. То и дело нам попадались кузнечные мастерские. Хоть и был праздник, но некоторые из них работали. На стенах, на вбитых в них гвоздях висели кетмени, теши, грабли. В горнах гудит раздуваемое мехами пламя. Стучат о наковальни молоты. Стоит такой шум, что подойти невозможно. Наконец мы перешли деревянный мосток с перилами, которые угрожающе шатались; под мостом текла черная как смола вода. Мама часто останавливалась. Стучала в дверь то одного дома, то другого.

— Ой, милая, это не дом ли Башорхон? Муж у нее проводник...

Кто отвечает, что ошиблись, мол, другие только плечами пожимают и закрывают двери, а третьи и вовсе ворота не отпирают.

Я так устал, что еле шевелю ногами, силы мои на исходе. Лучше бы я не ходил. Играл бы сейчас дома в «чижика» с Вали и Хаджой.

Стало жарко, захотелось пить. Мама и сама уже пила раза два из колонки, что стояла у обочины. Полбеда, если бы это сделать быстро. А то люди с ведрами стоят за водой в очереди...

Вдруг нам повстречалась женщина в парандже. Мама все тем же просительным голосом спросила:

— Будьте добры, скажите, вы не знаете Башорхон?

Женщина в парандже остановилась. Открыла лицо, и я испугался. Первый раз в жизни видел такое изрытое оспой лицо. И подумал, что эта женщина потому и носит паранджу.

— Какую Башор?— спросила она, вытирая потное рябое лицо платком.

— Да Башоратхон!— Мама поспешно стала разъяснять:— Муж у нее проводник. Когда в Ашхабаде было землетрясение, он оттуда больных на поезде привез.

— А где ее дом, вы не знаете?— Женщина с сожалением покачала головой.— Попробуй так найти. Не одна же на свете Башоратхон.

— Да, конечно. Старшая сестра мне сказала,— снова принялась разъяснять мама,— как пройдешь через мост, так и найдешь.

— Чего на этой улице в достатке, так это мостов, милая,— женщина пожала плечами.

— Удивительно,— сказала мама уже в отчаянии.— В десяток домов стучалась, нигде ее нет.

Мы перешли еще несколько мостов. Шли-шли и вышли наконец к чайхане. По случаю праздника в ней было особенно многолюдно, на деревянных помостах, поджав под себя ноги, сидели мужчины, резали морковь для плова, в подвешенных на деревьях клетках громко пели перепелки, в воздухе стоял запах жареного курдючного сала.

— Пойди, сынок,— попросила меня мама.— Не могу же я подойти к мужчинам. Спроси, где тут живет проводник. Скажи, жену его зовут Башор, ладно?

Я подошел к сури и остановился. Каждый был занят своим делом, на меня даже никто не взглянул. Была в разгаре аския — состязание острословов. То и дело над

чайханой взлетали взрывы смеха. Я постоял молча и вернулся к маме. Она меня не отругала. Мы снова двинулись в путь.

Когда мы поравнялись с молодой женщиной, у которой в ушах звенели большущие серьги, мама решила еще раз попытать счастья:

— Эй, милая...

— Не понимаю,— сказала женщина по-таджикски и, пожав плечами, проследовала дальше.

Наконец мама тоже устала. Присела на большой плоский камень у обочины и развязала узелок. Вынула из него ржаную лепешку, которую испекла вчера. Разломилась пополам, и мы поели. Меня опять начала мучить жажда.

— Воды, мама,— захныкал я.

— Погоди, сынок, потерпи немного,— успокаивала меня мама.— Найдем, сейчас найдем.

Лепешка прибавила нам сил, и мы пошли дальше.

— Ой, что же это такое, мы, кажется, опять вышли к Бешагачу.

Гляжу, и в самом деле — Бешагач! Стало быть, мы сделали круг и опять вернулись туда, откуда начали путь. На прибазарной площади было полно народу. Нарядные девушки, парни... В тени дерева стоял мужчина на костылях. Перед ним — старая табуретка, а на ней корзина с обаки.

Он кричал, зазывая покупателей, во всю глотку, так что на тонкой шее выступали жилы:

— Покупайте обаки, половина сахар, половина мед!
Я тут же забыл о жажде.

— Купите мне обаки,— взмолился я.

Мама с минутку поколебалась, потом взяла меня за руку и повела за собой:

— Пошли.

Я сунул в рот нарезанные в форме бантика конфеты, изготовленные из муки и сахара, и принялся с наслаждением сосать. Конфеты были мягкие, очень сладкие и напоминали жевательную смолку.

— Вы не здешний, амаки?¹— спросила мама у продавца сладостей.

Тот оперся на костыль, вынул из кармана папироску и несколько подозрительно поглядел на маму:

— А что?

— Да вот разыскиваем Башорхон. Муж у нее про-

¹ Амаки — дядя, дядюшка.

водник. Когда в Ашхабаде было землетрясение, он больных оттуда на поезде привез. Они на Укчи живут, перед мостом.

— А номер какой?— спросил продавец, прикуривая папиросу.

— А вот этого я и не спросила,— мама с виноватым видом опустила глаза.

— Ой, ну и странная же вы, сестра!— прямо-таки гаркнул калека.— Помните притчу о Насреддине? Когда у него пропал ишак, он бегал по базару, держа в одной руке верблюжью колючку, а в другой кизяк, и спрашивал, не видел ли кто такого, кто ест вот это, а облегчается этим. Вот и у вас так же получилось.

Стоявшие вокруг зеваки захохотали. Мама покраснела и отвернулась.

— Говорят, язык до Мекки доведет, как-нибудь найдем,— сказала мать обиженно.

И мы опять зашагали по той улице, по обеим сторонам которой текли мутные ручьи. Я с трудом передвигал ноги, но попросить мать передохнуть не решался. Я чувствовал, что слова калеки обидели маму. Мы снова перешли мост с шатающимися перилами.

Мама остановила какую-то женщину с сумкой, шедшую нам навстречу.

— Сестричка, милая, хочу спросить у вас. Похоже, вы здешняя.

У женщины в руках сумка, несмотря на праздник, на ней поношенное шелковое платье. Из этого, наверное, мама и заключила, что она здешняя.

Женщина, видимо, куда-то спешила, она недовольно повела бровями, дескать, «говорите побыстрее».

— Не знаете ли вы случайно Башорхон?— в который раз повторила мама свой вопрос.— Когда в Ашхабаде...

— А зачем она вам?— перебила ее женщина.

Мама пристально посмотрела ей в глаза, и, вероятно, в сердце ее затеплилась надежда, голос ее стал более уверенным.

— Очень нужна. С самого утра ее разыскиваю.

Женщина не сводила с мамы внимательного взгляда.

— Вы... Вы кто ей будете?— голос ее отчего-то задрожал.

— Мать я ей, милая, мать!

Сумка выпала из рук женщины.

— Мапочка!— воскликнула она.— Мапочка! Да вы ли это?— Она бросилась обнимать маму. И в тот же

миг из глаз ее потекли слезы.— Ведь это я... Дочь ваша.. мамочка... Я знала, верила, что вы найдете меня. Верила и не верила.

Она целовала маму и повторяла одно и то же:

— Верила и не верила...— Затем схватила меня, подняла на руки и стала целовать:— Братик мой родной, мой дорогой.

В нос мне ударил запах фиалки. Сильными руками эта незнакомая мне женщина обнимала меня и пристально разглядывала, глаза ее были полны слез. И тут я заметил, что она совсем молодая и чем-то очень похожа на мою сестру, которая осталась дома. Держа меня на одной руке, Башорат-апа наклонилась и подняла с земли сумку.

— Поставь его,— сказала мама, взяв ее за руку.— Он уже не маленький, этой осенью в школу пойдет.

— Как же я отпущу его?— Башорат-апа опять прижала меня к себе.— Как же я отпущу своего братика?! Ведь я с таким трудом нашла его!

Мне стало неловко оттого, что я, считавший себя достаточно взрослым, сижу у кого-то на руках, к тому же мои грязные ботинки пачкали платье.

— Пустите меня!

Но сестра только крепче прижимала меня к своей груди.

— Не пущу. Устал ты, я же вижу.

Сестра Башорат шла быстро, мама едва попевала за ней, и обе, задыхаясь от волнения, говорили наперебой.

— Гляди-ка, а я и не узнала тебя, доченька. И видела-то тебя всего лишь раз... Давно это было, ты была тогда кудрявенькой девчушкой.

— Я тоже сперва не узнала... Гляжу — мамочка, глазам своим не поверила.

Дом сестры и в самом деле был неподалеку от моста. Только мы, оказывается, забыли свернуть на еще одну узенькую улочку. А теперь, пройдя по ней, мы очутились в уютном маленьком дворике. Посреди двора рос тутовник. Ягоды еще не созрели, были белыми, с ветки свисала детская люлька. Только здесь сестра опустила меня на землю.

— А вот и твоя сестричка,— сказала она, указывая на люльку.— Можешь называть ее сестричкой, а можешь племянницей, но лучше сестричкой.

Я заглянул в люльку и увидел маленькую девочку в атласном платице. Я осторожно покачал люльку.

Влажные от слез глаза сестры улыбнулись, и она по гладила меня по голове. Потом крикнула в сторону дома:

— Дадаси! Мама пришла!

Тут же дверь застекленной веранды распахнулась настезь, из нее вышел мужчина в наброшенном на плечи шелковом халате.

— Мама моя пришла!— торжественно объявила Башорат.

Мужчина в шелковом халате тепло поздоровался с мамой. Мама поцеловала его в лоб и повернулась ко мне:

— А ты почему не здороваешься с поччо?¹

Поччо поздоровался со мной за руку, словно со взрослым.

— Звать-то тебя как, богатырь?— спросил он с улыбкой.

Мы вошли в комнату с низким потолком. В красном углу висел чей-то портрет в военной форме, а над окном на гвозде — похожий на ляган черный репродуктор, из которого неслась музыка. Рядом с репродуктором — настенные часы с длинной цепочкой. Верх часов напоминал голову кошки. Маятник раскачивался, и в такт ему глаза кошки поглядывали то в одну, то в другую сторону. Я не видел таких часов даже в отцовской комнате.

Сестра быстро расстелила на полу, покрытом стареньким домотканым паласом, курпачу, поставила хонтахту и накрыла ее скатертью. Положила мне в пиалу кусочек леденца и налила чаю. Наверное, оттого, что я весь день провел на ногах, меня клонило в сон, и я не заметил, как уснул. Через некоторое время сестра разбудила меня, ласково дотронувшись до моего лба.

— Вставай, родной, ты ведь проголодался.

Я открыл глаза и увидел на дастархане блюдо с рисовой кашей, посыпанной сверху зеленым луком. Мама, сестра и поччо сидели и оживленно беседовали. По настоянию сестры я съел несколько ложек каши и опять уснул.

А проснувшись, долго не мог понять, где я, лежал, разглядывая потолок. Горела тусклая лампочка, откуда-то доносилось тиканье часов. После того как увидел «кошку», я понял, что нахожусь у сестры Башорат. Я повернулся на бок, кровать скрипнула, и я увидел, что

¹ Поччо — муж сестры.

рядом со мной уложили спать малышку в атласном платьице. Чтобы не разбудить ее, я старался не шевелиться. Кто-то тяжело вздохнул, потом послышался женский плач.

— Вы избавили меня от позора, мамочка...— Это был голос Башорат.— Подняли в глазах мужа. Вот уже три года, как мы женаты. И все это время я говорю ему, что есть у меня отец, да не могу пойти к нему, что есть у меня мать, да не могу показать ее.— Башорат всхлинула.— При жизни мать все время твердила, чтобы я не показывалась на глаза отцу. А после ее смерти я так и не решилась прийти к вам. Если когда-то мои родители не поладили между собой, так я-то в чем виновата?.. Может, мать моя и обижала отца, но я-то почему должна страдать?

— Успокойся, доченька,— тихо утешала ее мама.— Так уж устроена эта жизнь. Что уносит с собой человек из этого мира? Лишь крохотный клочок земли. Хоть твой отец человек вспыльчивый, но сердце у него доброе. И помни, что ты ему дочь, а он тебе отец. Приходи к нам через несколько дней. И мужа с собой возьми. Только не говори отцу, что я была у тебя. Забудь старые обиды.

— Я хотела прийти...— Башорат запнулась и умолкла,— да подумала, что вы обидитесь...

— Типун тебе на язык,— резко оборвала ее мать.— Я еще в своем уме, чтобы родных людей не разлучать. Тысячу раз благодари бога, что есть у тебя отец, сестренка, братишки, гордись этим, доченька.

Мама с сестрой долго еще изливали друг другу душу. Монотонно тикали часы, возле меня тихонько посапывала во сне моя новая сестренка. Я и не заметил, как уснул снова.

...На следующий день у нас во дворе собрались знахарка нашей махалли Хаджи-буви и соседки матери, Хайри-апа, Келинойи, мать Зеби-хола, веснушчатая тетя и одноглазая Холпош-хола. Не знаю, то ли мама их позвала, то ли по случаю праздника они сбежались, но мать заботливо поила соседок чаем из расписанных цветами пиал и вовсю хвалилась:

— Доченька мне подарила! Правда, красивые пиалы? Ой, милые, какая у меня дочь, оказывается, есть, я-то, простушка, знать не знала. Какой у нее чудесный дом с садом! А сколько в нем ковров! И радио у них есть — большое, как наш сундук. А какая доченька моя проворная! Такой плов подала на стол, мяса в нем было

больше, чем риса. А зять мой! Начальник над всеми проводниками. Весь белый свет объездил, от Ашхабада до Ленинабада. Такой умный, такой воспитанный...

Я недоумевал: где моя мать могла увидеть сад, ведь во дворе стояло одно-единственное тутовое дерево, какие ковры, кроме старенького паласа на полу, углядела она? И плова никакого не было, а только каша... Но все-таки мне захотелось верить тому, что она рассказывала.

— Чего вы так уж расхваливаете ее!— оборвала мать Келинойи.— Она родная дочь вашего мужа, но вам-то она падчерица, такой и останется. Какая вам от нее польза!

— Не говорите так, милая,— мать бросила на нее укоризненный взгляд.— Никто ничего не унесет из этого мира, дорогая. Да, мой муж отец ей, и пусть она не чувствует себя сиротой при живом отце. Разве ж это справедливо? И я не хочу больше слышать от вас такие слова.

Другие женщины одобрительно закивали:

— Верно говорите!

— Нельзя жить только сегодняшним днем.

— Но только...— мать понизила голос,— пусть муж не знает, что я была там. Может обидеться: мол, дочь она мне, а не пришла, а ты ей никто и ходишь сама... Завтра-послезавтра Башорат придет.

Сестра Башорат пришла не завтра и не послезавтра, а через три дня. Отец сидел на корточках в тени миндаля и правил пилу, мать хлопотала на кухне, а я баловался на супе с младшим братом. Моя собачка Гуржи кинулась к воротам. Я сразу узнал Башор. На ней было синее шелковое платье. Войдя в ворота, сестра остановилась, испугавшись собачки. Отец с минутку пристально разглядывал ее, затем, пошатываясь, поднялся с места. Я бросился к сестре под предлогом отогнать собачонку. Сестра сделала несколько шагов навстречу отцу. Глаза ее были полны слез.

— Отец!— вскрикнула она глухо.

Мне показалось, что отец даже покачнулся.

— Ты?— спросил он дрожащим голосом. И тут же повернулся в сторону кухни:— Эй, жена, поди сюда, дочь твоя пришла.

Башорат бросилась обнимать отца.

— Не плачь, доченька, не плачь.— Отец гладил Башор по волосам, глаза его увлажнились. Никогда прежде

не видел я слез в его глазах.— Как хорошо, что ты пришла.

Вышла из кухни мама.

— Здравствуй, моя бегляночка!— сказала она, целуя Башор в щеку.— Здравствуй, моя старшенькая!

Только после этого мать и отец заметили стоявшего неподалеку с дочуркой на руках мужа Башорат. Он улыбался. Отец сердечно поздоровался и с ним. Маленькую сестричку передавали из рук в руки.

В тот день отец собственноручно приготовил плов. Он и поччо даже по стаканчику вина выпили.

...Ни один праздник не запомнился мне так, как этот.

Б А З А Р

Когда есть старшие братья — это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что у тебя есть защита, на улице никто не обидит. Не получаешь двоек по арифметике. Братья помогают. Это тоже хорошо. Но зато всегда ходишь в обносках, носишь то, что остается от старших. Это плохо. Взять, к примеру, сапоги. Покупают сначала самому старшему из братьев. Через год они ему уже малы и переходят, естественно, среднему брату, но и у того ноги растут не по дням, а по часам. Доходит наконец очередь и до меня. Но разве это уже сапоги? Подошва у них стерлась, стала гладкой, как подбородок нашего парикмахера Наима. Но это не так страшно. Кататься в них по льду — одно удовольствие. А в сырую погоду как быть? А в дождь? Да если еще подошвы продырявились? Тогда сапоги вбирают в себя столько воды, что, кажется, вот-вот захлебнутся, подобно верблюду в пустыне, который никак не может утолить жажду, добравшись наконец до источника воды.

А уж самому младшему достаются сапоги и вовсе с отлетевшими подошвами.

С шапкой та же история. Покамест она проделает путь от старшего к младшему, от нее остается одно лишь название. Хорошо моему однокашнику Вали. Нет у него ни старшего, ни младшего брата. Вали всегда в новой одежде. Я понимал, что много нас, детей, в семье, что нелегко приходится нашему отцу, и все-таки завидовал Вали. Иногда, правда, и младшим в нашей семье кое-что перепало, а однажды я чуть было не стал обладателем телогрейки, о которой в то время можно было только мечтать. Расскажу по порядку.

Как-то осенью, в сумерках, когда все уже улеглись спать, родители стали держать совет. Говоря по правде, был у меня один большой недостаток — любил я подслушивать разговоры старших. Но в тот раз я не хотел подслушивать, однако родители говорили слишком громко, чтобы я мог не слышать.

— Холодать стало,— сказала задумчиво мать.— А у детей нет одежды, обуви. Особенно у младшеньких.

Отец долго молчал. Вероятно, обдумывал, где достать денег.

— Продадим козу,— сказал он наконец.

— Может, козла?— предложила мать.

— Да ну, что за него дадут, мелочь,— сказал отец безнадежным голосом.— Продадим козу. За нее дадут пятьсот¹, я думаю.

Ясно. Родители решили продать Черноухую. Ранней весной наша коза, как обычно, подарила нам козочку и козленка. Козочка была белая, а уши почему-то черные. Вот мы и прозвали ее Черноухой. У меня сердце защемило от жалости к ней. Черноухую все любили за ее тихий, спокойный нрав.

Видно, мать тоже думала об этом, она тихо сказала:

— Надо случить ее, глядишь, и молока детям прибавится.

— Другого выхода нет!— раздраженно бросил отец.— Надо же хоть одному из детей купить телогрейку. Вот и в прошлом году младший надевал в школу чапан брата.

Ага, значит, телогрейка будет моей. Младшему еще не скоро в школу, ясно, речь обо мне. Вот бы занять телогрейку с кожаными манжетами, в нашем классе только у Вали такая. Тетушка Зеби купила ее за целых четыреста рублей. Так, по крайней мере, утверждает сам Вали.

— В базарный день пойду в Тизакоп²,— уверенно сказал отец.

Однако в пятницу отец простудился и слег. И в субботу ему все еще нездоровилось. Вечером родители снова говорили о продаже козы.

— Может, сходишь на базар сама?— предложил отец.

Мать как-то сразу сникла.

— Где уж мне продавать козу?— сказала она нере-

¹ В старом исчислении (до 1963 г.).

² Тизакоп — название базара на окраине Ташкента.

шительно.— Не приходилось мне делать это, не умею я.

Отец рассердился.

— А что тут такого мудреного? Разве на базар приходят только бывалые торговцы? Все там такие же люди, как и ты. В крайнем случае дашь посреднику десять рублей, он тебе и продаст козу. Но только не соглашайся меньше, чем на пятьсот. Скажи, что коза породистая.

Назавтра, чуть свет, мать стала тормозить меня.

— Вставай, сынок,— сказала она.— Поможешь гнать козу.

Я не спросил, зачем, куда. Знал: если погонят козу братья, не видать мне телогрейки как своих ушей.

Пока мать подоила козу, рассвело. Затем она отвязала Черноухую и повела за собой, а я пошел сзади с гибким ивовым прутиком в руке. Видно, и Черноухая была еще сонной, слишком уж покорно шла за матерью. Только у ворот оглянулась на брата-козленка, коротко мекнула, видно, просталась.

Мы идем по пыльной улице. Впереди мать, за ней коза, замыкая шествие я. Коза идет и пылит, иногда скачет боком. Время от времени она подбирает опавшие листья орешника, куцый ее хвостик смешно подрагивает. Хоть я и не погоняю ее прутиком, все равно она идет резво. Я в основном занят тем, что собираю опавшие орехи. Наверно, ночью был сильный ветер, на землю попадало много орехов. Я быстро набил ими оба кармана. Мать иногда останавливается и с недовольным видом поджидает меня.

— Идем быстрее, а то и базар разоидется.

До Тизакопского базара путь неблизкий. Шли мы долго, сначала через железнодорожные шпалы, пахнувшие смолой, затем по обочине дороги, по которой мчались машины. Ноги мои гудели от усталости... Наконец мы вошли через железные ворота на базар. Ого! Народу — тьма-тьмуша. И откуда столько? Все кричат, орут, куда-то спешат. Вон в сторонке под казаном горит огонь. Над казаном клубы дыма, поднимающиеся от раскаленного масла. Ух, какая там огромная рыба! Наверно, ростом с меня! Ее подвесили за жабры к гвоздю на столбе. Усатый человек в грязном халате поигрывает шумовкой и кричит: «Подходи, народ, есть сом! Сом! Любой кусок пожарю!»

Чуть поодаль в огромном котле готовят душистый плов, заправленный пряностями, желтый, как янтарь. Я невольно проглотил слюну. Ой, а там шашлык! Смуглый

хозяин кричит, расхваливает свой товар и зазывает едоков. Шашлык! Из печени и курдючного сала! «Кто поест — сильным станет, кто не поест — жалеть станет!» Если принюхаться, один запах его пьянит.

— Мама, как продадим козу, купите шашлык? — с мольбой в голос спрашиваю я.

А мать знай твердит свое:

— Не зевай, потеряешься.

Мелкие торговцы расселись прямо на земле. Перед ними всякая мелочь, начиная от наперстков и кончая ситами для просеивания муки, тут и мышеловки, и душистые травы. Фронтвик на костылях торгуется с сухоньким старичком — покупает сумак¹. Худенький мальчик, щеголяющий, несмотря на прохладный день, в одной рубашке, размахивает пачкой папирос и горланит во всю мочь: «Папиросы «Норт», кто не курит, черт!»

От шума, гама, разных запахов у меня закружилась голова. Тот толкается, этот толкается и, будто этого мало, прикрикивают еще на мать:

— Ты, коза! Раскрой пошире глаза.

Наконец мы добрались до места, где продают скот. Вот это базар так базар! Быки с налившимися кровью глазами, с кольцами, продетыми в ноздри, бараны с загнутыми рогами, еле передвигающиеся от тяжести курдюка, ослы, ревушие наперебой...

Особенно выделялся среди этих солистов осел черной масти. Покамест остальные соберутся подать голос, он успевает прокричать семь раз. И каждый раз уши его стоят торчком, а хвост вытягивается параллельно земле. Ноздри раздуваются до невероятных размеров, а бока так и ходят ходуном. Когда он заканчивает реветь, голос его становится тихим и печальным, но он тут же фыркает и принимается трубить с новой силой. Земля под ним — вся в навозе. Может, именно поэтому базар и называют «Тезакоп» — навозным. Только потом я узнал, что это название связано с именем царского сатрапа — Тезикова.

Мы припозднились, и нам досталось место на «Камчатке», у самого птичьего базара. Но и здесь мы простояли недолго, ибо тут вспыхнул скандал. Прямо перед нами на корточках сидел худушый нервный человек с желчным лицом, с явно сварливым характером, он дер-

¹ Сумак — трубочка для отвода мочи грудного ребенка, которого укладывают в люльку.

жал в руках конец бечевки, которая опутывала ноги большущего бойцового петуха, время от времени бросал в рот жевательный табак и едко кого-то высмеивал. Петух гордо стоял на сильных длинных ногах, вытягивал шею, тарасил глаза, явно вызывая на драку других петухов, которых тоже держали за бечевку хозяева. В это время к задире петуху подошел покупатель, мужчина в огромной парусиновой кепке с маленьким козырьком, нос у него был с добрый огурец, из ноздрей торчали пучки волос.

— Сколько стоит цыпленок, почтенный?— спросил он, носком ботинка указывая на петуха, у желчного хозяина.

Тот зло вскинул голову, сплюнул табак, вытер тыльной стороной ладони рот.

— Где ты видел цыпленка?— закричал он пронзительным голосом.— У тебя вместо глаз, наверно, дырки. Человек с огромным носом и бровью не повел.

— Почему цыпленок?— спросил он снова.

— Это не цыпленок, а петух!— вскочил хозяин на ноги.— Бойцовый петух! Может сбить с ног и такого, как ты!

Человек с огромным носом не терял самообладания.

— Видно же, что цыпленок,— сказал он.— Сколько просишь за него?

И тогда случилось непредвиденное. Хозяин петуха схватил своего красавца за ноги, замахнулся и трахнул им по голове покупателя.

— Вот тебе «цыпленок»!— завопил он.

Петух закукарекал, покупатель закричал дурным голосом. Кепка его слетела с головы и угодила в кучу навоза.

Перья петуха носились в воздухе...

Покупатель, прикрыв ладонями голый череп, нырнул в толпу. Он тут же вернулся, ведя за собой милиционера, усатого, словно морж.

— Вот он!— указал незадачливый покупатель на обладателя желчного лица, который пытался зажать петуха между коленями.— Ударил меня по голове петухом. А петух у него, сами видите, величиной с быка. Даже не с быка, а с верблюда. Вот таким петухом он меня ударил. Голову мою чуть не разбил вдребезги,— запричитал он жалобно.

— В чем дело, граждане?— Милиционер вынул из кармана свисток и, раздувая щеки, засвистел во всю мочь.

Я хотел досмотреть «представление» до конца, но мать не позволила.

— Сынок, пойдем скорей отсюда,— сказала она шепотом.— Подальше от беды.

Мы отыскиали себе место побезопаснее. Наконец нашелся покупатель и на нашу козу. Мужчина, обмотавший голову вышитым платком, обошел вокруг Черноухой.

— Сколько просите?— спросил он скорее не у матери, а у козы.

— Пятьсот!— быстро ответила мать.

— Триста!— мужчина погладил шею козы.— Я очень тороплюсь, думайте быстрее.

— Нет, милый, это не простая, а породистая коза,— сказала мать, качая головой.— Мать ее каждый год приносит по паре козлят и молока дает много. Молоко жирное, как у коровы. Меньше чем за пятьсот не отдам.

Покупатель не стал торговаться, пошел дальше.

Подошли еще двое. Один предлагал триста десять рублей, другой застрял на двухстах пятидесяти. Больше никто не подходил. Я заскучал. Стоял и перекидывал горсть орехов из одной руки в другую. Солнце припекало, хотелось пить. Мать, видно, тоже устала и тоскливо озиралась по сторонам.

— Видно, не обойтись нам без посредника, сынок,— сказала она упавшим голосом.

И, словно ожидая этих слов, к нам подошел человек в ватных брюках, перепачканных навозом. На нем была шапка, изъеденная молью.

— Ну что, сноха, не нашелся покупатель на вашего козленка?— сказал он громким, неприятным голосом.

— Это не козленок, а коза,— сказала, обидевшись, мать.— Вы только посмотрите, это породистая коза, ее мать каждый год приносит двух козлят. И молока она много дает. Молоко густое, как у коровы.

— Вижу, что у вас за коза,— небрежно махнул рукой человек в шапке.— Она у вас не больше кошки. Стельная она хоть или нет?

Мать отрицательно покачала головой.

— Точно не знаю, зачем мне врать. Но мать ее породистая. Каждый год приносит двух козлят. Молока дает много.

Незнакомец задумался на миг.

— Вот что я вам скажу, сноха,— снова заговорил он резким голосом.— Я человек посторонний, но вижу,

стоите вы долго, аж пожелтели от усталости. Если хотите, я помогу вам продать вашу ненаглядную. Но договоримся сразу: за это вы дадите мне двадцать пять рублей.

— Ладно, посмотрим,— тихо проговорила мать.— Вы похожи на честного человека, дай бог вам всяческих благ... Но коза моя породистая.

— Скольکو вы хотите за нее?— прервал ее посредник.

— Пятьсот.

— Что-о?— У посредника округлились глаза, словно он услышал нечто страшное.— Да за пятьсот рублей дойную корову можно купить. Цены-то на базаре упали. Зима на носу! Зима! Надо сено запастись, корм...

Мать растерянно пожала плечами.

— Я хочу купить сыну телогрейку. Муж сказал, чтобы я не соглашалась отдавать меньше чем за пятьсот.

— Нет, вы только посмотрите на нее!— воскликнул посредник и глянул на мать так, словно она совершила преступление.— У людей совести не осталось.

Он повернулся и хотел уйти, но мать стала упрашивать его:

— Ради бога, найдите нам покупателя. Я в долгу не останусь.

— Ладно,— проворчал он.— Подождите меня тут.

Через четверть часа он привел с собой человека в засаленном халате, с ними был мальчишка чуть постарше меня. На голове у него красовалась новенькая тюбетейка. Она как-то странно сидела на его голове, смахивавшей на продолговатую дыню. «На деньги, которые останутся после покупки телогрейки, мама купит мне новую тюбетейку»,— мелькнула у меня мысль.

— Вот!— сказал громко посредник.— Лучшего покупателя и не найти.

— Сколько просите?— покупатель почему-то обратился не к матери, а к посреднику.— Только называйте окончательную цену.

— Двести пятьдесят!— вместо матери ответил посредник.

— Что вы!— испуганно протянула мать.— Я только что не отдала за триста.

— Не себе покупаю, вот этому мальчишке!— горестно вздохнул человек в засаленном халате.— Видите, какой он бледный, несчастный, только-только оправился от болезни. Туберкулез у него!

И мать, и я уставились на мальчика. Он действительно был бледен, большие глаза его смотрели печально.

— Орехи!— воскликнул он, увидев их в моих руках. Голос у него был писклявым, как у девочек, и жалобным.

— Дай ему орехов, дай,— поспешно сказала мать.— Все отдай.

Я отдал ему все, что у меня было. Ничего, я еще соберу. У нас на улице орешки хватает.

— Сто рублей!— крикнул человек в засаленном халате.— Соглашайтесь.

— Ой, нет,— мать крепче прижала к груди веревку, за которую была привязана коза, словно кто-то пытался вырвать ее.— Это породистая коза. Мать ее каждый год приносит двух козлят. И молока много дает! Молоко жирное...

— Имейте совесть, милейший!— Посредник зажестиковал руками перед самым носом покупателя.— Правду сноха говорит. Коза породистая, если ее случить, глядишь, весной будешь молочком баловаться.

Мать оживилась.

— Вот и я о том же. Породистая коза! Мать каждую весну приносит двух козлят.

Покупатель устало покачал головой.

— Да если бы я покупал для себя, то отдал бы и все пятьсот. Для него прошу,— он снова кивнул на мальчика. Тот перекладывал орехи из одной руки в другую и шевелил тонкими бескровными губами, считая орехи.— Круглый сирота он, бедняга,— понизил голос покупатель.— Отец его погиб на фронте. Недавно и мать умерла, отмучилась, бедная, туберкулез у нее был. Осталась у него только бабка, ей уже семьдесят лет. А я их сосед. Бедная старушка накопила немного денег. Вот и попросила купить на них козу. Мальчугану этому. Может, козье молоко ему поможет.

Я замер, глядя то на мальчика, то на мать. Мальчик все еще считал орехи, а мать с состраданием смотрела на него. На глаза ее навернулись слезы. Держа одной рукой веревку, другой она погладила мальчика по плечу.

— Славный ты мой!— Голос ее дрожал.— Ничего, все будет хорошо! Ты еще станешь таким джигитом, таких почестей достигнешь, каких еще никто не достигал. Голубчик ты мой!

— Вот все, что у меня есть,— покупатель сунул горсть смятых рублевок и трехрублевок в руки посредника.

— Сколько здесь?— спросил тот.

— Сто пятьдесят.

Посредник обеими руками схватил руку матери, которой она сжимала веревку, и стал трясти ее.

— Соглашайтесь, сноха, соглашайтесь!

— Добавьте еще хоть пятьдесят рублей,— умоляюще сказала мать.— Коза все же породистая.

— Да нет у меня больше денег, сестрица!— покачал головой покупатель.— Не для себя стараюсь. Ради него только и пришел на базар.

— Но я же хотела купить сыну телогрейку,— чуть не плача, проговорила мать.

— Человек должен хоть иногда делать благие дела, сноха!— снова вмешался посредник.— Что хорошего сделали мы в мире? Построили мост или возвели мечеть?..

— Действительно так, но... Телогрейку сыну... Породистая коза...

На сей раз поток бессвязных слов матери прервал покупатель.

— Благодарите бога, сестра,— сказал он.— У вашего сына есть отец, есть мать. Ну, купите ему не новую, а старую телогрейку. А у сиротки кто есть? Кто его пожалеет?!

Мать жалостливо посмотрела на мальчика и тихо выпустила из рук конец веревки. Мальчик все еще шевелил губами, пересчитывая орехи.

— Получайте, сноха! Не обижайтесь,— сказал посредник, пересчитав деньги и вручая их матери.— Что положено мне, я взял с вашего согласия.

Мать, зажав в ладони смятые деньги, снова погладила мальчика по плечу.

— Не падай духом, голубчик! Передай от меня бабушке привет! Скажи, что женщина, которая продала козу, передавала привет.

Вскоре и посредник и покупатель с нашей козой и мальчик исчезли из виду, растворились в толпе. Мать, поплеывая на пальцы, тщательно пересчитала деньги, затем положила их в карман безрукавки. Но, не удовлетворяясь этим, вынула деньги и сунула их в более укромное место, в вырез платья.

Вспомнив о мальчике, горестно вздохнула:

— Господи! И зачем ты посылаешь столько бед на головы рабов своих.

Мы молча пустились в дорогу. Мать вела меня за руку вся сникшая, грустная, видно, крепко засел этот мальчик в ее мыслях, а еще надо вытерпеть упреки отца, надо как-то оправдаться перед ним. Мы опять прошли мимо того шашлычника. Запах шашлыка ударил в голову, потекли слюнки, но я молчал. Знал, теперь уж мать точно не купит мне ничего.

И уже дошли до ворот базара, когда мать внезапно остановилась.

— Ой, горе мне!— сказала она, побледнев.

Я испугался, что у нее украли деньги.

— Мы ведь отдали козу вместе с веревкой,— выдохнув это, она снова потащила меня назад в толпу.— Плохая это примета. Нельзя продавать скотину вместе с веревкой. Ох, чтобы мне пусто было! Что же нам теперь делать? Разве станут они дожидаться нас? Наверное, их и след простыл!

Мать говорила и говорила, шла, натываясь на людей, торопилась к скотному базару. Вот мы и снова на базаре. Подошли к своему прежнему месту. Но здесь уже бойко предлагали жеребенка.

— Посредник — человек базара. Наверняка встретим его,— успокаивала мать и себя, и меня.

Мы долго бродили в толпе. И вдруг... Я остановился как вкопанный, словно увидел какое-то чудо. Мать, озирающаяся по сторонам, больно дернула меня за руку.

— Да пойдем же, чего ты рот разинул!

— Черноухая,— сказал я тихо.— Вон Черноухая. Моя козочка.

Я сразу узнал ее. По черным ушам. Нет, не потому, что она сама была белая, а уши черные. Левое ухо у нее было обвислым. По утрам перед дойкой мать подпускала к козе Черноухую для того, чтобы заставить ее дать молоко. Присосется Черноухая к вымени матери, и уже никакими силами не оттащишь ее. Я брал ее за левое ухо и дергал. Это помогало. Оттого, что я каждое утро дергал одно и то же ухо, оно и обвисло.

— Где?— спросила мать.— Где Черноухая?

— Вон!— указал я пальцем на козу, которая стояла среди небольшой группы людей. Мужчина в засаленном чапане, недавний наш покупатель, держал козу за веревку, а посредник в изъеденной молью шапке, отчаян-

но жестикулируя, что-то объяснял какому-то толстяку. Не было только мальчи́ка...

— Это породистая коза, дорогой мой! Мать ее каждый год приносит по двое козлят!— кричал посредник пронзительным голосом.— Каждый день дает больше пяти литров молока. А молоко жирное, как у коровы. Считаю, задаром отдаю, дорогой мой.

— Ну и загнули же вы цену!— Толстяк в шляпе недовольно покачал головой.— Сбавьте чуть, ну скажем, за шестьсот отдайте.

— Ох и скряга же вы! Посмотрите, она скоро принесет козлят!— Мужчина в чапане похлопал козу по бокам.— Даст бог, в самую чиллу¹ дети ваши станут пить молоко, любезный.

Откуда-то вынырнул и несчастный больной в новой тубетейке.

— Папа,— сказал он, показывая на гроздь сочного винограда в руке.— Вот, купил.

— И у нас ведь свои заботы,— сказал тот покупатель, кивая на мальчика.— Расходы по нынешним временам знаете какие? Хочу праздник сыграть по поводу обрезания сына. Вот мальчик и ухаживал все лето за козой...

Я посмотрел на мать. Она стояла, широко раскрыв рот, губы ее дергались и дрожали.

Мне показалось сначала, что она смеется. И только потом понял, что она плачет.

— Ах, бессовестные, ах, негодяи! Да они, оказывается, сообщники.

— Я бескорыстный человек!— опять заверещал посредник.— Нужно же свершать и благие дела. Что хорошего мы сделали на этом свете? Построили мост через реку или возвели мечеть?..

Мать, враз обессилев, отпустила мою руку.

— Пойдем, сынок,— сказала она, вытирая слезы кончиком рукава.— Пусть они пьют, едят, но никогда не будут сыты. Чтоб им подавиться!

— А веревка?— осторожно спросил я.

— Бог с ней! Пойдем,— она опять взяла меня за руку, и мы пошли прочь, продираясь сквозь толпу.

¹ Чилла — период самых суровых холодов, между 25 декабря и 5 февраля.

ЗОЛОТЫЕ СЕРЬГИ

Человек — существо удивительное! Попробуйте, скажем, изменить его характер. Сколько ни старайся — бесполезно! Стоит мне обидеть кого-нибудь, хоть и справедливо, я страдаю больше, чем тот, кого я обидел. Такой уж у меня характер.

Мать никогда нас, детей, не ругала. Случалось, что обижала иногда, но спустя некоторое время сама улаживала все. Только однажды она проклинала меня. Да так сильно, что не забыть мне этого никогда.

...Была весна, солнце пригревало вовсю. Я сидел под миндалем и мастерил воздушного змея. Клей, вытекающий из коры урюка, никак не схватывал ни бумагу, ни камышинку. Я шмыгал носом и старался изо всех сил. Неподдалеку от меня сидела на козлиной шкуре мать и стирала. Отец купил всем нам вельветовые брюки. Вельвет материал хороший, но плохо то, что, когда валяешься на земле, в него очень впитывается грязь. Поэтому каждые три дня мать стирала их и ругалась при этом. (Конечно, отец наш никак не подозревал, что через несколько десятилетий вельвет станет самой модной тканью во всем мире. В те времена он стоил гораздо дешевле других тканей и считался самым доступным.) В общем, мать только и знала, что стирала наши брюки. Во дворе пахло мылом. Рядом с матерью сидела наша соседка — веснушчатая тетя. Я очень не любил ее. Скорее не саму ее, а дочь. «Я отдам свою Санду замуж только за тебя, — говорила она. — Хочешь или не хочешь, а женишься на ней. Когда ты был еще очень маленьким, то укусил ее за ухо, значит, по нашим обычаям, ты должен на ней жениться». А Саида эта такая противная — хуже любого мальчишки. Как-то она ударила Тою по носу, и у него потекла кровь.

Соседка сидела на перевернутом ведре и жаловалась:

— Всю ночь этот проклятый зуб болел, да так, что места я себе не находила. — И погладила свою щеку, усыпанную веснушками.

— А вы не пробовали вскипятить в воде гармолу и прополоскать рот? — посоветовала мать, которая все еще стирала, нагнувшись.

— Да все я пробовала. — Соседка опять захныкала: — Пробовала даже дым во рту подержать, не помогло.

Обе на минуту замолкли.

— Уф! Запарилась!— Мама стряхнула с рук пену, сняла с себя свитер с тесным горлом и бросила его в стонку.

— Вот и дожили до весны,— соседка вздохнула.— Хотели мы этой осенью женить нашего Хакима.. Да легко ли свадьбу сыграть? То того не хватает, то этого... А муж у меня сами знаете какой...

Соседка часто жаловалась на своего мужа. И в самом деле, Исмаил-усатый изрядно попивал. На одном месте долго не работал. Вдобавок к этому как выпьет, гонит всех из дому. Нередко соседка хватала Саиду и убегала к нам. А в полночь, когда муж успокаивался и засыпал, тихонько возвращалась домой.

— Хакимджан ваш молодой еще,— задумчиво сказала мать.— Не в этом, так в следующем году сыграете свадьбу...

— Так-то оно так, только вот сваты торопят...— Соседка опять застонала.— Нет, надо выдернуть этот проклятый зуб и вставить новый. Вчера заикнулась мужу об этом, а он и говорит: мол, ежели отец твой зарыл для тебя кувшин с золотом, тогда вставляй... Не знаю, что и делать, придется отдать, наверно, единственное украшение — золотой браслет. Ведь стыдно будет ходить беззубой.

Склеив наконец бумажного змея, я стал прилаживать к нему камышинку, а она возьми и сломайся. Полбеда, если бы только это, но, как назло, порвалась и бумага, а я с таким трудом выпросил ее у старшего брата. Все теперь кончено. Я чуть не заплакал от досады. И топнул по змею ногой.

— Ну,— сказала соседка,— что случилось, зятек?

— Сломался.

— Попроси старшего брата, он тебе другой смастерит.

Да уж, он смастерит! Что, у него других дел нет, что ли? С утра до вечера пропадает в школе.

Со злостью я еще раз придавил змея ногой и выбежал на улицу. Вернулся домой только вечером. Во дворе на веревке висели брюки, рубашки... Тут же, в сторонке, валялась моя тубетейка, которая после наших игр превратилась в грязный кусок тряпки. Мать возилась в темноте под миндалем.

— А, чтоб тебе пусто было, коза еще не доена,— сказала она, увидев меня.— Пойдем, подержишь.

Хоть наша коза была тихой и смирной, но иногда показывала свой норов, брыкалась, пока ее доили. Приходилось, стоя на коленях, крепко держать ее за задние ноги. Занятие это не очень мне нравилось, и, понимая, что сегодня оно выпало на мою долю, я хотел было сбежать, но мать рассердилась:

— Когда же ты наконец человеком станешь, негодник! Тебе уже девять лет, а ты только и знаешь, что шляться по улице! Никакой от тебя пользы!

— Мне не девять, а восемь,— буркнул я.

— Замолчи!— прикрикнула мать, и я нехотя поплелся за ней, чтобы держать козу за ноги. Мало того, что она все время дрыгает ногами, пока ее доят, она еще может ни с того ни с сего оросить тебя так, что потом целый день будешь сушиться...

Мать быстро подоила козу и велела мне:

— Отвяжи-ка этих негодников!

Я отвязал козлят, и они весело подбежали к своей козликхе-матери. А мать перелила молоко в большую глубокую глиняную чашу и снова направилась к миндалю. Что-то она там искала.

— Что вы ищете?— спросил я, подойдя к ней.

Мне показалось, она уже сожалела о том, что отругала меня. Она похлопала меня по плечу.

— Ничего. Иди, поешь, небось проголодался.— Затем вдруг выпрямилась во весь рост и воскликнула:— Ой, каким ветром занесло? Ассалам алейкум!

Я обернулся и увидел свою тетю, сестру отца, которая стояла шагах в трех от меня. Мать смутилась, что не сразу увидела гостью, и пошла ей навстречу с распростертыми объятиями. Тетя у меня красивая, с черными глазами и бровями, на лице у нее родинка. Но вот только уж очень властная. Каждое слово она выговаривает так, точно гвоздь в стену вбивает. Мать ее побаивалась. Знала, что если не оказать ей должного почтения, то несдобровать потом.

— Ну?— спросила тетя громко.— Почему у вас такой кислый вид, будто у нищего, который потерял свой хурджун? А, невестка?

— Да нет, это я так...— промямлила мать.— Серьга одна выпала. Только что была в ухе.

Гляжу, а у матери и впрямь в одном ухе нет серьги. Мать очень берегла эти золотые, в форме полумесяца серьги, часто хвалилась, что это подарок свекрови.

— Ладно, найдется,— сказала мать тихо.— Если здесь упала, куда денется.

— Гм!— Тетя грозно повела бровями. Хоть и темно было, а я это ясно увидел.— Ишь какая богатая нашлась. Надо найти сейчас же.

Тетя отдала мне узелок, который держала в руке, и сама принялась искать на земле серьгу.

— Оставьте, сестра,— сказала мать, осторожно тронув ее за плечо.— Пойдемте в дом. Скоро брат ваш придет с работы.

— Всегда так бывает,— сказала тетя, не поднимая глаз от земли,— лошадь работает, а ишак ест.— Потом вдруг резко вскинула голову и поглядела матери прямо в глаза:— Кто-нибудь заходил к вам сегодня?

— Никто.— Мать на минутку растерялась и тихо добавила:— В обед заходила Шаропат-апа. Это...

— Шаропат-апа?— Тетя скривила губы, мол, все понятно.— Стало быть, аминь!

— Не надо,— взмолилась мать.— Не думайте о ней плохо. На что ей одна серьга?

— Думаете, не нужна!— Тетя гневно махнула рукой.— Вы же знаете, что она нечиста на руку, так зачем же пускаете в дом!

— Ну что вы,— снова пробормотала мать.— Что она будет делать с одной серьгой?

— Вот еще скажете!— недовольно повысила голос тетя.— А знаете, сколько стоит такая серьга?— сказала она, указывая пальцем на серьгу, красовавшуюся в левом ухе матери.— Как придет на чью-нибудь свадьбу эта Шаропат, так обязательно что-нибудь стащит.

Мама, не зная, что ответить, растерянно глядела на тетю. Я не раз слышал, как отец с матерью говорили о причудах веснушчатой тети — Шаропат-апа. Будто на свадьбах исчезали то ляганы, то пиалы, и каким-то образом они оказывались потом в доме у Шаропат-апа. Она уносила их по «рассеянности» своей. Сейчас я вспомнил обо всем этом и возненавидел веснушчатую Шаропат-апа.

— Только брату своему не говорите, пожалуйста,— взмолилась мать.— Авось найдется.

— В гробу найдется!

Тетя как-то очень решительно направилась к дому. Мама поспешила вслед за ней.

Утро мать опять начала с поисков серьги. В глазах ее сквозила усталость, должно быть, не спала всю ночь.

Я стал помогать ей искать. Но мы не нашли ничего ни сегодня, ни завтра. Мать спрятала куда-то оставшуюся серьгу, чтобы о пропаже не узнал отец.

Если бы Шаропат-апа не приходила к нам в тот день и не говорила о том, что хочет вставить золотой зуб, тетя, наверное, позабыла бы о случившемся.

Стояла середина лета, когда тетя опять пришла к нам. То, что это была середина лета, я помню потому, что она принесла раннего винограду, хотя и жила в городе. Мы с братьями набросились на виноград. Вы ведь знаете, как бывает в кишлаке: стоит заявиться в дом гостю, как тут же собираются и все соседи. В тот вечер первой зашла к нам Шаропат-апа. Радужно поздоровалась, обняла тетю. Потом повернулась к матери:

— Посмотрите.— Она пальцем приподняла губу, и во рту сверкнули два золотых зуба.

— Очень хорошо,— тихим голосом сказала мать.— Вы что, с браслетом расстались?

Шаропат-апа почему-то покраснела.

— Да нет,— сказала она и приподняла рукав платья.— Браслет на месте. Муж сказал: «Береги браслет. Невестке своей подаришь, когда сына поженим».— Она улыбнулась, широко раскрыв рот. Наверно, чтобы еще раз показать золотые зубы.— Муж стал лучше себя вести. Поумнел, слава аллаху! Скоро женим Хакимджана. Этой осенью устроим пышную свадьбу.

— Из чистого золота ваши зубы!— с иронией сказала тетя.— Пусть же они век вам служат!

Шаропат-апа была в хорошем настроении, а мать вела себя как-то беспокойно, тетя сидела хмурая.

— Завтра утром приглашаю вас к завтраку,— сказала Шаропат-апа.

— Нет, я чуть свет уеду,— тетя отвернулась.

Только куда она чуть свет не уехала. Я проснулся от ее громкого голоса.

— Гляди-ка, греха не боится! Ни стыда, ни совести! Это она украдала твою серьгу! И вставила себе зубы. Это золото особое, я сразу его узнала.

— Э, у таких стыда не бывает!

«Чей это голос?»

Я высунулся из-под одеяла и увидел толстую Отинхола.

— В тот раз, когда справляли поминки Иная-хромого, два чайника пропало,— продолжала она жалобным голосом.— Я подумала, никто не возьмет, кроме Шаро-

пат. Зашла к ней домой, прямо на кухню, и вижу: стоят эти чайники там. Я сразу узнала их. «Как они очутились здесь?»— спрашиваю. А она и глазом не моргнула. «И сама не знаю»,— говорит. «Чтоб ты подохла, воровка, разве у чайников есть ноги, чтоб они сами прибежали к тебе в дом?»

— А еще хвалит своего мужа, этого остолопа. Говорит, поумнел!— Тетя со злостью стукнула кулаком по хонтахте так, что суставы на ее пальцах хрустнули.— Горбатого только могила исправит. Этот усатый никогда не поумнеет.

С чайником вошла в комнату мать.

— Да хватит об этом,— сказала она тихо.— Я же не поймала ее за руку. Что теперь поделаешь?

— Слишком вы щедрая, сноха!— отозвалась тетя сердито.— Вы же не ханская дочь! Давайте одевайте сына. И сами тоже одевайтесь. Сходим кое-куда.

Мать поставила чайник на хонтахту и с удивлением посмотрела на тетю, потом на Отин-хола.

— Куда это?

— На кладбище! Это вас устроит?— Тетя так глянула на мать, будто во всем виновата только она одна.— В нашей махалле есть гадалка. Ей ничего не стоит сделать так, что и вода потечет вспять. Пойдемте к ней. И вы тоже, уважаемая Отин-хола. Погадаем. Пусть она после этого попробует отказаться!

— Да неудобно вроде,— сказала мать, растягивая слова.— Ведь мы соседи. Словно два глаза на одном лице.

— Эге!— Тетя поднялась с места и со злостью в голосе сказала:— Конечно, вам эта серьга даром досталась, но ведь это единственное, что осталось от моей матери! Этого вам не жалко, а воровку жалко? Выходит, так? Ну, вы меня, кажется, плохо знаете. Я выведу ее на чистую воду.— Тетя обернулась ко мне:— Будем гадать при этом ребенку. Невинный ребенок скажет правду. Пойдешь с нами?

Я вскочил с постели:

— Пойду! Пойду!

Я сразу подумал о том, что если поедем к тете, то я покатаюсь на трамвае. И досыта наемся винограду.

После завтрака я, тетя, Отин-хола и мать двинулись в путь. Я знал, что пешком мы дойдем только до Бешагача. А там сядем на трамвай. Дзень-дзень! Ох, как здорово!

Но до Бешагача столько еще надо пройти пешком! Не успели добраться до Домрабада, как мне стали жать ботинки. Я снял их и пошел босиком. Как же это приятно — летом на рассвете шагать босиком. Мелкая, как мука, прохладная пыль вылетает из-под пальцев. Идешь, идешь и ни чуточки не устаешь.

Мы миновали Лайлактепа и вошли в Казирабад. Здесь напильсь холодной как лед прозрачной воды из бьющего ключом родника. Вскоре подошли к Чиланзару. Вдоль дороги тянулись густые заросли кустарника с белесыми, покрытыми пылью листьями и колючками. Это чилон жийда, разновидность джиды, отсюда и название местности — Чиланзар. Дорога обсажена также грушевыми деревьями. Плоды еще не созрели. Когда проходишь под деревьями, опавшие листья прилипают к пяткам, и возникает неприятное ощущение.

А какое удовольствие пройти по мосту! Внизу чернеет вода. Глянешь, аж голова кружится. Мать не разрешила мне идти по краю моста: сказала, будто вода притягивает к себе человека и он может упасть... По самой середине моста вереницей тянутся арбы, запряженные лошадьми и ослами. Мост узенький, и движение поэтому одностороннее: сперва едут с одной стороны, а на другой поджидают своей очереди. Арбакеши ругаются, ослы кричат; по мосту проходят даже верблюды, нагруженные множеством мешков с соломой, вокруг рта у них пена. Как только мы перешли через этот мост, сразу же услышали стук трамвайных колес. Это уже Бешагач.

...Я думал, что та гадалка, о которой говорила тетя, должна бы походить на тетушку Ачу — цыганку. Она оказалась совсем на нее непохожей. Сойдя с трамвая, мы очутились на узенькой улочке, дома вдоль нее скрывались за урючинами со спелыми плодами. Затем мы вошли в какой-то маленький дворик, в котором росли белые ирисы. Заметив собачку, лежавшую в тени погребца, я остановился. Она была очень похожа на мою собачонку, такая же маленькая, но только не черная, а белая. Почему-то она даже не залаяла.

Мы вчетвером прошли на айван. Здесь нас встретила с улыбкой маленькая старушка в белом платке и в платье с длинными рукавами. Я не мог поверить, что это и есть гадалка.

— Какой славный мальчик, — сказала она, целуя меня в щеку.

К потолку была подвешена клетка, в ней сидела пе-

репелка, она не пела, но все время скакала по клетке, и поэтому на палас из клетки падали зернышки. Пока я сидел и разглядывал перепелку, тетя разъяснила гадалке суть дела.

— Пойдемте,— сказала старушка, поднимаясь с места. И похлопала меня по плечу:— И ты тоже, сладкий.

Мы прошли в низенькую, полутемную сырую комнату, в нишах которой лежали какие-то книги, как выяснилось, на арабском языке. Старуха молча вышла. Мать, Отин-хола, тетя и я уселись в ряд на тонкой курпаче. Через некоторое время снова вошла старуха, в одной руке она несла большую фарфоровую чашку, в другой — белую ткань, похожую на простыню.

— Ты садись вот так,— сказала она и усадила меня посреди комнаты.— Вытяни ножки. Нет, расставь их немножко.

Я сел, как мне было сказано, и старуха поставила мне между ног касу. Я увидел, что каса полна воды.

— Сиди и гляди на воду,— ласково сказала она.— Я буду читать молитву, а ты, кого увидишь в воде, того и назови.— И накрыла меня сверху простыней.

Сразу стало темно. Старуха начала говорить что-то непонятное для меня. Мне показалось, что я задыхаюсь. Я испугался.

— Ма-а-ма!— закричал я.

— Сиди тихо! Никуда твоя мама не убежит.

Кто-то толкнул меня в плечо. Услышав сердитый окрик тети, я прикусил язык. Теперь я немного стал различать свет. Но, кроме поблескивающей в касе воды, я ничего не видел. Прошло довольно много времени. Оттого что я сидел не шелохнувшись, у меня затекли шея, ноги. И я возненавидел Шаропат-апа, из-за которой я сейчас так мучился. Если бы она не стащила серьгу у матери, я бы сейчас не сидел здесь, а играл бы в свое удовольствие. Я думал только об этом. И вдруг вижу, из-под воды глядит на меня Шаропат-апа. Глядит и смеется. Даже два золотых зуба ее увидел. И что есть мочи заорал:

— Шаропат-апа! Я ее видел!

С меня тут же сняли простыню. То ли от страха, то ли от того, что трудно было дышать, я весь взмок.

— Ваше подозрение подтвердилось,— сказала гадалка, глядя не на мать, а на тетю.— Даст бог, вернет она то, что взяла у вас, уважаемая!

— Вот, а я что говорила!— Тетя с победоносным видом оглядела всех по очереди.— Я ее теперь замучаю, как собаку!

В тот день мы ночевали у тети.

Как и грозились, на следующий день она устроила Шаропат-апа «собачью» жизнь. Мать, Отин-хола и тетя, захватив с собой и меня, направились к нашей соседке. Та сидела на циновке, разостланной на супе, и чесала вату. При каждом ударе тонкими палочками по вате поднимается пыль. Увидев гостей, входящих в дверь, она вскочила с места, не выпуская из рук палочки. Хотела было поздороваться, раскрыв объятия, как вдруг тетя заорала:

— Я не желаю здороваться с негодяйкой, которая вставляет себе зубы из чужого золота!

Шаропат-апа так и застыла на месте с палочками в руках.

— Что... что вы такое говорите, уважаемая?— спросила она, побледнев.

— А то и говорю, чтоб вернули украденное!

Шаропат-апа еще больше побледнела.

— А что я ukrала?— проговорила она дрогнувшим голосом.— Скажите, что?

— Э, бросьте!— Тетя отмахнулась от нее рукой.— Сделали себе зубы из серьги моей снохи, а теперь притворяетесь такой невинной.— Она взглянула на Отин-хола.— Вот свидетель! Мы гадали с помощью вот этого непорочного мальчика. Он сказал, что это вы украли!

— Ой, чтоб мне умереть сейчас!— Палочки выпали из рук соседки.— Какой позор,— сказала она плача. Затем повернулась к матери:— Как же вам не стыдно! У меня сейчас совсем другие заботы. Сына собираюсь женить. Если я ukrала у вас хоть иголку, умереть мне на этом месте!— Последние слова ее заглушили рыдания.— Чтобы мне похоронить всех моих четверых детей, если я это сделала!

Теперь побледнела мать.

— Ой, милая, не говорите так!— сказала она дрогнувшим голосом.— Возьмите свои слова обратно! Если вы и подобрали мою серьгу, я вам прощаю!

— Э, снова вы за свое! Тоже мне байвацца, черт вас дери!— Тетя резко повернулась и пошла прочь. В дверях она обернулась:— Лучше признайтесь! Не то плохо вам будет!

Вслед за тетей ушла и Отин-хола. Шаропат-апа все

еще всхлипывала, а мать стояла перед супой, опустив глаза.

— Пусть аллах покарает этого клеветника!— сквозь слезы выдавила Шаропат-апа.— Пусть никогда он не добьется в жизни своей цели.

— Оставьте, соседушка.— Мать еле сдерживалась, чтобы не заплакать.— О аллах, да пропади она пропадом эта серьга! Не принимайте близко к сердцу, милая!

— Не успокоюсь до тех пор, пока аллах не покарает клеветника!— С этими словами Шаропат-апа ушла в дом.

Мать постояла с минуту перед супой и вдруг набросилась на меня:

— Что ты торчишь здесь, как пень? Прочь с глаз моих, ублюдок!

Да, нехорошо получилось. С того дня соседка перестала здороваться с матерью.

Но самое худшее случилось через два месяца, в один из прохладных дней.

В тот день, придя домой из школы, я увидел мать сидящей на сундуке словно изваяние. Видимо, она доставала из сундука теплую одежду, в комнате пахло нафталином, на полу лежали бумазейные платья, чапаны, теплые шапки. Глаза матери распухли от слез. Я испугался, мало ли что могло случиться. Тихо подошел к ней. А она даже не шевельнулась. Я взял ее за руку, но она дернулась так, словно ее ужалила змея.

— Лучше б ты не появлялся на белый свет!— закричала она, в глазах ее вспыхнул гнев.— Лучше б ты не дожил до того дня, чтоб тебе пусто было!

Услыхав такие страшные проклятья, я остолбенел. Никогда прежде мать не говорила мне таких слов.

— Почему ты тогда сказал так, чтоб гнить тебе в могиле!— снова гневно прокричала она.

— Когда? Что сказал?

— У гадалки, сгореть бы тебе в могиле, у гадалки!— что есть силы закричала она.— Почему ты сказал, что видишь Шаропат-апа?

— А что мне было делать?— завизжал я от обиды.— Я сказал то, что видел!

— Да вот же, чтоб ты ослеп, вот же!— Мать швырнула на пол то, что сжимала в ладони. Золотая серьга, ударившись об пол, звякнула и подпрыгнула.— Она зацепилась за мою кофту, оказывается! Прочь, чтоб глаза мои тебя не видели! Лучше умереть, чем оклеветать невинного человека!— И тут же схватила меня в объятия,

прижалась лицом к моему лицу и заплакала:— Что же мы теперь делать-то будем, сыночек!— От слез матери и мое лицо тут же сделалось мокрым.— Что делать будем, сынок! Как мне пережить такой позор, сыночек, родненький!— Силы покинули мать, и она упала лицом на сундук.

А спустя немного времени была свадьба. Шаропат-апа мать не пригласила. Но мать нажарила целую чашку хворосту и как ни в чем не бывало пошла в тойхану¹ и усердно помогала там.

Вечером посреди двора разожгли большой костер. На сына Шаропат-апа, Хакима-ака, как две капли воды похожего на свою мать, надели полосатый халат, чалму и заставили его сделать три круга вокруг костра. Зазвучали карнай и сурнай... Ходжа, Вали и я быстренько заходим в комнату, где суетятся женщины, обслуживающие гостей, наполняем карманы сладостями — и во двор... А потом в темных углах двора играем в прятки.

Хоть я и поздно лег в ту ночь, но проснулся чуть свет. Гляжу, дома никого нет. Значит, все уже в тойхане.

Я наспех, по-кошачьи, умылся и побежал туда. А как же иначе, надо не пропустить «келин салом»².

К счастью, я не опоздал. Во дворе, перед входом в дом, столпились родственники Шаропат-апа, те, кто помогал обслуживать гостей на свадьбе. Мужчин было мало, в основном женщины. Только матери нигде не было видно. Заприметив Вали, который сидел на бревне за перевернутым казаном в самой глубине двора, я помянул его пальцем.

И вот Отин-хола, да-да, та самая, которая уверяла, что Шаропат-апа воровка и что у нее нет совести, вместе с нами ходившая к гадалке, толстая Отин-хола выводит на порог невесту в белом шерстяном платке, который закрывает лицо. Но у стоявшей поблизости незнакомой женщины глаз оказался зоркий.

— Вай, до чего красива!— громко прошептала она.— До чего стройна, вместе с ложкой воды проглотить можно!

— Повезло этому рыжему,— вторила ей другая женщина.

Отин-хола кашлянула и громким голосом сказала:

— Ассалом алейкум, келин сало-о-ом!

¹ Той хана — дом, где устраивается свадьба.

² Келин салом — приветствия невесты.

Невеста слегка наклонила голову. Собравшиеся во дворе остались довольны.

— Пусть вам все идет впрок¹!

— Спасибо.

— Пусть живут счастливо!

Отин-хола снова откашлялась и еще громче произнесла:

— Ассалом алейкум, келин сало-о-ом!

При-ивет свекру,
Который щедр на подарки,
Который не пожалел денег,
У которого живот, как мешок,
А усы — закрученные!

Среди собравшихся раздались смешки. Усатый Израил-ака вышел из дальней комнаты с большой кошмой под мышкой, свернутой трубой. Важно прошествовал серединой двора и положил кошму к ногам невесты. Потом молодцевато подкрутил усы, и женщины загалдели, захохотали. Усатый Израил пожелал молодоженам счастливой жизни, прочел молитву.

Отин-хола еще раз прочистила горло:

— Ассалом алейкум, келин сало-о-ом!

Привет свекрови,
Бойкой и шустрой,
Как ее собственный язык,
Которая со свадьбы не возвращается
Без подарков никогда.
Слова которой вкусные,
Как масло,
А сама она
Лунолика!

Раздался взрыв хохота. Шаропат-апа покраснела, прошла сквозь ряды женщин и приблизилась к невесте. Поставила у ног ее с десятков больших фарфоровых чашек, одна в одной.

А Отин-хола продолжала:

— Ассалом алейкум, келин сало-о-ом!

Привет Зеби-апа,
Которая так замечательно играет на дутаре,
Которая доставляет всем нам радости!

¹ Возглас, выражающий одобрение.

Тетушка Зеби мужской походкой подошла к невесте. Из дому вынесли сверток. Тетушка Зеби отдала его невесте и похлопала ее по плечу:

— Будь счастлива, дочь моя!

Отин-хола огляделась по сторонам и продолжала:

— Ассалом алейкум, приветствует невеста! Привет сестрам мужа, которые одна другой умнее.

У Хакима не было братьев, только трое младших сестер. И каждая из троих поднесла невесте по две пиалушки. Невеста тоже перед девчухами не осталась в долгу, дала им подарки: одной духи, другой — полотенце, а самой младшей — Саиде — косыночку...

Отин-хола поправила платок на голове невесты и с удвоенной энергией продолжала:

— Ассалом алейкум, приветствует невеста! Привет соседкам, которые в поте лица трудились на свадьбе, которые и впредь будут помогать невесте, которые станут для нее опорой.

Только тут я заметил мать. Она была бледная и шла как-то очень неуверенно. Она направилась к невесте. Мне даже показалось, что она споткнулась у порога. В руках у нее не было ничего. Она медленно поднялась по ступенькам и чуть приоткрыла платок, скрывающий лицо невесты. Женщины во дворе зашептались:

— Что она делает?

— Разве так можно?

Видимо, Отин-хола это тоже не понравилось, и она сделала замечание:

— Тут ведь есть мужчины!

— Погодите,— голос матери дрогнул.

Она быстро начала снимать серьги с ушей невесты.

— Держите!— сказала она, протягивая их невесте. Затем сунула руку в карман своей безрукавки и вынула оттуда свои драгоценные золотые серьги в форме полумесяца. Трясущимися руками вдела их в уши невесты.

— Я ждала этого дня,— сказала мать, взглянув на Отин-хола.— Ох, как ждала.— С этими словами она наклонилась и поцеловала невесту в лоб:— Дай бог вам обоим много счастья!

Серьги так и заблестели в ушах невесты, которая стала еще краше. Женщины изумленно вскрикивали и выражали свое удивление:

— Вай-й-й-й!

— Неужто из чистого золота?

— А что, думаете, фальшивые?!

— Есть, оказывается, и такие соседки на свете!

Опешившая на минутку Отин-хола закричала что есть мочи:

— Привет Пошше-хола, которая растит на радость нам своих сыновей-молодцев, которая щедра, как Хатам Той¹.

Мать вышла из толпы и встала в сторонке. Еще раз взглянула на невесту, удовлетворенно улыбнулась... В глазах ее стояли слезы.

МАТЬ РУССКОГО МАЛЬЧИКА

В один из дней только я вырулил машину за ворота, как вдруг заглох мотор. Проверил бензонасос — в порядке, и от генератора вроде ток поступает, а мотор не заводится, и все тут. Решил я действовать на «авось» и открыл карбюратор. А открыв, опешил и сразу почувствовал себя неопытным хирургом, который вскрыл живот больному, а что делать дальше — не знает. Я никак не предполагал, что в карбюраторе этом такая масса всяких деталей! Завинтил я в том же порядке, как разбираю, все винтики и гайки, но почему-то остались «лишние». Куда их девать, я не знал. Начал уже злиться, но неожиданно услышал, как позади меня скрипнули тормоза. Я оглянулся. Дверца кабины самосвала распахнулась, из нее вылез мой друг Вали и направился ко мне. Звали-то его на самом деле Валентин, но всем удобнее было называть его Вали. Вали шупленький, небольшого роста, но голова у него работает что надо. Лучшего шофера в нашей махалле не сыщешь.

— Где это ты пропадал! — сказал я обрадованно. — Сам бог послал тебя мне.

Он не спеша приблизился ко мне.

— В чем дело? — спросил, заглядывая в мотор.

— Вот, — сказал я, показывая ему винтики и гайки, которые держал в руке. — Гляди-ка, в штуковину величиной с яблоко не поленились напихать столько хлама! Инженеры, оказывается, тоже бывают бестолковыми!

Он поглядел на «отремонтированный» карбюратор и присвистнул.

— Не инженеры бестолковые, а сам ты дурак! — сказал он, пригладив свои курчавые волосы. — Ежели я возьмусь писать книжки, получится то же самое. Незачем братья за то, в чем ты ни черта не смыслишь.

¹ Хатам Той — легендарный герой, очень щедрый человек.

Наверное, вид у меня был настолько беспомощный, что Вали рассмеялся. Снял с себя поролоновую куртку, бросил ее на сиденье машины и приказал:

— Возьми отвертку!

Но работа не пошла.

— Кстати, я мамашку привез,— сказал он, головой кивнув на свой «ЗИЛ».— Вы пока поговорите, а я здесь помозгую.

А я и не обратил внимания сразу. Только теперь увидел, что в кабине самосвала сидит тетя Зеби. Мы подошли к машине. Вали вскочил на подножку, открыл дверцу и помог матери выйти. На ней был толстый платок, черная бархатная безрукавка, мне бросилось в глаза, что тетя Зеби стала совсем маленькая. Когда она приходила на поминки по маме, я этого не заметил. А какая она была раньше! Высокая, походка твердая, мужская, от прежней тети Зеби ничего не осталось. Выбившиеся из-под платка волосы были белы как снег. Лицо еще больше почернело и приобрело какой-то синеватый оттенок.

— Как увижу тебя, так Пошшу, сестричку мою, вспоминаю,— сказала она сдавленным голосом. Прижала меня к груди, похлопала худой рукой по спине. Дышала она тяжело.

Я с детства привык, что у тети Зеби за ухом всегда веточка райхона — базилика, и сейчас, мне показалось, от нее исходил запах базилика.

— Пойдемте,— сказал я, ведя ее к дому,— отдохните немножко.

— Можно, я посижу в комнате моей сестрички?

С трудом передвигая ноги, тетя Зеби вошла в комнату матери.

Она села у окна, где всегда сидела мать, и глухим дрожащим голосом прочитала длинную молитву.

— Таков этот мир, сыночек,— задумчивым голосом сказала тетя Зеби.— Все уходят друг за другом...

— Как ваше здоровье, хола?— спросил я, глядя на осунувшееся лицо ее, на дрожащие смуглые руки.— Внулата небось подросли?

— Слава всевышнему, у моего сыночка много детей. Молюсь сразу за шестерых внучат. Хоть и один у меня Валиджан, а десятерых стоит.

Тетя Зеби не спеша прихлебывала чай и посматривала на дутар, двухструнный щипковый музыкальный инструмент в бархатном чехле, висевший на гвозде,

вбитом в стену. Мать очень берегла этот дутар, говорила, что это память об отце, и хранила его как зеницу ока. На меня сразу же нахлынули воспоминания детства, я вспомнил, как тетя Зеби когда-то играла на дутаре, и спросил:

— Вы все еще играете?

Тетя Зеби грустно улыбнулась.

— Где уж мне играть на дутаре, сынок. Рука, проклятая, трясется.— Она на минуту умолкла и задумчиво продолжала:— Позавчера сон видела, будто сидим мы с сестричкой где-то, а где — так и не поняла. И будто я играю на дутаре.— Она горько рассмеялась.— Странная жизнь у человека, оказывается,— сказала она, вздыхая.— Все бегаешь, суетишься, стремишься к чему-то, а пока добьешься своего — уже и смерть подходит.— Дрожащими руками она погладила колени:— Стоит немножко похолодать, ноги пухнут. Валиджан обещал купить ичиги¹, за ними и собрались, да по дороге дай, думаю, заеду к сестричке.

Я снова протянул ей пиалу с чаем, но тетушка Зеби покачала головой.

— Хватит, сынок, пойду я, пожалуй.

Когда мы вышли на улицу, Вали сидел в моей машине и проверял мотор.

— Все в порядке,— сказал он, высунув голову из окошка.— Только больше сам не копайся, черт тебя дерит.

Вдвоем с ним мы усадили тетю Зеби в кабину. Вали сел за руль, и самосвал с ревом рванулся с места. Когда он скрылся за углом, на меня опять накатили воспоминания...

Не было среди нас мальчишки, который не боялся бы тетушки Зеби. Мужского сложения, рослая, загорелая, крупный нос с горбинкой, зычный голос, уверенная походка — все это делало ее непохожей на других женщин. За ухом у нее постоянно красовалась веточка райхона, благо в ее дворике, у самого берега Дархана, райхон рос так бурно, как нигде больше.

Когда я увидел тетушку Зеби впервые, то очень перепугался. Должно быть, тогда я был совсем еще маленьким. Как-то мать повела меня к ней, зачем — не помню. Помню только, что сидели мы у нее долго, а я не

¹ Ичиги — сапожки без твердого задника и каблука, с мягкой подошвой.

переставая капризничал. Как ни старались обе женщины, а успокоить меня не могли. Тогда тетушка Зеби рассердилась.

— Или ты замолчишь,— пробасила она,— или я сейчас же упрячу тебя в свои штаны!— при этом сделала такое свирепое лицо, что я вмиг лишился голоса.

Больше всего на свете тетушка Зеби любила своего рыжего, кудрявого, голубоглазого русского мальчика — Вали. На какое бы торжество она ни попадала, всегда потихоньку бросала в широкий рукав платья конфеты, плоды джиды и приносила своему любимцу. А рукав ее был так широк, что тубетейка Вали быстро наполнялась всякими лакомствами. Вали не был жадным, и всем, что приносила мать, он делился с нами... Но не дай бог кто-нибудь обидит Вали! Хоть пальцем тронет. Тетушка Зеби гневно набрасывалась на мать обидчика: «Ты, словно коза, каждый год по ребенку рожаешь, а он у меня один-единственный!— горланила она.— И если твой хулиган посмеет еще раз обидеть его, руку ему оторву и в огонь брошу. Так и знай!»

Очень любила тетушка Зеби своего сына. Да, собственно, сыном он ей и не был. Отец рассказывал, что, когда в Узбекистан привезли эвакуированных детей, каждая семья считала своим долгом взять к себе хотя бы одного ребенка. Тетушка Зеби тоже пошла за ребенком, но ей отказали: мол, одинокая, сама в помощи нуждается. Тогда тетушка Зеби стукнула кулаком по столу и такой скандал закатила, что в конце концов ей и отдали этого самого Вали.

Хоть тетушка Зеби и была одинокой, она ни в чем не отказывала Вали. Даже угощение устроила в честь Вали, сварила плов на всю махаллю. Вали учился со мной в школе, неплохо учился, особенно по математике, вот только с узбекским языком был не в ладах. Никак не мог выговорить узбекские буквы «к» и «г». Наша симпатичная учительница Рисолат-апа, зная это, не очень мучила его.

Однажды в школу нагрянула комиссия из четырех человек. Они расселись на задних партах. От волнения у Рисолат-апа дрожал голос. В классе стояла мертвая тишина. Вдруг распахивается настесь окно, и раздается зычный голос тетушки Зеби:

— Вали, на, возьми хлеб!

А Вали всегда сидел на парте возле окна. Все разом повернули головы в его сторону. Вали покраснел как по-

мидор. Не зная, что делать, он отчаянно замахал руками, чтобы тетушка Зеби ушла, но та, ничего не понимая, продолжала свое:

— Ну, бери же, а то руку обожгла!— сказала она сердито и протянула в окно две ржаные лепешки. В классе запахло свеженпеченным хлебом.

Рисолат-апа на мгновенье замерла, а затем кинулась к окну.

— Что же вы делаете, хола?— сказала она, чуть не плача.— У меня урок. Ведь это же школа.

— И сама знаю, что школа! Не мечеть же!— Голос тетушки Зеби набирал силу.— Мальчик мой утром ушел, даже чаю не выпил. Что ж, ему голодным сидеть, что ли?

Рисолат-апа взмолилась:

— Тетушка, милая, комиссия у нас.

— А что, комиссия хлеб не ест? Пусть мой мальчик поумнеет на один час позже. Если комиссия, то он должен сидеть и слюни глотать, да?

В классе, где до сих пор царила мертвая тишина, раздался гомерический хохот.

— Вон и комиссия твоя смеется!— Тетушка Зеби просунула голову в окно.— Бери, сынок, ешь, не стесняйся.

...А однажды наш джурабаши ударил Вали за то, что он отказался пасти его корову, и у того пошла кровь из носа. А на следующий день мы сидели под тенью ив, отдыхали, когда на краю нашей площадки для игр показалась тетушка Зеби.

Той тронул за плечо джурабаши.

— Ты пропал! Тетушка Зеби идет, беги!

Джурабаши вытаращил глаза. Поднялся во весь рост, а затем махнул рукой и опять улегся на шинель.

— А что она мне сделает? Сама вон еле ноги передвигает.

И правда, тетушка Зеби шла с трудом. Опираясь на палку, которую держала в руке, и через каждые два шага останавливалась. Прихрамывала.

— Похоже, ногу подвернула,— сказал наш джурабаши.

Тетушка Зеби, кряхтя, подходила все ближе. Но когда осталось до нас шагов пять, куда только подевалась ее хромота. Высоко подняв палку над головой, она в два прыжка очутилась перед нашим вожаком. Одновременно с хрустом палки мы услышали истошный вопль джурабаши.

— Вот так,— пробасила тетушка Зеби,— будешь знать!— Она еще раз ударила джурабаши по шее.— Вот так тебе, в следующий раз не будешь пускать кровь из носу тем, кто младше тебя.

Джурабаши никак не мог вырваться из рук тетушки Зеби.

— Ой! Хватит, мама!— Вали вцепился руками в палку.

— Я больше не буду!— Джурабаши обхватил руками голову.— Милая тетушка! Не буду больше, голову даю на отсечение, что не буду!

— Мама!— Вали с мольбой во взгляде смотрел на мать.— Не надо!

Тетушка Зеби отшвырнула палку.

— Что, мой сынок слуга тебе, что ли? Разве для того я его растила, чтоб он пас твою скотину?!

...С тех пор предводитель наш заметно присмирел. На третий или четвертый день после этого происшествия он принес большущую тыкву, покрытую плесенью. Усевшись под ивой, разрезал тыкву на две половины и особой металлической ложкой с зубчатыми краями стал вычищать ее нутро. Затем сделал зазубрины по краям корки и соединил половины, получился полый внутри шар.

— Что ты собираешься делать?— спросил Той, утирая нос.

— Хочу повесить это тебе на нос!— пробурчал джурабаши.— Чтоб ты больше не утирал его.— Затем отложил тыкву в сторону и приказал Тою:— Придешь сюда, как стемнеет. И ты тоже,— сказал он, указывая на меня пальцем.— Ходжа все равно не сможет прийти. Отец его не отпустит.

— А зачем?— спросил я, ничего не понимая.

— Покажу вам цирк.

— А Вали, разве Вали не придет?— сказал я, жестом указывая на сидящего неподалеку Вали, который мастерила свисток из ветки ивы.

— Нет,— джурабаши резко качнул головой.— Он боится свою мать. И помните: кто не явится, тот трус!

После ужина я под шумок улизнул от играющих в прятки старших братьев на нашу площадку. В темноте под ивой сидели Той и джурабаши. В руках у джурабаши была все та же тыква. Только теперь она походила на человеческую голову, в ней были проделаны дырки, похожие на рот, нос. Почему-то пахло керосином...

— Зачем притащил своего пса?— буркнул джурабаши. Гляжу, действительно под ногами у меня путается, виляя хвостом, моя собачонка.

— А ты спроси у нее самой, чего она за мной увязалась,— буркнул я.

Джурабаши поднял с земли кусок земли и запустил им в собаку. Та с визгом убежала.

— Зачем ударил?

— Будет мешать!— со злостью сказал джурабаши.— Пошли, а то можем опоздать.

Мы с Тоем нехотя поплелись за ним. Шествуя гуськом, добрались до берега Дархана. Арык здесь делал поворот, и неподалеку был мостик, сооруженный из веток и обмазанный глиной. Пройдя по мосту, мы очутились на другом берегу Дархана. Здесь густо росли плакучие ивы. Было темным-темно, и почему-то я испугался.

— А что мы будем делать?— спросил я, стараясь не выдать страха.

— Заткнись!— Джурабаши резко поднес к моему носу кулак, который явно пахнул керосином.— Пикнешь, столкну в воду.

В это время издали донесся звук чьих-то шагов.

— Идет!— прошептал джурабаши. Он быстро снял верхнюю половину тыквы. Теперь стало понятно, откуда пахло керосином: внутри тыквы лежала тряпка, обильно смоченная керосином. Джурабаши вынул из кармана спички, зажег одну и поднес к тряпке. Она вспыхнула. Ловким движением он соединил обе половинки тыквы и бросил в воду. По воде, покачиваясь, поплыла «голова», из «рта» и «носа» ее вырывался огонь. Я разгадал замысел джурабаши. И узнал шаги: они принадлежали тетушке Зеби. Хоть и было темно, я узнал ее широкий шаг. Пока я пришел в себя, она подошла к мостику. Увидев плывущую по воде огнедышащую «голову», остановилась как вкопанная.

— Аллах!— прошептала она и уселась прямо на мостике.— Бис-бис-бисмило...— произнесла она, заикаясь. От ужаса голос ее стал тоненьким. Пошатываясь, она осторожно поднялась с места и крикнула что есть мочи:— Люди!

Я сорвался с места.

— Не бойтесь, хола!— крикнул я.

Но джурабаши крепко схватил меня за рукав и зажал мне рот пахнувшей керосином ладонью. Меня затошнило.

— Отпусти, дурак!— прохрипел я.— Все равно все расскажу!

— Только попробуй!— Джурабаши сунул мне под нос кулак.— Я тебе покажу тогда!

Той, который смотрел на происходившее изумленными глазами, сердито махнул рукой и молча пошел прочь.

На следующее утро мать поведала отцу:

— Зеби-апа, бедняга, слегла. Говорит, нечистую силу видала, якобы напала на нее нечистая сила, огонь изо рта испускала. А может, ей все это померещилось...

Отец резко сказал:

— Какая там еще нечистая сила! Кто-нибудь, проклятый богом, напугал ее, наверное.

— Ой, бедняжка! Только этого ей не хватало!— сочувственно сказала мать.— Будто мало ей своего горя...

Я втянул голову в плечи и прикусил язык, будто я во всем был виноват.

Только через неделю я узнал, что за горе у тетушки Зеби. В тот день в саду Хаджи-буви собрались женщины приготовить сумалак. Это настоящий праздник. Под цветущим урюковым деревом расстелили палас, каждый принес что мог, женщины верещали, как воробьи, перебивая друг дружку, а мы, дети, тоже были настороже, чтобы не упустить момент, когда начнут раздавать сладкую патоку, приготовляемую из пшеничного солода и муки. Тогда мы с Вали только придумали новую забаву. Находим толстую железную проволоку, загибаем ее конец в виде буквы «ч» и катим с помощью этой немудреной закорючки железный обруч от старой бочки. Обруч звенит тем громче, чем быстрее мы бежим. А если захотим, чтобы он вообще не звенел, так это проще простого: его надо всего лишь окунуть в воду. Здорово!

Вдруг мать, которая сидела рядом с тетушкой Зеби, поманила меня пальцем.

— Пойдите вместе с дружкой,— сказала она тихо,— и принесите дутар из отцовской комнаты.

Я стоял в нерешительности. Отец никому не разрешал притрагиваться к дутару, хранил его у себя в комнате, а иногда вечерами играл на нем «Дилхирож», «Кари наво» и другие классические мелодии. Как рассказывала мать, этот дутар изготовил для отца самый искусный мастер в городе.

— А если отец узнает?..— сказал я.

— Не узнает!— пробасила тетушка Зеби, махнув рукой.— Что я, съем его, что ли?

— Пошли,— сказал я Вали.

И мы побежали, грохоча нашими обручами.

— Будь осторожен, не сломай случайно!— крикнула мать мне вдогонку.

...Когда тетушка Зеби вынула дутар из бархатного чехла, он засверкал инкрустацией из перламутра. Она стала перебирать струны дутара, и галдевшие до того женщины тут же умолкли. Удивительно, что и я, прислонившись к урючине, застыл с проволокой в одной руке и обручем в другой. В отцовских руках дутар звучал весело, на высоких нотах. А теперь, когда играла тетушка Зеби, он словно рыдал. Будто тетушка Зеби вовсе и не играла, а струны сами стонали. Женщины замерли словно зачарованные, и над садом, над пышно цветущими деревьями, над бледно-розоватыми цветами урюка, над низенькой крышей дома Хаджи-буви, на которой атели маки, разливалась в воздухе нежная, словно луч света, мелодия.

Тетушка Зеби откашлялась пару раз и затянула песню. Ее мужской басовитый голос, когда она запела, оказался до того приятен, что я изумился. Нет, голос ее не сделался тоньше, вовсе нет. Просто она пела так сдержанно, с таким старанием в голосе, что у меня мурашки побежали по телу.

Те, улицы, по которым мой возлюбленный пойдет,
я подмету своими волосами.
А если поднимется пыль,
я полью их своими слезами...

Дул нежный ветерок, бесшумно опадал цвет урючины, тихо колыхалась трава под деревьями. Почему-то казалось, будто вся природа замерла на миг и все-все кругом смолкло, чтобы внимать звукам вот этого дутара, словам вот этой песни. Когда вспоминаю эту картину, думаю всегда об одном. Позже я в своей жизни слышал много песен и о любви, и о верности. Но никогда я не слышал песни о женской преданности лучше, чем та, что пела тетушка Зеби.

Тетушка Зеби, полузакрыв глаза, начала новую песню.

Милый сынок мой, родненький мой, где ты,
дай о себе знать.
Я охвачена печалью, глаза мои в слезах,
все, что пью, для меня яд.

Увядаю я с каждым днем, думаю лишь о тебе.
Свет погас в моих глазах,
устала высматривать тебя у дороги.

Да неужто это та самая тетушка Зеби, которую все мы боялись, разбежались врассыпную при одном виде ее? Неужто это та самая грубая, всегда сердитая тетушка Зеби? Неужто в сердце матери Вали столько горя? Столько печали? Почему же мы ничего об этом не знали?

Из полужакрытых глаз тетушки Зеби выкатились две слезинки и застряли в морщинах у длинного носа с горбинкой. Она отложила дутар и концом широкого рукава вытерла глаза.

Все молчали, никто не решался первым нарушить это тягостное молчание.

— Хоть бы мой Кимсан вернулся,— вздохнула тетушка Зеби.

— Успокойтесь, милая,— тихо сказала мать.— Не говорите так, слава богу, вон у вас какой есть,— мама указала жестом на Вали, который стоял в сторонке.— Будет и в вашем доме той, а потом и много внучат.

Тетушка Зеби быстро взглянула на Вали. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ты поел, сынок? Не голоден, случаем?

— Поел,— тихо сказал Вали. Оттого, что мать плакала, у него испортилось настроение.

— Тогда поди поиграй.

Спустя некоторое время тетушка Зеби снова позвала нас.

— Отнеси-ка на место,— сказала она, укладывая дутар в чехол.— Чтоб от отца не досталось.

Я припустился домой с дутаром в одной руке, а другой продолжал катить обруч. Вали бежал рядом со мной и тоже катил обруч, но теперь мы бежали уже не так быстро.

В ушах моих все еще звучала песня, которую пела тетушка Зеби, и казалось, будто это не обручи гремят, а звучат струны дутара. Переговариваются между собой. А тетушка Зеби все поет свою песню: «Милый сыночек мой, родненький мой, где ты, пошли мне весточку...»

Когда мы переходили арычек, берега которого заросли травой, мой обруч подпрыгнул и покатился в сторону. Я бросился за ним и, поскользнувшись на траве, упал. Дутар ударился о землю... раздался треск. Конiec! И мелодия, и песня смолкли.

— Сломался!— промолвил я еле слышно.

Вали подбежал ко мне:

— Ой-е-ей! Теперь отец тебя прибьет!

Дрожащими руками мы вынули дутар из чехла. Сломалось одно ушко, которым натягивают струну.

— Что же теперь делать?— спросил Вали, мигая своими голубыми глазами.

Еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я только пожал плечами.

— Айда!— Вали потянул меня за рукав к своему дому.

Мы вошли во двор. Под навесом в углу двора нашли старенький сундучок. Вали порылся в нем и вытащил какую-то заржавленную железку.

— Вот!— торжественно произнес он.— Больше никогда не сломается.

Вместо сломанного ушка мы приделали железку, молча положили дутар в чехол и отнесли на место.

Вечером я обо всем рассказал матери. Она вся побледнела. Но что предпринять, она тоже не знала.

Тайна раскрылась не в этот вечер, а только через три дня. Отец, как всегда, крикнул из своей комнаты:

— Кто трогал дутар?

Через мгновение он вышел из комнаты с дутаром в руке.

— Оглохли, что ли? Кто, спрашиваю, сломал дутар? Что это такое?— сказал он, показывая «отремонтированный» Вали дутар.

Мать сидела с виноватым видом, старшие братья недоуменно переглядывались между собой. А я испугался, чувствуя, что сейчас что-то произойдет.

— Языки проглотили, что ли?— еще пуще разошелся отец.

— Зеби-хола играла,— тихо проговорила мать.— Были мы на празднике... она и говорит, принеси дутар, поиграю немножко...

Странно, но отец как-то сразу успокоился.

— Ладно,— сказал он уже тихим голосом.— Раз Зеби-хола играла, то ладно.— Он вошел в свою комнату и через некоторое время вышел оттуда с куском дерева. Начал стругать его ножом, ручка которого была из слоновой кости.— Если не сделать ушко из тутового дерева, оно обязательно сломается,— проговорил он тихо. И стал долбить деревяшку то с одной, то с другой стороны, вздыхая.— Иногда, думаю, и аллах не бывает

справедливым. Ведь случилось же такое, что в один день пришли похоронки и на мужа, и на сына.

— И не говорите,— поддержала его мать.— Человек все стерпит. В один день потерять мужа и сына!— Она на минутку задумалась и добавила:— Бедняжка, единственная опора ее — это Вали! Пусть сбудутся все ее мечты, связанные с этим мальчиком...

* * *

Я ехал в машине, которую только что завел мне Вали, и невольно свернул на улицу тетушки Зеби. Вот и дом Валентина. Перед домом с шиферной крышей стоит «ЗИЛ». На подножке сидят три пацаненка мал мала меньше и болтают ногами. Двое в тюбетейках, третий в фуражке... Я медленно проехал мимо, и из дома вроде бы донеслись звуки дутара... Кто знает, может, мне это просто показалось?

«ВЗЯТКА» НАИМА ПАРИКМАХЕРА

Человека этого я знаю с детства. Ничуть не преувеличу, если скажу, что с тех пор он не изменился ни на волосок. Хотя сразу должен оговорить, что он лыс, как бильярдный шар. Каждое утро в одно и то же время он проходит мимо наших ворот в сторону махаллинского гузара. И зимой и летом на нем длинный, не по росту, халат, ичиги, только летом изъеденную молью шапку сменяет напяленная на голову тюбетейка, смахивающая на котелок. В руке у него неизменная хозяйственная сумка, которая служит ему верой и правдой лет, по крайней мере, двадцать: у открывающейся со скрежетом молнии кое-где недостает зубчиков, ручки в нескольких местах залатаны. Мне отлично известно, что хранится в этой сумке: алюминиевая расческа с поредевшими зубьями, ручная машинка для стрижки, выдающая волосы пучками, выдавшая виды миниатюрная складная бритва да ремень для заточки. Словом, в ней хранится все имущество знаменитого на всю махаллю Наима-парикмахера.

Его старенькое, сколоченное из фанеры «заведение» стоит, как и двадцать лет назад, притулившись к махаллинской чайхане. Только от времени будка слегка скосбочилась. Лет пять назад напротив автобусной

остановки открылась новая застекленная парикмахерская. Но Наим-парикмахер работать в ней отказался. «Стану я работать с сопляками всякими, хватающимися за бритву грязными руками»,— ворчал он. А жители махалли, зная его сварливый нрав, помалкивали.

Только вот мать моя не переваривает Наима-парикмахера. Уж слишком часто он жалуется на свою старуху. То у нее ноги ноют, то радикулит прихватит. Вот и сетует Наим: ошибся в выборе жены. А моя мама, правда, не грубит человеку в лицо, но с укоризной качает головой: мол, на себя посмотри, подумаешь, мученик...

Так вот, ходил-ходил этот самый Наим-парикмахер мимо наших ворот и вдруг вспылал ко мне прямо-таки безумной любовью. А было это так. Сижу я как-то раз на скамеечке перед воротами, а он идет со своей знаменитой сумкой. Я поздоровался, он ответил, даже не глянув в мою сторону, но, сделав пару шагов, внезапно остановился, уставился на меня, моргая своими маленькими глазками с редкими рыжеватыми ресницами, и говорит таким звонким тоненьким голоском:

— Эй, никак это ты?

Я молча кивнул головой. Наим-парикмахер так обрадовался, будто повстречал близкого друга, с которым не виделся много лет. Быстрыми шажками приблизился ко мне, поставил сумку на край скамейки и пожал мне руку. Затем молитвенно провел руками по гладкому, лишенному растительности подбородку.

— А я это думаю, чего тебя в парикмахерской не видеть,— пропел он все тем же тоненьким голоском.

— Да некогда все...— ответил я.

— Слышал я, будто писателем ты стал, в газете работаешь, это правда?— Наим-парикмахер оглядел меня с головы до пят, словно желая сейчас же определить, на что я способен.

— Правда,— сказал я.

Он немножко отодвинул сумку и уселся рядом со мной. Потом достал из кармана халата красноватую тыквенную табакерку и положил щепотку насвая под язык.

— Браток, а нельзя ли и про меня в вашей газете написать? Или за это тоже в лапу надо дать?

— В какую еще лапу?

Парикмахер хитро прищурился и хихикнул:

— Не прикидывайся простачком, браток. Я все знаю. Даром, что ли, хвалили в газете Алима-паровоза?

Расписали, будто он первым паровоз повел. Вранье! Он всегда был всего-навсего кочегаром. Да если б даже и повел. Чего тут такого особенного? А Хаким-дылда? Он, видите ли, один из первых учителей. Мне ли его не знать! Вместе небось грамоту постигали у атын-айи¹ в закоулке. Ох и тупой же он был. За шесть месяцев «Хафтияк»² не мог одолеть... И они теперь персональные пенсионеры!

Выйдя из себя по причине полнейшего отсутствия справедливости на белом свете, Наим-парикмахер со злостью выплюнул насвай на землю и вытер подбородок тыльной стороной ладони.

— Уж ежели они имеют заслуги перед государством, то и мы не лыком шиты. Подумаешь, в Москве они бывали, мы, может, тоже там бывали. Их, стало быть, до небес превозносите, а про меня ни слова, так? А все потому, что нет у меня суюнчи³, да?!

Гляжу, Наим-парикмахер и впрямь не на шутку разгневался.

Сказать по правде, меня заинтересовало его прошлое.

— Отчего же не написать, можно... Вы... в Москве то когда бывали?

— Эге, браток, да разве ж я сейчас припомню. Пожалуй, в те времена, когда мы басмачей громили. Был я тогда молодым джигитом вроде тебя. Как сейчас помню, дрались мы тогда под Паркатом, здорово дрались, ну и вот, после боя вызывает меня вдруг командир да и говорит: «За то, говорит, что сражался, как тигр, поедешь вместе с Корноухим в Москву — «дилигатором!» Юнус-корноухий — это дружок у меня был, хоть и без одного уха, но славный был джигит. Ну, значит, сели мы с ним в поезд — и в Москву! За трое суток добрались. Москва, скажу я тебе, в самом деле большой город. Дома все высокие, этажей много, а улицы, ну прямо забиты троллейбусами, автобусами, а под землей поезд ходит.

Внезапно он умолк и испытующе посмотрел на меня:

— А ты, случаем, в Москве не бывал?

— Нет, — покачал я головой.

— Э, ежели в Москве не бывал, почитай ничего ты

¹ Атын-айи — местная учительница.

² «Хафтияк» — букварь в старых школах.

³ Суюнчи — подарок.

в жизни не видал!— Наим-парикмахер обрадованно потер руки.— Ну и вот, устроились мы, значит, в гостинице прямо у самой Красной площади. Базар под боком. Только на наш совсем непохожий. Все разложено по порядку. Молочный ряд в одном месте, лепешечный — в другом. Вот только сеной ряд неважнецкий. Мешочки маленькие. За прокорм одного верблюда больше полтинника запрашивают. Представляешь, за один мешочек такую уйму денег! Народу везде полно, и в парикмахерской не протолкнешься. Задумал я тогда: вот разобьем басмачей, открою здесь свою мастерскую... Да, так о чем это я? Ага, покутили мы тогда на славу. Целый месяц прожили с Корноухим в Москве в свое удовольствие. С самого утра — на базар, берем домашней сметаны, лепешек, инжиру, халвы и айда пить чай. На обед — шашлык, на ужин — лагман¹ или же машкичири на курдючном сале, словом, ели все, что душа пожелает. А вечером отправлялись в чайхану. Была у меня тогда перепелка, ну, прямо петух, я ее у Исмаила-плешивого приобрел за стоймость одного барана. Ну и прихватил с собой в Москву. Так от хваленых тамошних только перья летели. За два дня до нашего отъезда собирают, наконец, собрание.

— Где?— спрашиваю я, еле сдерживая смех.

— Как где, да прямо на Красной площади, где ж ему еще быть... Народу — тьма. Мы с Корноухим стали с краю. И тут вдруг, не поверишь, сбегает с трибуны один большой начальник, ко мне подходит, обнимает...

— Кто?

Наим-парикмахер замигал глазками.

— Что кто?

— Кто обнимал вас, говорю?

— Я же сказал, один большой начальник. Значит, обнимает он меня и целует в обе щеки. Эге, говорит, безбородый, как поживаешь, каким ветром занесло в наши края? Чего, говорит, делаешь-то здесь? Да вот, говорю, послал нас командир с Корноухим отдохнуть маленько после разгрома басмачей. Ого, говорит, ну ты даешь! Так ежели приехал, чего ж в гости-то не приходишь? Сегодня вечером не зайдешь — крепко обижусь: я как раз жене сегодня нарын² заказал. Спасибо, говорю, только некогда нам, как-нибудь в другой раз. Тогда,

¹ Лагман — по-особому приготовленная лапша.

² Нарын — узбекское национальное блюдо.

говорит, вот тебе от меня награда. Опять не поверишь, вытаскивает из кармана медаль и прицепляет мне на чапан!

— Что за медаль?

Наим-парикмахер поморщился даже, словно говоря: чего пристал к человеку?

— Почему я знаю! Я и сам хотел узнать потом, да только потерял ее, к несчастью.— Наим-парикмахер на минутку задумался, затем добавил:— Послушай, браток, ты ведь наш, махаллинский. Ну, что тебе стоит написать об этом, а?

— Идет!— сказал я, улыбнувшись.

— Дай тебе бог здоровья!— Он снова молитвенно провел руками по подбороку, взял сумку, отошел на несколько шагов и остановился:— А ежели дело это выгорит, браток, каждый день брить тебя буду бесплатно!

— Какое дело?

— Вот тебе на! Выходит, как говорится, я целый час играл на тамбуре для осла? Повторяю: ежели в газете меня похвалишь и назначат мне персональную пенсию, как Алим-паровозу, каждый день брить тебя буду. Слышишь, без боли и бесплатно.

Несколько дней спустя, вспоминая этот разговор, я от души смеялся, а после и вовсе забыл о нем. Но Наим-парикмахер не забыл, оказывается. Как-то раз подходит он ко мне на автобусной остановке и крепко хватает за руку. Специально, видимо, поджидал.

— Ну как?— спрашивает с нескрываемым волнением.— Написал, как договорились?

— Написал.

— Ага, вот это другой разговор!— Лицо Наима-парикмахера просветлело.— Как говорится, у настоящего джигита слово с делом не расходится. Когда напечатают?

— Скоро. Сейчас проверяют,— сказал я с серьезным видом.— Если все окажется правдой — статья выйдет, и вам назначат персональную пенсию, а если нет — отдадут под суд.

Наим-парикмахер захлопал глазками.

— Под суд? Кого под суд?!

— Вас и меня. Вас — за то, что сказали неправду, меня — за то, что я в это поверил.— Я повернулся и зашагал к дому.

Через мгновение сзади послышался тонкий голосок Наима-парикмахера:

— Эй, браток, погоди! Эй!

Я остановился.

— В чем дело?

— Послушай,— проговорил он со вздохом,— ежели так трудно ее напечатать, то бог с ней...

— Эге, это как же? Не могу же я взять обратно готовую статью.

Не успел я сделать и двух шагов, как Наим-парикмахер забежал вперед и преградил мне дорогу.

— Браток!— взмолился он.— Попробуй замни это дело, ну что тебе стоит, каждый день брить тебя буду по два раза. Ну, сделай одолжение, братишка!

— Но почему же? Чем плохо получать персональную пенсию?

— Да ладно! Бог с ней, с этой пенсией. Как говорится, бедность — не порок. Замни ты это дело. А я своему слову хозяин. Сказал, каждый день по два раза брить тебя буду, и сделаю. На дому...

Я пожал плечами и нахмурился, будто решал очень сложную задачу.

— Ладно, попробую. Только не так просто...

В тот день парикмахер проводил меня до самого дома. Проводил, да, видимо, так и не успокоился. Поздно вечером раздался стук в дверь. Открываю и вижу: стоит на пороге Наим-парикмахер и держит в руках что-то, завернутое в вышитый поясной платок.

— Это еще что?— удивился я.

— Поешьте, пока горячее!— протянул он мне узелок.— Машкичири. Сам приготовил.

— А, как в Москве?

— Да нет, московская была получше! На курдючном сале... Не откажите, для вас старался.

Делать нечего, взял я подношение парикмахера, чтобы не обидеть его.

Должен признаться: машкичири была отменная. Не зря, видно, хвастался Наим-парикмахер.

Когда я с аппетитом наворачивал кашу, зашла мать. С удивлением посмотрела, спросила:

— Что это?

Я улыбнулся:

— Взятка.

— Шутишь?— улыбнулась мать.

— Нет, нисколько! Наим-парикмахер дал мне взятку.

К моему удивлению, мать вдруг нахмурилась.

— Что ж,— сказала она удрученно.— Большие вятки начинаются с маленьких.— Помолчав немного, добавила:— А ведь отец не учил тебя таким вещам.

Смотрю, мама и впрямь обиделась. Appetit у меня пропал. Вынес посуду на кухню.

Прошло много времени. Почему-то Наим-парикмахер до сих пор не идет за посудой. Впрочем, слышал я, что больше не заводит он прежних разговоров в чайхане: дескать, Алим-паровоз такой, Хаким-дылда — сякой, и о том, что положена ему персональная пенсия.

ХОДЖА

В детстве у всех выпадают зубы. У меня было не так, как у всех. Мой первый зуб не выпал, его просто выбили. И причиной этому стал Ходжа.

Я и сам не знаю, почему я так любил его. Может, оттого, что он очень тихий. А может, потому, что глаза его все время были очень грустными. Так, как он, смотрит только человек, который очень хочет что-то сказать, но не решается. Именно такие глаза и были у Ходжи.

В выходные дни отец с матерью ставили посреди хонтахты за завтраком самовар, оставшийся еще с николаевских времен, и долго беседовали. Однажды отец рассерженно сказал:

— Вообще-то, скверная женщина эта Рано! Вон Эгамберды же вернулся цел и невредим. Нечего было ей хвостом вертеть, сидела бы дома и ждала мужа!

Мать сидела в задумчивости, уставившись в одну точку. В глазах ее я увидел печаль.

— Они и раньше не ладили друг с другом,— сказала она, как всегда, тихо.— Но все равно нехорошо получилось. Бедный мальчик остался сиротой при живых родителях.

Я понял, что говорят они о Ходже. Когда отец его ушел на фронт, мать сбежала к другому в город Чирчик.

Хотя я и не понял истинного смысла маминых слов «сирота при живых родителях», мне стало очень жаль Ходжу. И чем больше я его жалел, тем сильнее ненавидел его мать.

Ходжа жил с отцом и бабушкой в домике с крошечным двориком. Эгамберды-ака — человек очень сердитый, вспыльчивый. Он всегда ходит в коричневом ки-

теле с блестящими пуговицами. Заикается. Левая рука его висит как плеть. Как рассказывал Ходжа, целый год после войны отец пролежал в большой больнице, которая называется «госпиталь». И когда врачи, посоветовавшись, решили отнять у него руку, он кричал, что всех перестреляет, и они, испугавшись, оставили ее. Он говорил, что у отца есть пистолет. И будто отец грозился, как увидит мать, прострелить ей лоб...

В тот день я, как обычно, со своей козой, а Ходжа с телятником пришли на пастбище. Моя коза была тихая, но с одним недостатком — давала сосать вымя своим козлятам. Поэтому мать надевала ей на вымя мешочек. А теленок Ходжи, где только увидит тряпку, начинает жевать ее. Все бы ничего, если бы в тот день он не стал жевать шинель нашего джурабаши. Бегали, веселились, как вдруг джурабаши истошно завопил.

— Моя шинель! Он съел мою шинель.

С этим воплем он побежал к телятнику, который что-то жевал в свое удовольствие. В руке у джурабаши была большая палка. Все мы застыли на месте, джурабаши души не чаял в шинели, которую отец его привез с войны, зимой носил ее, подвернув полы, и летом не расставался с ней. Джурабаши подскочил к телятнику и с размаху ударил его палкой по шее. Теленок, высоко задрав хвост, кинулся прочь, все-таки не выпуская рукав шинели. Джурабаши ухватился за полу шинели и стал тянуть что есть силы к себе. Оказалось, теленок сжевал уже порядочно, и джурабаши вытащил у него изо рта только половину рукава, мокрого от слюней.

Когда мы подошли, джурабаши сидел бледный и тарасил глаза на то, что осталось от рукава шинели. Увидев Ходжу, он пришел в бешенство.

— Чего уставился?— крикнул он с яростью.

Ходжа, будто не теленок, а он был во всем виноват, стоял красный, виновато поглядывая то на джурабаши, то на испорченную шинель.

— Что я теперь буду делать с ней?!— Джурабаши швырнул шинель наземь.— Твоя скотина похожа на тебя! А в роду твоём все, как один, испорченные, и мать твоя такая же, сбежала от тебя в город, а к кому — все знают.

Некоторые ребята постарше захихикали. Той, ничего не понимая, как всегда, утирал нос.

Вспомнив услышанные утром слова отца, я в ужасе перевел взгляд на Ходжу. Он оглядел всех своими пе-

чальными глазами и внезапно кинулся на джурабаши. Но в тот же миг отлетел в сторону от сильного удара кулаком.

— Чего ты бьешь его?— возмутился я. И, как учили меня старшие братья, изо всех сил сжав кулаки, побежал к джурабаши.

Но он даже не потрудился ударить меня. Просто двинул ладонью по моей челюсти, и я упал навзничь. Во рту стало солоно. Когда я открыл глаза, надо мной стоял Той.

— Вставай,— сказал он, поднимая меня за руку.— Больно, да?

Я поднялся, отряхивая пыль с вельветовых штанов.

— Убирайтесь отсюда оба!— зло сказал джурабаши.— С сегодняшнего дня будете пасти свою скотину в джидовой роще.

Через несколько минут мы — Ходжа, ведя своего теленка, а я свою козу — вошли в заросли джиды. На краю джидовой рощи протекал Конкус. Мы уселись на его берегу.

— У тебя рот в крови,— сказал Ходжа, уставившись мне в лицо.

Я вытер рот тыльной стороной ладони, и она стала красной. Я сплюнул кровь и почувствовал, что передний зуб еле держится. Только тронул его пальцем, как он тут же выпал.

— Что, он выбил тебе зуб?— Ходжа так жалобно взглянул мне в глаза, что я позабыл о всякой боли.

— Сам выпал,— сказал я, разглядывая зуб.

Я хотел было уже выбросить его, но Ходжа поймал меня за руку:

— погоди! Сядь вот так.— Он усадил меня спиной к воде.— Закрой глаза и скажи три раза: «Забери зуб костяной, а верни зуб золотой». Если теперь бросишь зуб через плечо в анхор, то у тебя вырастет золотой зуб.

Я сделал так, как посоветовал Ходжа.

— А теперь вымой рот,— сказал он, не сводя с меня глаз.— Вот увидишь, до осени у тебя вырастет золотой зуб.

Потом мы долго сидели молча, глядя на воду. Вода текла бесшумно, на противоположном берегу недвижимо стоял камыш, время от времени ласточки на лету касались клювом воды и тут же взмывали ввысь. Я чувст-

вовал, что Ходжа думает о том, что сказал джурабаши, но не знал, как утешить, что сказать.

— Большая, а?— сказал я, кивая на анхор.

— Разве это большая?— В глазах Ходжи внезапно загорелись огоньки.— Есть такая огромная река Чирчик, в ней даже акулы водятся.

— Ты сам, что ли, видел?— спросил я, не веря.

— Да знаю я!— Ходжа мечтательно вздохнул:— Я запросто могу переплыть ту реку.

— Ты ведь плавать не умеешь!

— Мать научит.

— А если акула тебя съест?

— Подумаешь, акула! Скажу отцу, он ее из пистолета пристрелит.— Сказал это и, видимо, почувствовал, что чересчур уж загнул, умолк и отвернулся. Затем посидел с минутку, не отрывая глаз от воды и вздохнул:— Пойдем поглядим, где скотина. Чтобы нечаянно не забралась в кустарник...

На следующий день, видать, мои старшие братья дали взбучку джурабаши, и он позволил мне пасти козу на пастбище.

— Но этому Ходже скажи: если он снова приведет сюда своего бешеного телка, я ему челюсть сломаю!— сказал джурабаши, погладив синяк под глазом.

Мне, конечно, очень хотелось пасти свою козу на общем лугу, но я не мог оставить Ходжу одного в джидовой роще. Ничего, там тоже травы навалом. Мы лишились футбола и «чижика», в которые играли каждый день. Но зато с Ходжой никогда не было скучно. Он столько всего, оказывается, знает! Далеко, очень далеко отсюда, среди гор, есть город под названием Чирчик. Такой большой, что куда там до него Ташкенту! И протекает там такая огромная река, что по ней плавают корабли величиной с дома многоэтажные. Стоит лишь маме Ходжи захотеть, и она покатает нас на этих кораблях. А если мы пожелаем, то можем взобраться и на высокие горы. Оттуда виден весь мир. И наш дом, и дом Ходжи — словом, все-все!

Все это меня устраивало, только вот я никак не мог понять одной привычки Ходжи. Говорит он, говорит и вдруг умолкает. Сидит, не сводя глаз с воды, и думает, думает о чем-то. В такие моменты становилось скучно.

Однажды я потерял его.

Вспотел, пока нашел свою козу, которая залезла в

самые заросли джидовой рощи. Гоню ее в одну сторону, а она норовит убежать в другую. Лезет в самую гущу и, словно издеваясь, виляет хвостом, блеет. Хочу подойти к ней, но колючки джиды колются, царапаются. Когда наконец я ее поймал и пригнал на открытую поляну, солнце уже зашло. Вижу, теленок Ходжу привязан к дереву, а его самого нет. Побегал я к берегу, где мы всегда сидели вдвоем. И там его нет.

— Ходжа-а-а!— закричал я.

Из джидовой рощи, на которую уже опустились сумерки, раздалось протяжное «а-а-а». Мне вдруг стало страшно. Старшие братья говорили мне, будто в зарослях джиды бродят злые духи. А что, если они и унесли Ходжу? И я опять закричал так громко, как только мог.

— Ходжа-а-а!

И вновь отозвалось эхо. Я как-то видел в какой-то книжке рисунок человека с шестью руками. В сумерках ветви джиды напоминали мне это чудовище. Эти «корявые руки» тянулись ко мне, преследовали меня. Я так перепугался, что даже не заметил, что бегу бо-сиком по тропинке, усыпанной колючками. Ветви джиды царапали мне лицо, было больно ногам, но я не мог остановиться.

Вдруг передо мной возник Ходжа.

— Где тебя носит?— спросил я его дрогнувшим голосом.

Ходжа крепко схватил меня за руку. Должно быть, он тоже перепугался, потому что весь дрожал.

— Не скажешь, а?— тихо сказал он.— Никому не скажешь, а?

Только сейчас я заметил стоявшую под прикрытием ветвей джиды женщину в черном платье.

— Мама!— сказал Ходжа умоляюще.

И тут я все понял. Мать Ходжи по-прежнему стояла замерев, как заколдованная.

Ходжа пристально поглядел мне в глаза и снова взмолился:

— Не расскажешь, а?

Я промолчал. Но тайны этой, я был уверен, не открою никому, даже своей матери. В тот же миг я понял еще одну вещь: мне надо сейчас же уйти отсюда, чтобы не мешать.

— Давай побыстрей!— сказал я и побегал к тому месту где был привязан теленок Ходжи...

Золотой зуб, который обещал мне Ходжа, не вырос и осенью. Но теперь думать об этом у нас не было времени. В школе начались занятия. Наш дом стоял по пути в школу, и Ходжа каждое утро заходил за мной. Если вы никогда не ели кукурузной лепешки, смоченной в козьем молоке, то как же многого вы лишились! Каждое утро мать ставила перед нами большую чашку козьего молока и кукурузную лепешку. Ходжа стеснялся, но мать не отпускала нас, пока мы не поедем.

Однажды Ходжа не пришел.

— Иди один,— сказала мать.— Сегодня, наверное, Ходжа не пойдет в школу.

Когда я вернулся из школы, то сразу понял, что в доме у нас гости. У ступенек, ведущих на веранду, стояли чьи-то новенькие, сверкающие лакированные туфли, а из дома доносился голос матери: она с кем-то оживленно беседовала. Я вошел в комнату, и первого, кого увидел, был Ходжа. Он сидел за хонтахтой, уставленной кишмишом и орехами. Рядом с ним сидела какая-то женщина, она внимательно слушала мою мать, выковыривала из скорлупы ядрышки ореха и клала их перед Ходжой. И хоть я не рассмотрел ее тогда в темноте, я сразу понял, что эта женщина — мать Ходжи. На мгновение я застыл на пороге. Может, оттого, что когда-то я возненавидел эту женщину, она представлялась мне безобразной. А она оказалась красивой, даже очень. У нее были красивые черные волосы, симпатичная родинка на лице и задумчивые глаза, так похожие на глаза Ходжи. И ей очень шло шелковое платье в полоску.

Она увидела меня и, будто я был взрослым, почтительно встала, обняла меня. В нос мне ударил запах духов. Я не очень привык к этому запаху, мать духами никогда не пользовалась. И у меня закружилась голова.

— Проходи, миленький,— сказал она, указывая на место подле себя.— Посиди немножко со мной рядом.— Она раскрыла сумку, вынула оттуда что-то, завернутое в желтоватую бумагу, и протянула мне.— На, роденький!

Я развернул бумагу, и глаза мои заблестели. Это была шоколадка, вся в квадратиках, напоминала тет-

радку в клетку. Я радостно вскинул глаза на Ходжу. В его глазах я тоже увидел искорки радости.

И тут случилось непредвиденное. Дверь с треском распахнулась, мать Ходжи вскочила с места, словно ее змея ужалила. На пороге стоял Эгамберды-ака в своем кителе с блестящими пуговицами, лицо его было бледно, он весь дрожал. Я окаменел от ужаса. Вот сейчас он вытащит из кармана пистолет и прострелит матери Ходжи лоб.

— Ты зачем п-п-пришла?!— проговорил он, заикаясь от ярости.— Тебе ч-что н-нужно?!— Все его тело била дрожь, и голова тряслась. Мне показалось, что шевельнулась даже его левая рука, которая всегда висела как плеть.— Ч-чего тебе надо, говори!— произнес он дрожащими губами.

Мать Ходжи стояла, прислонившись к стене, бледная, опустив голову. В страхе я взглянул на правую руку Эгамберды-ака. Нет, в ней не было пистолета. Внезапно он повернулся к моей матери.

— И не стыдно вам, апа!— сказал он, губы его по-прежнему дрожали.— И не с-стыдно вам з-з-заниматься сводничеством?

Молчавшая до этого мать сказала:

— Не стыдитесь нас, смертных, так хоть побойтесь всевышнего. Какая же я сводница, если помогла встретиться матери с сыном?— Отчего-то на глаза ее навернулись слезы.— Разве можно отделить ноготь от мяса? Разлучить родных людей — грех.

— Сама она и разлучила. Не я, а она,— Эгамберды-ака указательным пальцем здоровой руки, словно шилом, ткнул в свою бывшую жену.— В-вот кто р-разлучница!

— В жизни чего не случается, миленький,— сказала мать. Комок стоял у нее в горле.— Кто знал, что так выйдет. Кабы не война...

— Война!— Эгамберды-ака крикнул это с такой силой, что весь дом задрожал.— Я-я т-там к-кровь п-проливал, а она вал-лялась т-тут в ч-чужой п-постели! Ш-шлюха!

После этих слов мать Ходжи медленно нагнулась, взяла сумку и направилась к двери. Эгамберды-ака подался в сторону, будто она была прокаженной. Стоявший все это время молча Ходжа кинулся за матерью.

— Ма-а-ама!— В голосе его было тихое отчаяние. И я почувствовал, что он плачет, плачет беззвучно,

без слез. Да, в глазах его не было слез, он только умоляюще глядел на мать.

Мать медленно обернулась к нему. Тихонько наклонилась и поцеловала в обе щеки.

— Не огорчай отца,— сказала она и быстрыми шагами вышла из комнаты.

— Ма-а-ама!— крикнул Ходжа каким-то безнадежным, безжизненным голосом. Но вслед за ней не победил. Остался стоять посреди комнаты.

Эгамберды-ака постоял еще с мгновение и вышел, хлопнув дверью. Мать сжала губы и всхлинула. Подошла к Ходже, обняла его.

— Миленький ты мой!— сказала, глядя его по волосам.— Не плачь, мама еще придет.

В горле у меня что-то застряло, стало трудно дышать. Я почувствовал в руке что-то липкое. Это шоколад начал таять. Не зная, что делать, я протянул его Ходже.

— На, хочешь?

Ходжа молчал, в глазах его было нечто такое, чего я никогда не видел в глазах у своих сверстников, какая-то затаенная тоска.

Спустя месяц после этого происшествия отец Ходжи женился вторично. Как говорила моя мать, радости от этой свадьбы было так же мало, как от позавчерашней еды. Только когда тетушка Зеби заиграла на дутаре и запела своим низким, сочным голосом, в тойхане стало тихо.

Я отдала драгоценный камень ювелиру,
чтобы сделал он мне перстень.
Я отдала свое сердце возлюбленному,
чтобы стал он другом на всю жизнь!

Все были заняты сами собой. А моя мать, которая сидела в таванхане, там, где хранятся все подношения и угощение для гостей, то и дело подзывала к себе Ходжу и совала ему в карман то поджаренные пельмени, то конфеты.

После свадьбы Ходжа стал еще более неразговорчивым. Мать моя старалась чем-нибудь да обрадовать его, а он избегал ее. Тогда я не понимал того, что понял позже: чем глубже человек переживает свою боль, тем более гордо и независимо себя ведет.

Однажды утром, как обычно, Ходжа зашел к нам, через плечо у него была перекинута сумка с тетрадками. Как только мать увидела его, тут же заохала:

— Кто тебя побил? Чтоб у него руки отсохли!
Лица Ходжи было не узнать, все в синяках.

— За что?— спросила мать неизвестно у кого.— Раз-
ве мало у этого ребенка несчастий?

— Не били меня,— сказал Ходжа, пряча глаза.—
Я с лестницы упал...

По дороге в школу я осторожно спросил у него:

— Отец побил, да?

Ходжа молча кивнул головой.

— Мачеха постирала белье,— шепотом добавил он,—
и развесила его, а теленок сжевал ее платье.

— Плохой у тебя отец, да?

— Нет,— Ходжа резко покачал головой.— Отец не
любит ее, вот и сорвал все зло на мне.— И, будто дове-
ряя мне великую тайну, о которой никто никогда не
должен узнать, огляделся вокруг и сказал:— Отец мать
мою сильно любит...

Это был наш последний с ним разговор. Ходжа по-
чему-то ушел из школы после второго урока. Когда я вер-
нулся домой, матери не было. Вечером она пришла от-
куда-то очень усталая.

На следующее утро я, как обычно, подждал Ходжу.
Мать отчего-то прикрикнула на меня:

— У вас с Ходжой что, один пупок на двоих? От-
правляйся в школу.

Я промолчал. В тот день и учительница наша, Риси-
лат-апа, проверяя присутствующих, не назвала фами-
лии Ходжи.

В этот день мать почему-то не находила себе места
и была раздражена.

— Отведи-ка этого ублюдка проклятого домой,—
сказала она, отвязывая веревку, которой теленок Ходжи
был привязан к миндалю.

Я почувствовал что-то недоброе.

— А сам-то он где?

— Уехал. Ходжа уехал. Понял?!— Мать снова при-
крикнула на меня, как будто я был в чем-то виноват.—
С матерью своей уехал!

Я опешил. Гнал впереди себя теленка Ходжи и впер-
вые думал о том, что любил своего друга. Когда я при-
близился к их воротам, в сердце мое закрался страх.
Перед воротами Эгамберды-ака колот дрова. Брал за
один конец ветку урючины, укладывая ее на чурбан,
затем быстро хватал с земли топор и, приседая на кор-
точки, рубил с такой силой, что его левая рука, сви-

сающая как плеть, касалась земли. Затем бросал топор на землю и здоровой рукой тянулся за новой веткой... Я остановился в нерешительности.

Когда он выпрямился во весь рост, то увидел меня.

— Ч-что случилось? А г-где Ходжа?— спросил он, глядя то на меня, то на теленка.

— Ходжа уехал.— То ли от испуга, то ли от отчаяния голос мой дрогнул.— В Чирчик уехал.

Топор выпал у него из руки. Губы его дрогнули.

— За-зачем, з-зачем уехал?— простонал он. Затем прикрыл ладонью лицо и бессильно опустил на чурбан. Правое плечо взрагивало.

Я впервые в жизни видел, как плачет взрослый мужчина. Насколько я ненавидел его вчера, когда узнал, что он побил Ходжу, настолько теперь мне было его жаль. Я помчался домой. Бежал и плакал, сам не знаю почему, не мог сдержать слез.

Я никогда больше не видел Ходжу. Порой он снился мне, стоял и смотрел на меня своими задумчивыми глазами. Весной на востоке появлялись очертания белоснежных гор, и всякий раз, когда я видел их, начинал мечтать. Там, посреди этих гор, есть город Чирчик. Он такой огромный, этот город Чирчик, что Ташкент по сравнению с ним ничто. Там течет такая огромная река, что в ней даже акулы плавают. И в том городе живет мальчик по имени Ходжа. В мире нет мальчика лучше, чем он. Ходжа запросто переплывает эту реку. Взбирается на те горы, и весь мир перед ним как на ладони. Он и меня видит. Вот только я никак не могу увидеть его...

Через много лет, заканчивая школу, я услышал о Ходже. Как-то после ужина отец неожиданно сказал матери:

— Бедняга Эгамберды извелся весь. Из Чирчика приехал. Сына, говорит, поймали, когда он лез в чужой карман.

Мать воскликнула: «А?!»— и пиала выскользнула у нее из рук.

Я оцепенел. Нет, не мог я в это поверить. Ложь, все это ложь! Нет в мире парня лучше Ходжи.

СВЕТ ЛУНЫ — ОТ СОЛНЦА

Случается же такое: я простудился в зной, в самый разгар лета. Был на даче, искупался в речке. А когда

возвращался домой, опустил все четыре стекла в машине. К вечеру занемог, подскочила температура.

Утром поехал в районную поликлинику. Очередь длиннющая. Вдоль стен узкого коридора сидят на стульях больные, кто держится за голову, кто поглаживает шею. С трудом прошел я сквозь этот «строй» к нужной двери. Народу здесь было особенно много. Голова у меня кружилась, и я какое-то время постоял прислонившись к стене. Наконец одно кресло освободилось, и я присел на его краешек. Возле меня сидела молодая женщина с огромными глазами. Ее стриженные волосы лежали красивой волной и придавали ей особую прелесть. Разговаривая со своей соседкой, женщиной средних лет в платке, она то и дело встряхивала ими. Я невольно слышал их разговор, поскольку сидел рядом.

Красивая женщина, нервно поигрывая золотой цепочкой, которая украшала ее шею, вздохнула:

— Черт побери, опаздываю. Мураджан-ака обещал прислать за мной машину. Наверное, заждался уже...

— Мураджан... Муж, что ли?— нерешительно спросила женщина в платке.

— Муж?— Красивая женщина поморщилась, будто в рот ей попало что-то горькое. Лицо ее прямо-таки перекосилось.— Пусть сперва научится ездить на подножке автобуса! Дождешься от него машины!

Женщина в платке смотрела на нее с минутку изумленными глазами. И все же женское любопытство взяло верх, и она переспросила:

— Тогда кто же он вам?

— Мураджан-ака?— Красивая женщина улыбнулась. Большие глаза ее сузились. Всем своим видом она словно вопрошала: «Да неужели вы его не знаете?»— Это наш начальник!— с достоинством ответила она.— Такой хороший человек, такой хороший! А мой кретин терпеть его не может. Ревнует. Мол, люди говорят, будто я в служебной машине Мурадждана раскачиваю часто. Лучше бы на себя поглядел, пьяница чертов!

— Пьет, да?— Женщина в платке сочувственно покачала головой.— Проклятое пьянство! Знать бы об этом раньше!

— Да нет, прежде он таким не был, сейчас стал пить как скотина. Говорит, что с горя!— Женщина махнула рукой.— Я все рассказала Мурадждану-ака, он да-

же рассердился. Разведись, говорит, пока дети гуськом не пошли, а я тебе кооперативную квартиру куплю.

Женщина в платке насторожилась:

— У вас есть дети?

— Дочка...

— Тогда не надо, сестричка,— покачала головой женщина в платке.— Как бы там ни было, ведь не насильно выдавали вас замуж, к чему же делать ребенка сиротой при живом отце, миленькая.

— Э!— Красивая женщина вновь принялась поигрывать золотой цепочкой.— Мураджан-ака...

Довольно! Эта красивая молодая женщина, которая втаптывала в грязь своего мужа, уста которой источали мед при одном упоминании имени «Мураджан-ака» показалась мне отвратительной. Во мне взыграло мужское достоинство, я разозлился. «А может, муж твой и в самом деле из-за тебя пристрастился к спиртному, может, он действительно пьет с горя!» Я знал, что если еще хоть минутку буду находиться рядом, то обязательно выскажу все это вслух. Я поднялся с места. Во-первых, неприлично вмешиваться в чужой разговор. Во-вторых, какое мне дело до личной жизни других людей? Я зажал пальцем пульсирующий висок и отошел. Захотелось покурить.

Когда я вернулся через некоторое время, из двери кабинета как раз выходила та самая, что заставила меня нервничать. Видимо, опасаясь, что ее заждались машина, она почти бежала по коридору. Я зашел в небольшой кабинет. За белым столом у окна сидел долго-вязый врач в очках с узкой оправой, халат его был распахнут.

— Раздевайтесь,— сказал он, что-то записывая в большущий журнал.

Я застыл посреди комнаты.

Врач нервно вскинул голову, пристально всмотрелся в меня и встал со своего места.

— Здравствуйте, домля!¹ Какими судьбами!— взволнованно сказал он.— Видим вас иногда по телевизору, а так вот — нет.— Он крепко сдвинул мою руку своими длинными крепкими пальцами.— Поражают меня некоторые люди. Вот только сейчас одна морочила мне голову с полчаса. Болезней у нее никаких, а просит вы-

¹ Домля — почтительное обращение к образованному человеку.

писать бюллетень. С какой стати?— Он улыбнулся, и глаза его за стеклами очков сузились.— А вы меня, кажется, не узнали! Я — Ариф.

Я никак не мог вспомнить, кто такой Ариф, но из деликатности кивнул головой.

— Ну да, конечно... Как поживаете?

— А ведь вы до сих пор не узнали меня!— Он дружески похлопал меня по плечу.— Я сын Рисолат-апа.— Была у вас учительница такая!

Вот теперь я вспомнил! Да, это действительно Ариф! Сын Рисолат-апа! Он и тогда уже носил очки. Наш джурабаши обзывал его Шапкур — страдающий куриной слепотой.

— Слышал, что умерла тетушка Пошша,— сказал он тихо.— Хотел прийти на поминки, да не нашел ваш дом. Здесь все так изменилось!

— Да, и правда изменилось,— так же тихо подтвердил я. Хотелось мне спросить: «А как поживает Рисолат-апа?»— но не решился. А вдруг она тоже умерла, так к чему бередить рану? Он прочел то, что я хотел спросить, по моим глазам.

— Мама умерла на три года раньше вашей...— сказал он, глядя в одну точку.— Она всегда говорила: «Дай бог мне увидеть хоть одного твоего ребенка». Не одного, троих вырастила... Мы потом снова переехали в Ташкент. Живем на Карасу¹.

Мы забыли, где находимся, и начали вспоминать былое. Как они уехали в Асаку, Рисолат-апа мечтала, чтоб сын ее стал врачом, и Ариф учился в Андижанском медицинституте...

Видимо, беседа наша затянулась, ибо бородатый старик, который беспрерывно кашлял, раза два проткрыл дверь и многозначительно поглядывал на нас. Мы вынуждены были расстаться. Я вышел с рецептом, который выписал мне Ариф. Машинально сел в машину, поехал, а мыслями давно уже был в своем детстве.

...Зима в тот год выдалась очень суровая. Даже плевки превращался в лед. Отец первый раз в жизни купил мне валенки. Хоть в них и нельзя кататься по льду, но они такие хорошие, теплые. Снег лежал глубокий. Когда я проходил там, где не было проторенной дорожки, он набивался мне в валенки. Наша учительница Рисолат-апа, жила чуть поодаль от нас, и поэтому

¹ Жилой массив Ташкента.

почти каждый день я возвращался домой из школы вместе с ней. Она носила ичиги с кавушами. Прокладывала дорогу в снегу, а я шел за ней следом.

Морозное зимнее утро. Я лежу, сунув ноги под сандал. Старшие братья ушли в школу. Мне — во вторую смену. Отец сидит на почетном месте¹, накинув халат, как и я, сунув ноги под сандал, и дремлет. Возле него — мать, голова ее обмотана теплым платком. Рядом с матерью стоит самовар. На круглом брюхе его какие-то странные рисунки. По словам мамы, это изображения старинных монет. На тарелку, что под носиком самовара, монотонно капает вода: кап-кап, кап-кап... Словно ходики идут. Окна разрисованы дедом-морозом. Что делается за ними — не видеть. Даже дверь покрыта инеем. Но около сандала тепло, приятно. Вставать не хочется. Сандал покрыт поверх одеяла еще старенькой скатертью, на ней несколько кусков черного хлеба, джида, сушеный урюк...

Вдруг со двора послышался лай нашей собачонки. Отец приоткрыл один глаз и вопросительно глянул на мать. Та только поднялась с места, как дверь с шумом распахнулась и в комнату вошла старшая сестра отца, а вслед за нею ворвался холод. Толстый пуховый платок тети, черное бархатное пальто и даже ресницы были покрыты инеем. Мама быстро подошла к ней и взяла у нее из рук большой узелок.

Отец тоже засуетился.

— Ну, ну! — сказал он.

Лицо его прояснилось. Но больше он ничего вымолвить не мог. Ибо во рту у него был насвай. Он поспешно приподнял одеяло, которым был покрыт сандал, и сплюнул туда насвай.

— Как себя чувствуешь, сестра? — сказал он, поднимаясь с места.

Тетя поцеловала меня в лоб холодными как лед губами и, подсев к сандалу, сунула руки под одеяло.

— Пропади он пропадом, этот холод! — ответила она, дрожа. — Аж пальцы окоченели.

Мама, чтобы заварить свежий чай, быстро вышла с самоваром. Отец, пристально глядя в глаза сестры, спросил:

— Все ли в порядке, сестра, не случилось ли чего?

— Ничего не случилось, ничего! Ты здесь валяешься,

¹ Место, которое занимает глава семьи или уважаемый гость.

греешься у сандала, и нет тебе никакого дела до того, какие тучи собрались над головой твоей сестры!

— Да что же случилось, в конце-то концов?— спросил отец настойчиво.

Тетя неожиданно расплакалась:

— Как много ждала от этого мальчика! Думала, кончится война, закачу ему такую свадьбу, а он...

Отец побледнел:

— Что с Афзалханом?

Я живо представил себе Афзалхана, такого же красивого, как и тетя, вернувшегося с фронта в шинели с блестящими пуговицами. Мать как вошла, так и застыла посреди комнаты, услышав тревожный вопрос отца.

— Что случилось?

— Это не бола, а бало!¹— Тетя всхлипнула, утирая нос кончиком платка.— Сколько раз я говорила ему: «Тебе уже тридцать лет. Два года как с фронта вернулся. И все не женишься. Что люди скажут?» А он все отговорками отделялся. Теперь я знаю почему. Боже мой, сколько девушек вокруг, любое дерево тряхни, сто девушек с каждого посыплется, а этот негодник вздумал жениться на женщине! Да и это бы полбеды, у нее еще и ребенок взрослый.

— А кто она?— в один голос спросили отец и мать.

— Кто бы, вы подумали? Оказывается, Рисолат! Он говорит, будто любил ее еще до того, как она вышла замуж. «Буду отцом мальчику». Так говорит. Вай, чтоб ты сдох, чем стать отцом какому-то щенку!— Тетя стукнула кулаком по столу так, что вся джида разлетелась.— Чтоб ты подох, чем стать мужем этой бессовестной, чем стать золотой крышкой для глиняного котла!

Перед глазами моими встала Рисолат-апа. Ведь в школе самая красивая, самая умная учительница — это она!

— Эта мерзавка заманила моего мальчика в свои сети.— Тетя заплакала еще горше.— А то в таком большом городе, как Ташкент, не нашлось бы для него девушки? Сейчас для семнадцатилетних девушек мужей днем с огнем не сыскать, а мой красавец угодил в капкан к этой распутнице!

— Ну что вы,— тихо вставила мать.— Рисолатхон вовсе не такая.

¹ Игра слов: бола — ребенок, бало — горе, несчастье.

Тетя взглянула на мать с таким видом,— мол, вам бы лучше помолчать.

— Пусть Афзалхан подумает еще,— неторопливо сказал отец.— Как-никак вопрос это серьезный.

— Оказывается, язык у тебя еще не отсох!— Тетя пробурчала это так, словно во всем был виноват отец.— Поговори с ним! Ты же ему дядя — посоветуй. Приходишь к нам раз в год и то не очень задерживаешься! Даже когда он приходит к тебе в дом, ты и тогда ничего не говоришь ему, не наставляешь на путь истинный!

Афзалхан в последнее время что-то зачастил к нам. Только теперь я понял почему.

— Ладно!— кивнул отец.— Мы с ним поговорим по душам.

— Так он и рвется поговорить с тобой! Знаешь, что он говорит? «Если не женюсь на ней, уеду, куда глаза глядят». Ташкент, для него, видите ли, без нее и не Ташкент вовсе, а какой-то чужой город.— Тетя повернулась к матери и сердито прикрикнула:— Ну, а вы чего стоите, будто вас это не касается, сноха! Ну-ка одевайтесь, со мной пойдете!

— Куда?— забеспокоилась мать.

— В могилу!— Тетя шумно высморкалась.— Что я, одна пойду ее сватать?

Мать в растерянности опустила возле сандала.

— Как же так?— заколебалась она.— А что же мы скажем тете Холпош? Мол, пришли сватать вашу невестку? Для нее это будет такой удар! Ведь она сына потеряла на фронте. А теперь...

— Ну и хорошо, ежели откажет, мне только того и надо. Пусть тогда утихомирит свою невестку.

Я не понимал всего, что говорила тетя, но чувствовал, что она наговаривает на Рисолат-апа. Нет, она хорошая учительница. Самая лучшая во всей школе. Даже ученики из второго «Б» завидуют нам. Вот у них учительница плохая.

Тетя наспех попила чаю и стала торопить мать.

— И ты собирайся!— сказала она, глядя на меня. Я с мольбой посмотрел в глаза матери.

— Не пойду,— тихо сказал я.

— Ступай, сынок,— вмешался отец.— До начала уроков еще успеешь вернуться.

Мне было как-то неловко идти домой к своей учительнице, особенно с тетей.

Но как ослушаешься отца, раз он велел — надо идти. Отец побаивался своей сестры. Я стал надевать валенки.

Тетя Холпош слепа на один глаз. Мне почему-то страшно смотреть на ее лицо. Но вообще-то она очень добрая. Когда она с кем-то разговаривает, то все время слышишь слово «гиргиттон», что означает: «Да паду я жертвой за тебя!» Наш джурабаши так и прозвал ее — «тетя Гиргиттон». Дом ее стоит по соседству с домом Тоя... Шли мы, проваливаясь в сугробы, довольно долго. Наконец завернули к низенькому дому, пахнувшему гармолой. Это такое растение, которое используют против сглаза. Вошли. Сначала мать, потом тетя с узелком в руках, а следом и я. Тетя Холпош в этот момент месила тесто. Она очень обрадовалась гостям.

— Вай, гиргиттон, хорошенькие мои, миленькие мои! — сказала она и, пошатываясь, поднялась со своего места. Руки ее было в тесте, и поэтому она поздоровалась с женщинами просто кивком. А я, как назло, так туго обмотал ноги портянками, что замучился, пока снял валенки. Тетя Холпош мигом разостлала дастархан. Присев на край одеяла, она быстро поколола орехи, поставила на скатерть кишмиш, тутовые ягоды, па-току... Мать сидела красная, а тетя — сердитая. Вдруг мать как-то странно покачнулась и еще больше покраснела, я догадался, что тетя, приглашая мать к разговору, сильно наступила ей на ногу.

— Да вы не беспокойтесь, — начала мать. — Мы ненадолго. По одному делу пришли.

— Вай, гиргиттон, какое может быть беспокойство! Ваша родственница так редко у нас бывает, что по этому случаю и барана мало зарезать.

Тетя повела бровями: мол, приступай к главному! Мать, заикаясь, начала:

— Мы... Это... Пришли просить руки... вашей невестки.

Тетя Холпош на мгновение опешила. Пиала с чаем, которую она протягивала госте, застыла в воздухе. Своим единственным глазом она удивленно уставилась на мать.

— Так уж вышло, — сказала тетя, пытаясь улыбнуться. Но улыбка у нее получилась какая-то кривая. — Наш Афзалхан, дуралей, никого, кроме Рисолатхон, и видеть не хочет... Не знаю, может, это и судьба...

Тетя Холпош смотрела теперь своим единственным глазом на тетю, пиалушку она поставила на скатерть.

— Конечно, вам тяжело,— сказала тетя дрожащим голосом.— Мы вовсе не хотели обидеть вас, аллах свидетель. Знаем, что сейчас не время вести подобные разговоры, у вас большое горе...

Тетя Холпош опустила голову.

— Рисолат мне не невестка, а дочь,— сказала она, помолчав.— Что ж теперь делать, если война отняла у меня сына.— Голос ее стал хриплым.— Ну что ж! Она еще молодая, не оставаться же ей из-за меня всю свою жизнь одинокой? Что я отвечу аллаху, когда предстану перед ним?

Тетя, видимо, не ждала такого ответа и побледнела

— Я сказала своему сыну,— повысила она голос,— не делай глупостей, потом пожалеешь. Сколько раз я ему говорила это!

— Конечно, она ему не ровня.— Тетя Холпош все еще сидела с опущенной головой.— Сын ваш еще не женился на девушке. А моя дочь...— Она умолкла.— Пусть сами решают. Если они оба желают этого, что мы можем поделаться!— Она вдруг насторожилась.— Погодите, миленькие, Ариф мой пришел.

И действительно, дверь отворилась, и на пороге появился Ариф. Он был в старом пальто, в шапке-ушанке, на сухоньком лице его весело поблескивали очки.

— Пришел, сынок,— тетя Холпош быстро сняла с него ранец.— Замерз, сладкий мой.

Ариф учится в третьем классе. Раз у них уже кончились уроки, стало быть, и мне скоро отправляться в школу.

— Мама, я пойду,— забеспокоился я.— А то в школу опоздаю.

— Не опоздаешь, у нас всего три урока было,— Ариф положил руку мне на плечо.— Пойдем поиграем в орехи.

— Ладно, пускай поиграют в соседней комнате,— тут же согласилась тетя Холпош.— Идите, идите, миленькие, незачем вам слушать разговоры взрослых.

Мы с Арифом зашли в маленькую комнатку, окна в ней заиндевели, и было полутемно. Видимо, это была комната Рисолат-апа. В углу стояли стол и стул с высокой спинкой. На столе лежали книги и тетради. Над сложенной в нише постелью, накрытой покрывалом, висела фотография Рисолат-апа с мужчиной в тубетейке. Рисолат-апа слегка наклонилась к его плечу.

— Кто это?— спросил я, показывая на мужчину.

— Отец!— Ариф взял горсть орехов из чашки, стоявшей в стенной нише.— Сыграем?

— У меня нет орехов.

— Я тебе дам в долг,— он отсчитал десять орехов.— Я ставлю на кон, идет?

— Идет.

Кубба — игра нехитрая. Ставится пирамида из четырех орехов. Если вы своим орехом попадаете в пирамиду, то все орехи ваши. Если нет, значит, вы лишаетесь своего ореха, которым кидали в пирамиду.

В считанные минуты я проиграл пять орехов. Орех плохо катится по неровному земляному полу. То подпрыгивает, то вовсе останавливается. Вдобавок к этому в комнате царит полумрак.

Мы увлеклись игрой, когда из другой комнаты раздался голос тети Холпош.

— Не швыряйте орехи под сундук, миленькие, а то от мышей покоя не будет.

Затем послышался сердитый голос тети:

— Ладно, нам пора идти.

...Не знаю, о чем еще говорили женщины в тот день. Но на следующий день Рисолат-апа сделалась удивительно непохожей на себя, выглядела очень грустной. Печка в классе, которую топили дровами, после полудня уже не горела. Мы сидели в классе не раздеваясь. Но самое ужасное — это когда замерзают чернила. Приходится ставить чернильницы на печку, они немножко разогреваются, оттаивают, но ненадолго. Обмакнешь перо в чернильницу, раздастся хруст, и чернила к перу не пристают. Прежде всегда снимавшая пальто, сидевшая с непокрытой головой, с гладко причесанными блестящими волосами, Рисолат-апа сегодня не сняла ни пальто, ни платка. Был урок чтения. Я вышел к доске.

— Читай,— сказала Рисолат-апа, раскрывая журнал.

— «К колодцу пришли три женщины. И каждая стала расхваливать своего сына»,— начал я читать скороговоркой. Нигде не запнулся. Прочел до конца и остановился, ожидая, когда Рисолат-апа скажет «садись». А она молчит. Я переминаюсь с ноги на ногу и жду, жду... А Рисолат-апа сидит и глядит в окно. Мне даже показалось, что она заснула. Наконец я не вытерпел. Кашлянул. Сперва тихо, потом громче.

— Читай,— сказала она, по-прежнему не сводя глаз с окна.

— Я уже прочитал,— тихо сказал я.

— А?— Рисолат-апа вздрогнула, словно пробудившись ото сна, и повернула голову.— Прочитал? Садись, спасибо.

Она была такой же рассеянной еще несколько дней. Я привык к тому, что мы возвращались домой вместе, и мне было как-то не по себе и почему-то обидно оттого, что теперь приходилось идти одному. В прошлом году я выходил из школы с Ходжой. Но теперь и его нет. Он в Чирчике. Мне скучно идти одному по узенькой тропинке, занесенной снегом. По краям тропки глубокие, мне по грудь, сугробы. Чуть оступишься с дорожки, и валенки наполняются снегом. А как хорошо было шагать вместе с Рисолат-апа. Она укрывала меня от ветра.

...Но вот наконец я снова возвращаюсь домой с Рисолат-апа. Только мы не одни: с нами мой двоюродный брат Афзалхан. Выйдя из школы и пробежав шагов сто, я увидел, что под ивой, ветви которой склонились от тяжести снега, стоит Афзалхан. Он был одет в армейскую шинель и блестящие сапоги. А голова непокрытая. Я подошел к нему.

— Уши-то опусти,— он развязал тесемки на моей ушанке и завязал их под подбородком.— А то замерзнут.— Потом вытащил из кармана шинели сложенную четверо газету. Оторвал кусочек. Из другого кармана вынул кисет, высыпал на газетку махорки и пожелтевшими от табака пальцами стал скручивать самокрутку.

— Послушай!— сказал он, продолжая скручивать самокрутку.— Позови свою учительницу.

— Неудобно мне!— честно признался я.

— Прошу тебя.— Мне показалось, что пальцы у Афзалхана задрожали.— Не в службу, а в дружбу, а, племянш? Ты ведь уже большой парень. Я тебе свой орден дам поносить...

Я любил рассматривать большой тяжелый орден Красной Звезды на груди Афзалхана-ака. Но он никогда не позволял мне снимать его. А теперь дает поносить. Придется выполнить его просьбу. Хоть ноги у меня и начали подмерзать, я все-таки вернулся обратно. Осторожно приоткрыл дверь учительской. Здесь тоже было холодно. На столах лежали журналы. Рисолат-апа стояла возле печки, грела руки о трубу дымохода. Чуть дальше сидит седой учитель математики.

Увидев меня, Рисолат-апа почему-то улыбнулась.

— Ты что, еще не ушел?

Я молча покачал головой.

— Ладно, пошли.— Она повязала платок на голову, застегнула пуговицы пальто и, подойдя ко мне, взяла меня за руку:— Ой, да ты совсем закоченел. Зачем же ты ждал меня?

Почему-то я сам себе показался противным. Шли молча, друг за другом, глядя под ноги, впереди учительница, за ней — я. Она не выпускала моей руки из своей теплой ладони. На каждом шагу калоши ее поскрипывали. Из-под калош вылетал сухой, холодный снег. Вдруг она выпустила мою руку. Я почувствовал, что она обернулась и смотрит на меня, но я не поднимал головы. Скрипя снегом, к нам подошел Афзалхан. Только тут я поднял голову. Рисолат-апа по-прежнему смотрела на меня, и, хоть было холодно, ее красивое лицо заметно покраснелось и стало еще красивее.

Афзалхан-ака остановился в двух шагах от нас.

— Простите,— тихо сказал он.— Это я его попросил.

Он отошел в сторону, пропуская Рисолат-апа вперед. И мы снова двинулись в путь. Долго шли молча.

— Ну как, вы подумали?— сказал наконец Афзалхан-ака.

Я понял, что мне надо немного приотстать. И остановился. Они прошли вперед еще шагов десять и тоже остановились.

— У вас же один-единственный ребенок, о нем не беспокойтесь,— сказал Афзалхан-ака.

Видимо, Рисолат-апа подала ему какой-то знак, и он понизил голос. Размахивая руками, он что-то горячо доказывал ей. Говорили они долго. Ноги у меня заledenели. Я устал шмыгать носом. Хотел уйти, но боялся: с одной стороны, мог провалиться в снег, а с другой — мне ведь все равно надо было пройти мимо них.

Афзалхан-ака, снова достал из кармана газету, табак и быстро стал скручивать самокрутку. Они снова пошли. Наконец-то!

Я последовал за ними. Шагов через тридцать-сорок они вновь остановились посреди пустынного поля. Шагах в десяти от них остановился и я. Ноги у меня совсем онемели, я их уже не чувствовал.

Афзалхан-ака размахивал рукой и опять что-то говорил, говорил... Затем произошло нечто непонятное. Мне показалось, что Афзалхан-ака поскользнулся. Он стоял на коленях. Сперва я подумал, что он нечаянно упал. Но оказалось, вовсе не так. Он обнял ноги Рисолат-апа и воскликнул:

— Ну, скажите, что мне делать? Я знаю, что вы очень любили Юлдаша. Я тоже любил его. Он был мне другом... Но ведь его уже нет!

Рисолат-апа пыталась поднять Афзалхана-ака с колен, но у нее не хватало сил. Я невольно сделал шага три-четыре вперед.

— Мы служили с ним в одном расчете!— продолжал Афзалхан-ака.— Я сам схоронил его в Праге. Я ведь не виноват, что остался живым! Что же мне теперь делать, если так все сложилось?

Рисолат-апа заплакала.

— А мне-то что делать, мне? Я-то жива! Я же помню его!

Она провела рукой по волосам Афзалхана-ака, из глаз ее струились слезы. Затем повернулась и, пошатываясь, побрела по тропинке.

Афзалхан-ака поднялся с колен. Обернулся в мою сторону. В глазах своего двоюродного брата я увидел тоску, шинель его по пояс была запорошена снегом. Он отступил в сторону и, не разбирая дороги, пошел прямо по глубокому снегу. А я остался стоять один в безлюдном поле. Рисолат-апа пошла в одну сторону, Афзалхан-ака в другую. Наконец оба превратились в темные точки и исчезли из виду. Отчего-то я совсем позабыл про холод, и домой не хотелось.

После этого Афзалхан-ака стал бывать у нас очень редко. Рисолат-апа учила нас до лета, затем куда-то пропала. Мама сказала, будто у тети Холпош в Андижане живет младшая сестра. Вот к ней-то все они и переехали.

А Афзалхан-ака так и не уехал никуда из Ташкента, хоть и говорил, что Ташкент станет для него чужим городом... Но неженатым ходил еще очень долго.

Через несколько лет, когда я учился в десятом классе, на уроке астрономии я открыл для себя, что луна сама не может светить. Она светит отраженным от солнца светом. Не было бы на свете солнца, не видели бы мы и луны...

ПРОДАВЕЦ СЕМЕЧЕК

Он сидит у ворот базара на низеньком табурете. На табурете два мешочка. В одном из них — семечки. В другом — курт, высушенный в виде небольших шариков соленый творог. Зимой он ставит рядом с собой ведро, дно которого продырявлено гвоздями. В ведре тлеют угольки. Это он придумал для того, чтобы греть руки. Его «товар» продается по твердой цене, как в магазине. Пара крошечных, с воробьиное яйцо, куртов — пятьдесят копеек. А стакан семечек, — двадцать. Стакан у него особый, «заказной». Он наполняется горсткой семечек, умещающихся в ладони. По утрам настроение у продавца паршивое. Серые глаза под редкими бровями смотрят на вас хмуро и недовольно. Когда он отсчитывает курты или наполняет стакан семечками, руки его трясутся. Те, кто хорошо его знают, с ним не торгуются. Если кому-то придет в голову сказать, что дорого берет, пропал.

— Эй, ты, не учи меня, — закричит он, сверкая глазами. — Я закон получше тебя знаю! — При этом рыжие усы его начинают дергаться. — За таких, как ты, я кровь на фронте проливал. — В подтверждение своих слов он стучит о землю каблуком негнушейся правой ноги. — Видал это?

К вечеру настроение у него поднимается.

— Жа-а-а-ренье семечки! — кричит он во все горло. Улыбается прохожим своей неестественной улыбкой. А когда мимо него проходят женщины, он многозначительно закручивает свои рыжие усы.

Стоит подойти к нему поближе, как в нос ударяет запах дешевого вина.

Этого человека я вижу каждый день. Это — Далавай. Тот самый Далавай, который некогда грозился упрятать моего отца подальше за то, что он без особого на то разрешения посмел срубить дерево у себя во дворе.

* * *

Не было в округе человека, который бы не испугался, услышав возглас: «Идет Далавай-налугчи» — то есть собиратель налогов. Он важно восседал на своей лошади красной масти. Блестящие лакированные сапоги, причесанные по моде рыжие волосы. Кожаная сумка,

ремни которой переброшены через плечо, и плеть в руке. Таким запомнился мне Далавай тех далеких лет. Люди при встрече с ним почтительно сгибались в поклоне, но не из уважения, а от страха.

Война только-только кончилась. Каким трудным было послевоенное время, люди еще хорошо помнят. Далавай-налугчи прямо на лошади въезжал во двор, и с теми, кто не мог сразу уплатить налог, не церемонился, проходил в дом и искал взглядом что-нибудь стоящее, скажем самовар или кошму, и увозил с собой.

Был обычный летний вечер. В сумерках мать подоила козу, отвязала козлят, пусть мол, насытятся оставшимся у козы молоком, и направилась на кухню. Козлята, один черный, другой белый, подогнув передние ноги, весело махали хвостами и сосали молоко. А коза с удовольствием жевала траву, полузакрыв глаза. Мать готовила на кухне кукурузную кашу. Пахло раскаленным маслом и луком. Старший брат и я соревновались, кто дальше прыгнет с супы.

В это время с улицы послышался стук лошадиных копыт. Ворота с треском распахнулись, и к нам во двор вошел Далавай-налугчи, ведя свою лошадь на поводу. Старший брат на минуту опешил, а потом закрычал:

— Ма-ма!

Из кухни вытирая слезившиеся от лука глаза, вышла мать. Она тоже растерялась, увидев Далавая-налугчи.

— Вай, вай! Уважаемый, здравствуйте! Как поживает моя невестка?— Речь шла о жене Далавая.

Далавай молча кивнул головой. Он был в плохом настроении. Чуть прищурил свои серые глаза и со свистом рассек воздух плетью.

— Что же это я стою!— Мать пришла в себя и улыбнулась через силу.— И почему мы здесь стоим? Присаживайтесь, уважаемый. Сейчас и угощение будет готово. Я мнгом...

Далавай недовольно мотнул головой:

— Не надо ничего, идите сюда.

Мать продолжала стоять посреди двора, не зная, что делать.

— Та-а-ак,— протянул Далавай многозначительно.— По этим... по налогам... вы задолжали. Что будем делать?

Мать опять попробовала улыбнуться:

— Не знаю, что и сказать, уважаемый... Через три дня...

— Одна говорит — через три дня, другой — через пять! — Далавай сердито вскинул рыжие брови. — А я так и буду расхаживать впустую, так, что ли?

Глаза матери глядели встревоженно.

— А нам-то как быть, уважаемый, в прошлый раз вы унесли медный поднос.

Ее слова почему-то рассердили Далавая. Он снова сощурил свои серые глаза. В них сверкнула злость.

И вдруг откуда-то вынырнула наша собачонка. Она с такой яростью стала бросаться в ноги лошади, будто сейчас разорвет ее в клочья. И, не переставая, лаяла. Лошадь рыла копытами землю и разок фыркнула. Далавай резко поднял голову. Рука его, которой он держал поводья, дрогнула.

— Пошла прочь! — заорал он. Крепко держа лошадь за поводья, он погрозил собаке плетью.

Собака залаяла еще сильнее, правда, отбежала назад. И продолжала лаять.

— Отвяжите ее! — вдруг скомандовал Далавай матери.

Мать от неожиданности заморгала глазами и хрилым от волнения голосом спросила:

— Кого, уважаемый?

— Вот эту вашу породистую корову, — Далавай издевательски, краешком губ, ухмыльнулся. — А что у вас есть, кроме вот этой чесоточной козы?

Мать прижала руки к груди и взмолилась:

— Пожалейте нас, уважаемый! Коза эта — кормилица наша. Что будет с нашими детьми без нее? Мы же с вами земляки. Смилуйтесь.

— Что за народ непонятливый! — разозлился Далавай еще пуще. Тонкие брови его то и дело взлетали вверх. — Что, нет у меня своих забот, кроме ваших? Есть государство, есть закон! — Он сунул плетень под мышку, открыл кожаную сумку. — Вот, — сказал он, размахивая перед носом матери какой-то бумагой, — за вами должок. Тридцать килограммов мяса, пятнадцать килограммов масла, 5 литров молока. Вот читайте, если умеете читать!

Мать посмотрела не на бумагу, а в глаза Далавая.

— Разве может чесоточная коза дать сто литров молока, уважаемый? — тихо спросила она.

— А-а, вон как заговорила! — Серые глаза Далавая,

сузившись, почти закрылись.— Вам, кажется, наплевать на законы? Ну что ж, поговорим в другом месте!

Мать побледнела.

— Дорогой брат!— сказала она умоляюще.— Чтоб аллах даровал вам еще больше почестей. Вы же сами все видите.

— А что я вижу? Вот здесь все написано, все! Вот! Вот!

Когда он с возгласом: «Вот!»— поднял бумагу над головой, лошадь перепугалась. Зазвенели удила. Далавай выпустил из руки поводья. Плеть выскользнула из-под мышки на землю. Лошадь, высоко задрав хвост, шарахнулась к воротам. Одним прыжком Далавай достиг ее и сильно потянул за поводья. Привел лошадь на прежнее место и что есть силы стал бить ее по морде плетью. Лошадь в испуге трясла головой и бешено била копытами о землю. Но сильная рука Далавая крепко держала поводья. Всякий раз, когда он хлестал лошадь плетью, она фыркала, а удила покрывались белой пеной. Лошадь смотрела на всех нас безумными глазами, но никак не могла вырваться из цепких рук хозяина.

Я закричал от страха. Старший брат тоже был напуган не меньше моего. Мать подбежала к Далаваю и схватилась руками за плеть.

— Не бейте, в чем провинилось бедное животное?!

— А ну назад!— В глазах Далавая вспыхнул злой огонек. И на губах у него, как у лошади, выступила белая пена. Он потянул за поводья все еще вздрагивающую лошадь и направился в глубь двора. Не отпуская поводьев, свободной рукой стал отвязывать козу. Мать в отчаянии ухватилась за аркан.

— Не отдам!— сказала она, задыхаясь.— Хоть убей, не отдам!

Далавай развязал аркан и потянул за собой козу. Старший брат, до этого безмолвно стоявший на супе, спрыгнул с нее и тоже уцепился за аркан. Далавай тянет козу в одну сторону, а мать и старший брат в другую. Платок матери сполз на плечо. Коза, будто все понимая, упиралась и не шла. Только на мгновение смолкнувшая собака опять взъядрилась. Теперь она просто выла и кружилась на одном месте, как волчок. Только я один стоял в оцепенении, не зная, что делать. Далавай немножко отпустил аркан, и измученная коза захрипела, словно закашлялась.

Младший брат, спавший дома, от шума проснулся и, выбежав без штанов во двор, заплакал. Мать, наверное, решила, что Далавай, наконец-то, сжалился, и подняла на него умоляющие глаза:

— Подумайте хотя бы об этих маленьких. Пусть и у вас их будет побольше.

— Э, лучше мне вовсе не иметь детей, чем иметь вот таких сопливых!

Мать вздрогнула, будто ее ударили по лицу. И отпустила аркан. Ее губы затряслись.

— Забирай!— сказала она в сердцах. Глаза ее наполнились слезами.— Ты можешь меня обругать, но при чем здесь мои дети, бессовестный!— Последние слова вырвались у нее, как истошный крик, как стон.— Чтоб тебе вовек не иметь своих детей. Чтоб в твоём доме никогда не раздавался плач ребенка!

Далавай постоял еще с минуту и что-то пробурчал себе под нос,— кажется, выругался. И, повернувшись, собрался уходить.

— Нет уж, забирай, что хотел!— сказала мать твердым голосом.— Не бросай своих слов на ветер, если ты мужчина!

Далавай резко повернулся и потянул козу к воротам. Но та никак не хотела идти. Козлята побежали за ней. Старший брат кинулся за ними и схватил одного козленка за ногу.

Козленок жалобно заблеял, но брат не отпускал его.

У ворот Далавай пнул сапогом другого козленка и пошел дальше, ведя одной рукой под уздцы лошадь, а другой — на аркане козу. И только в эту минуту я понастоящему понял весь ужас, того, что произошло. Раз у меня нет козы, как же я пойду теперь играть на луг с Вали или с Тоем?

Мать осталась стоять посреди двора. Вид у нее был отсутствующий. Волосы распущены. Она подошла к младшему брату, который все еще плакал, взяла его на руки, подолом платья вытерла ему нос и понесла в дом.

В сумерках пришел отец. Не пришел, а прибежал. Наверное, обо всем услышал на улице. Не помня себя, он вбежал в дом и первым делом сорвал со стены двустволку.

Мать обеими руками схватилась за ружье.

— Оставьте!— жалобно простонала она.— Что вы собираетесь делать! Ведь пропадем!

— Уйди!— Отец весь трясся. Он отпихнул маму локтем.— На одну голову только одна смерть!

— Не надо, покарай его аллах!

Отец бессильно опустил на край супы. Положил ружье на колени и схватился руками за голову.

— Разве можно шутить с государственным человеком!— сказала мать успокаивающим тоном.

— Государство так не велит!— Отец в сердцах ударил кулаком по колену.— Где это видано, чтобы у человека забирали последнюю скотину! Он сам это придумал, этот пьянчуга!

— Ведь у него в руках была бумага!— сказала мама. Глаза ее опять наполнились слезами.

— Будешь еще учить меня!— Отец еще раз хлопнул себя по колену, будто во всем была виновата мать.— Я уверен, никто не приказывал ему поступать так. Этот мерзавец позорит нашу власть. Хоть это ты можешь понять или нет?!

— Ладно,— мать рукавом платья вытерла глаза.— Аллах его покарает... Ладно,— повторила она со вздохом.— Главное, война кончилась. И эти тяжелые дни тоже останутся позади. И дети скоро подрастут.— Кажется, матери все еще не давали покоя слова Далавая, голос ее вдруг задрожал:— Пусть бы ругался на меня, зачем он детей моих трогает?

...И те трудные дни, как и предвидела мать, действительно остались позади. Однажды к нам во двор боязливо зашла молоденькая симпатичная женщина с бледным лицом. Мать вышла ей навстречу. Незнакомка поздоровалась с матерью и вдруг расплакалась.

— Муж снова побил,— сказала она тихо.

На левой щеке у нее я заметил большой синяк.

— Избивает через день. Яловой короной меня называет. Что же мне делать, сестра, если бог не посылает мне ребенка? Говорит, брошу тебя и женюсь на молоденькой, которую еще и мать не целовала, на чистой и непорочной.— Незнакомка не переставая всхлипывала.— Говорит, я осрамила его среди людей. А я думаю, что посеешь, то и пожнешь. Верно, сестра? Пьет безбожно. Вчера вот лежал пьяный и вспоминал вас. Сказал, что вы когда-то прокляли его. Ни с кем в махалле я не могу поделиться своим горем. Никто меня не жалеет. Наверное, из-за него? А почему вы его прокляли?

Я понял, что это жена Далавая.

Мать погладила ее по плечу.

— Ну, что вы говорите! Пророк я, что ли! Ежели и сказала чего сгоряча, то слова беру обратно.— Она протянула гостье пнялу с чаем.— Не стоит и думать об этом! Успокойтесь! Будут у вас еще дети! Много-много! Вот посмотрите! Еще таких джигитов нарожаете, что все завидовать станут!

Жена Далавая улыбнулась сквозь слезы.

— Пусть сбудется то, о чем вы только что сказали!— прошептала она тихо.

Но Далавай все-таки выгнал жену. И женился на молоденькой, которую еще и «собственная мать не целовала». Правду, оказывается, говорят, что хорошая вещь недолго останется лежать на земле — тут же подбирают. Бывшая жена вышла замуж за арбакеша по имени Абди. И частенько заходила к нам, ведя за руку то одного своего малыша, то другого. И всегда они с мамой о чем-то долго разговаривали.

И вторая жена не родила Далаваю детей. Но по части законов она оказалась сильнее самого Далавая. Он только раз ударил ее, разумеется, добавив при этом «яловая корова», и она пошла на него жаловаться. Далавая лишили высокого поста сборщика налогов. Но он и виду не подавал, что это случилось. По-прежнему чинно восседал на своей лошади, щеголял одеждой, но кожаной сумки через плечо уже не носил.

Человек не знает, что его ждет. Однажды прошел слух, будто Далавай, едучи верхом, пьяный, свалился с лошади, сломал себе ногу и вывихнул ключицу. Долго лежал в гипсе.

Теперь я вижу его каждый день. Он сидит у базарных ворот и торгует семечками.

— Жа-а-ренье семечки!— кричит он зычным голосом.

А мне вспоминаются полные слез глаза матери...

СВАТЫ

Я вернулся с работы усталым. По опыту знаю: если расслабишься, то вечер пропадет. Просидишь у телевизора или поболтаешь с кем-нибудь.

Лучше всего сразу пройти в кабинет и начать писать. Или, в крайнем случае, что-нибудь почитать. Я сидел и перелистывал новый номер журнала. Кто-то постучал, на пороге появилась Гуля — дочь соседа-мясника.

— Заходи,— сказал я, не поднимая головы от журнала.— Как дела?

Гуля робко стояла у двери.

— Мне нужна энциклопедия,— сказала она.

— Вон — бери любой том,— кивнул я на полку и снова уткнулся в журнал.

Через некоторое время Гуля, вероятно, отыскав то, что ее интересовало, поставила книгу на место и направилась к двери. Но у самой двери нерешительно остановилась.

— Послушайте,— сказала она, берясь за ручку двери.— Какие жизненные проблемы вас волнуют? Или вы в своих книгах их не касаетесь?

По правде говоря, я растерялся. Я слышал, что эта девушка учится на факультете философии, что она самая модная в нашем квартале, что ходит она в джинсах, но чтобы она могла задать такой каверзный вопрос, этого я не ожидал. Невольно отложив в сторону журнал, я внимательно посмотрел на нее. Я не знал, как с ней разговаривать: на «ты» или надо уже говорить «вы».

— Что-нибудь случилось?— спросил я первое, что пришло в голову.

Гуля нахмурила брови, подошла к креслу и села в него.

— Вот вы, писатели, пишете, что надо изживать пережитки прошлого, так?

Я молча кивнул.

— А как с ними бороться, этому вы не учите, к сожалению.

Вижу, что не просто так говорит, озабочена чем-то всерьез.

— У вас что-нибудь случилось?— спросил я, все-таки боясь показаться навязчивым.

— Откуда только берутся эти сваты?— с возмущением сказала девушка.— То одна приходит незваная, то заявляется другая, волоча свертки с подарками.

Ах, вон оно что!

Чтобы не улыбнуться, я прикусил губу и стал успокаивать ее, как мог.

— Да, где есть девушка,— базар! Вот и приходят покупатели. Значит, вы хорошая девушка, раз они идут.

— Что, я — коза, чтобы меня покупали!— От досады

лицо Гули раскраснелось, длинные ресницы обиженно дрогнули.

— Так никто и не думает вас продавать!— засмеялся я.— Просто таков обычай.

— А в книгах вы пишете совсем другое!— снова возмущилась Гуля.— Расхваливают мне того, кого я и не видела даже. Преподаватель какой-то. Зачем он мне?

— А может, и впрямь хороший малый...

— Если он мужчина, пусть сам поговорит со мной! Зачем посылать послов? До смерти ненавижу таких слюнтяев.

Я понял, что у Гули есть парень. Снова сделал попытку успокоить ее.

— Однажды придет и мать юноши, который нравится вам. А сваты на то и сваты, чтобы приходить. Спрашивают, разузнают.

— Да они и так все знают. Нечего и приходить.— Вид у Гули был удрученный, и весь облик ее говорил: «Вот дура, нашла с кем советоваться».

В комнате стало тихо. И странные мысли приходили мне в голову. Почему девушки так боятся сватов? Ведь сейчас не те времена, чтобы дочерей насильно выдавали замуж. Не понравится — откажет. Я вспомнил, как сваты «ломались» и в нашу дверь.

* * *

Ранняя весна. Днем уже тепло, но земля еще не проснулась, кое-где пробилась зеленые иголки дикого лука, в посвежевших стволах тальника забродили соки, из его веток уже можно вырезать свистульки. Сестра на работе, братья — в школе. Изнывая от скуки, я оседлал бревно у ворот дома и вырезаю перочинным ножиком брата новую свистульку. Собака лениво растянулась на солнцепеке, но ей досаждают крупные мухи, она время от времени покусывает свой хвост, чешется, мухи разлетаются, чтобы через мгновение снова слететься.

Вдруг собака насторожилась, вскочила на ноги и слаем помчалась вперед. Примерно в пятидесяти шагах от себя я увидел идущих в мою сторону двух женщин. Одна из них в парандже, маленькая, в руках — палка, идет, припадая на одну ногу. У другой на голове белый шелковый платок, которым обычно покрываются молодки, поверх атласного платья.— бархатная безрукавка.

Увидев, что у каждой в руке сверток, я вбежал в ворота с истошным криком:

— Мама! Сваты идут, сестру свататы!

Я научился узнавать свах издалека. У них в руках обязательно бывают свертки. В последнее время сваты зачастили к нам: что ни день, идут новые.

Мать, сидя на корточках на веранде, просеивала в сите муку.

— О аллах!— испуганно выдохнула она и резво вскочила на ноги. Быстро завернув сито в супра¹, она побежала в комнату. Через минуту выскочила из комнаты, ополоснула руки и помчалась к воротам встречать гостей. До ворот я добежал раньше матери. Гости были совсем близко от ворот, собака кружилась вокруг них, лая и норовя укусить то одну, то другую. Женщины шли медленно, осторожно, зорко следя за собакой. А ей, судя по всему, не понравилась та, что в парандже и с палкой, и она вцепилась в ее подол.

— Пошла!— закричал я грозно.

Собака, увидев меня, видно, решила, что подросла подмога, и с еще большим рвением стала наскакивать на коротышку. Но и коротышка была не промах. Изловчившись, так наподдала собаке, что та жалобно взвизгнула и похромала прочь. Найдя безопасное место, стала лизать заднюю лапу.

— Ах, дорогие!— радостно воскликнула мать, словно перед ней очутились старые знакомые.— Добро пожаловать!

По обычаю они здоровались, обнимаясь и поглаживая друг друга по плечу. Как мне показалось, молодка в шелковом платке даже принюхивалась к волосам матери. Мать услужливо взяла в руки паранджу коротышки и радушно пригласила гостей в дом. Та, что была в атласном платье, сразу шмыгнула на кухню². Оттуда вышла с довольным лицом.

Я проскользнул в комнату вместе со всеми, словно для того, чтобы положить перочинный нож брата на место. Мать резво стелила курпачи вокруг низенького столика. С ниши в стене она взяла поднос. Что было на подносе, я помню точно: сушеный урюк, чищенные орехи, плоды джиды, шесть лепешек из кукурузной му-

¹ Клеенка или белая ткань, на которой месят тесто.

² Сваты обычно заходят на кухню, чтобы узнать, насколько чистоплотна будущая невеста.

ки, в тарелочке — мелко наколотый сахар. Хоть сахар и был для нас, детей, великим соблазном и вечным искушением, мы не трогали его, так как знали, что мать бережет его для неожиданных гостей. Гости прочитали молитву. Мать налила в пиалы чай и протянула им.

— Вот, дорогая,— начала гостя в атласном платье, после того как женщины вдоволь порасспрашивали друг друга о жите-бытье, о здоровье, о детях.— Если судьбе будет угодно, то мы станем родственниками. Мы пришли с надеждой породниться и готовы подметать ваш двор¹.

Мать молчала.

— Угощайтесь, пожалуйста,— сказал она наконец, кивая на яства.

— Мы слышали, дорогая,— вступила в разговор коротышка,— что вы из высокого рода. Когда взрослеют дети, родители хотят исполнить свой долг перед ними². Мой сын неплохой парень, спокойный, вежливый. Учитель.

Она повернула голову в сторону своей товарки, словно прося ее подтвердить сказанное, и серебряные монеты в волосах ее слабо звякнули.

— Да, уважаемая, вы не прогадаете,— поддержала разговор молодка в атласном платье и, как бы невзначай выставляя напоказ увесистые золотые браслеты на руках, стала развязывать узелки.

— Не утруждайте себя зря, дорогая,— сказала мать, осторожно беря ее за руки.— Даст бог, мы еще походим друг к дружке.

Мать ни словом, ни жестом не позволила себе обидеть свах, но разломить лепешки, которые они принесли с собой, не разрешила. Ведь разломить лепешку — значит дать согласие на свадьбу.

— А вы порасспросите о нас,— сказала коротышка.— Мы живем на Каане. Дом Адылходжи любой знает. Большие ворота перед гузаром. Мы живем рядом с горбатым Махмудом.

— Она — мать вашего будущего зятя! — пояснила, улыбаясь, гостя в атласном платье! — Если спросите, где дом мастерицы Муборак, каждый покажет. Только у нее швейная машина «Зингер».

¹ Традиционная фраза сватов, выражающая их покорность и смирение.

² Женить или выдать замуж своих детей.

Меня совершенно не интересовали все эти Адыл-ходжа, Махмуд-горбатый, ни мастерица Муборак, я во все глаза смотрел на сахар. Чтобы обнаружить свое присутствие, я уронил на пол перочинный ножик. Мать бросила на меня быстрый взгляд, прикусила нижнюю губу и незаметно покачала головой, мол, выйди из комнаты, постыдись гостей. Потеряв всякую надежду на сахар, я был вынужден удалиться. Через полчаса сваты ушли. Собака, видно, затаила на них обиду и, несмотря на грозные окрики матери, долго «проводжала» гостей.

Через три дня сваты пришли снова. Та же коротышка в парандже, у которой позвякивали в волосах серебряные монеты, и ее спутница. В этот раз на ней было платье из шелка, который почему-то называли «вороньим пером», а на шее красовался отборный жемчуг. Сестра на кухне возилась с обедом, увидев в воротах гостей, она дала стрекача в огород. На этот раз гости задержались подольше. Мать угостила их рисовым супом. После ужина, когда сестра убрала со стола посуду и понесла ее мыть на кухню, мать поведала отцу, что сегодня снова приходили свахи.

— Мне кажется, они неплохие люди, из хорошего рода. Сын у них учитель. Они не требуют приданого полностью, что есть, сказали, то есть. Можно сыграть свадьбу и так.

Отец долго молчал.

— Надо порасспросить людей,— наконец произнес он.— Замужество — не шутка, это на всю жизнь. И потом узнай, как относится к этому твоя дочь.

Разговор прервался. Отец, надев ватную телогрейку, отправился в ночную смену. Мы, ребятня, сразу оживились и стали играть в разные игры; так разыгрались, что даже поссорились. Спать в этот вечер легли позже обычного. И очень долго я не мог уснуть. Вдруг блеснула молния, затем гроыхнул гром. Начался ливень.

— Проклятье!— проворчала мать, вставая с постели.— Потолок протекает.

Мать и сестра стали расставлять на полу ведра и тазы. Хоть я и лежал с закрытыми глазами, но знал, куда падают капли с потолка: в тот угол, где стоит сундук, и рядом с порогом.

Мать и сестра снова легли в постель. Сестра спит у окна, а мать рядом с младшим братишкой. Я лежу и вслушиваюсь в звон падающих капель: кап-чик-тик...

Кап-чик-тик... Кап-чик-тик...— словно часики тикают. Только звук иной: кап-чик-тик.

Только стал засыпать, услышал, как тяжело вздохнула сестра, и сон пропал.

— Мама, ну что они все ходят к нам?

— Сваты-то?— спросила мать.— А как же, и должны ходить. Дом, где живет девушка, что базар. И шах сюда приходит, и нищий. Обижать человека, который с надеждой входит в дом,— грех.

Видно, сон пропал и у матери, и она заговорила довольно громким шепотом:

— В давние времена жил один праведник. У него была единственная дочь, такая красивая, хоть с луной ее сравни, хоть с солнышком. Однажды, к ним пришли сваты сразу от трех юношей. Праведник, чтобы не обижать никого, дал согласие всем трем. Затем, не зная, как благополучно выпутаться из этой истории, обратился он с молитвой к богу. «Дочка у меня одна, а я обнадежил троих юношей, помоги»,— взывал он к богу в слезах. Сжалился всевышний и превратил в прекрасных дев корову и козу праведника, и теперь невест стало трое, и были они похожи друг на друга как две капли воды. Трое юношей после пышной свадьбы увезли своих трех невест в разные края. Тогда праведник снова взмолился богу. Он говорил, что не знает, которая из них его дочь. И раздался глас с небес: та, что будет радушно встречать тебя в своем доме, почитать мужа, свекра и свекровь — твоя дочь. Та, у которой все валится из рук, неряха-растеряха — это твоя корова. Та, которая никого не уважает и у которой язык длинный — это твоя коза. Вот отсюда и пошли разные жены. Одни умные, ласковые, нежные, проворные в домашних делах, другие — грязнули, третьи — языкатые и скандальные...

— Как Келинойи?— невольно вырвалось у меня.

Это было так неожиданно, что мать оборвала себя на слове. Затем сестра и мать звонко рассмеялись.

— Ах ты, негодник, ты еще не спишь?!— сказала сестра, вскакивая с постели. Она прошла возле ниши в стене, где тускло горела керосиновая лампа, подошла ко мне, обняла и расцеловала. А я-то боялся, что она рассердится.

Назавтра, после завтрака, увидев, что мать надевает на ноги ичиги, я сразу сообразил: ага, собирается в гости. И занял:

— Я тоже, я тоже с вами!

— Да не в гости я,— покачала головой мать.— У меня срочное дело.

— Все равно с вами!

Немного поколебавшись, мать согласилась взять меня с собой.

— Только не хнычь, если устанешь,— предупредила она.

Вместе с матерью мы отправились в путь. Дождь перестал еще ночью, но дороги размыло так, что к подошвам налипало по два пуда грязи. Сначала мы шагали по джидовой рощице, прошли по шаткому мостику, перекинутому через реку Конкус. Когда я осторожно ступал по еле дышавшему мостику, сердце мое ухало куда-то вниз, но, перейдя его, я даже залюбовался вербами, которые росли у самой кромки воды. Прекрасное это дерево — верба! Из ее веток получают отличные свистки и «лошадки».

— Пошли быстрее,— сказала мать, дергая меня за руку.

Я уже жалел, что напросился с матерью. Сапоги отяжелели от налипшей на них грязи, идти было трудно. Наконец мы подошли к гузару. В чайхане было безлюдно, на широком деревянном настиле, устланном старым паласом, дремал на солнышке старик, рядом с ним стоял чайник с отбитым носиком, пиала.. Затем мы миновали конюшню, стены которой полуобвалились. Исхудавшие так, что можно пересчитать ребра, лошади, их было три, дремали, понуро опустив головы и лениво отмахиваясь хвостами от назойливых мух. От кучи навоза, сложенного в углу конюшни, поднимался пар.

— Когда мы придем, мама?

— А вот мы, кажется, и пришли,— сказала мать, озираясь по сторонам.— И спросить некого, чтоб им сгинуть.

Мы прошли еще немного по размытой дождем улице, по обе стороны ее росли ивы и тополя, и наткнулись на толстую женщину, которая несла на коромысле ведра с водой.

— Послушайте, сестра, вы с этой улицы?— спросила мать, подойдя к ней поближе.

Толстая женщина сняла коромысло с плеч, осторожно поставила ведра на землю, тяжело дыша, поздоровалась с матерью.

— Где тут дом Махмуда-горбатого, дорогая?— спросила мать ласково.

Толстая женщина вдруг побледнела.

— Горбом его бог одарил!— сказала она, задыхаясь.— Побойтесь бога!

Гневно выпалив это, она звякнула крючками коромысла, продела их в дужки ведер. Пристроив коромысло на плечи, пошла прочь. Через несколько шагов остановилась, обернулась всем телом, вместе с коромыслом, и хрипло выдохнула:

— Как только не совестно издеваться над чужой бедой?

Мать ошарашенно молчала, хлопая ресницами, готовая вот-вот расплакаться.

— Вот беда!— прошептала она наконец. Губы ее едва шевельнулись.— Надо же случиться такому. Напоролись как раз на жену этого горбатого.

Она еще долго смотрела вслед женщине, которая шла, покачивая коромыслом, затем взяла меня за руку и потащила.

— Пойдем быстрее отсюда.

Только теперь я начал догадываться, зачем мы пришли сюда.

Вчера отец говорил, что надо порасспросить людей о будущих родственниках. Значит, мать хотела узнать о них кое-что у соседей. Напротив чайханы стояла крошечная парикмахерская, крыша ее была покрыта рубероидом, а единственное окно заклеено блестящей оберточной бумагой. Не знаю, был ли кто внутри парикмахерской, но скамейка перед ней пустовала. Пройдя несколько шагов, мать вдруг остановилась.

— Хочешь, пострижем тебя?— неожиданно спросила она.

Я заколебался. Еще снимут все волосы, и ребята будут щелкать по голому черепу, приговаривая: «Это плата за стрижку, это плата за стрижку».

— Пойдем, пойдем, не бойся,— сказала мама, хлопая меня по плечу.— Оброс так, что лица не видно.

Я осторожно заглянул внутрь парикмахерской. Клиентов там не было. Парикмахер в грязном халате сидел лицом к стене и блаженно попивал чаек. Кажется, вчерашний ливень поработал и здесь. На оштукатуренной глиной стене виднелись свежие грязные потеки. Мать тоже заглянула в дверь и тихонько кашлянула.

Парикмахер взглянул на нас через плечо. Бросались в глаза его аккуратно подстриженные усы и узкие глазки.

— Что, племянничек, стричься будем?— спросил он, вставая с места.

И я увидел, что одна нога у него деревянная. Штанна галифе цвета хаки была подвернута. Громохая деревяшкой по рассохшемуся щелястому полу, он подошел ко мне поближе и кивком пригласил сесть на старенькое выдавшее виды кресло. Я сел напротив мутного зеркала. Мать сняла с моей головы тюбетейку и пристроилась на стуле, где только что сидел парикмахер.

— Побрить наголо или состричь машинкой?— обратился он к матери, стряхивая с простыни прилипшие волоски и набрасывая ее на меня.

— Состригите машинкой,— попросила мать.

Парикмахер вынул из ящичка машинку. Приставив ее к моему виску, он застрекотал ею. Я невольно ойкнул, потому что в первый момент мне показалось, что машинка не стрижет, а выдергивает волосы.

— Ну, чего ойкаешь?— пожурил парикмахер, обхватив мою голову своей пятерней.— Терпи, казак-атаманом будешь.

Надеясь найти защиту у матери, я робко взглянул в зеркало, думая увидеть ее отражение, но зеркало было таким мутным, что я даже собственного лица не мог в нем разглядеть, вместо него желтело пятно какое-то.

— Вы здешний?— спросила молчавшая до сих пор мать.

— Здешний,— обернулся на ее голос парикмахер, продолжая выдирать мои волосы.— А что?

— Хотела спросить кое о ком,— проговорила спокойным голосом мать.— Вы знаете человека по имени Адылходжа? Жена его — мастерица. Муборак.

— Как же, как же, знаю!— охотно заговорил парикмахер.— Они соседи горбатого Махмуда. Четвертый дом от конюшни.

— Мы хотели узнать,— мать помедлила минутку,— только скажите правду, прошу вас: что это за люди, из какого они роду-племени, местные они или пришлые?

— А-а-а! Вот оно в чем дело.— Кажется, парикмахер сразу смекнул, зачем пришла сюда мать, и заки-

вал головой.— Род у них хороший. Живут они здесь издавна. Предки их были садовниками. У них был огромный виноградник. Каких только сортов винограда там не было — и «шибилгани», и «шакаран гур», и «эчкинэмар»! А вкусный такой — язык проглотишь. Да-а!

Чем больше говорил парикмахер, тем больше распаялся, а чем больше распаялся, тем сильнее налегал на машинку, выдирая волосы. Из глаз моих текли слезы.

— А не было у них в роду дурных людей?— спросила осторожно мать.— Ну, воров, картежников, наркоманов?

— Нет!— решительно отвечал парикмахер.— Все они порядочные люди.

Мать, словно сбросив с души камень, облегченно вздохнула.

Парикмахер стриг уже мой затылок. Надавив ладонью, он пригибал мою голову все ниже и ниже, а я боялся, как бы у меня из носу не потекло.

— А их сын?— спросила мать, переходя к главному.— У них, говорят, есть сын по имени Толяганходжа...

— Во!— поднял большой палец парикмахер.— Мировой парень! Учитель! Преподает в школе.

— Он был на войне?

— Нет,— отвечал парикмахер, щекоча мне шею машинкой.— Если бы его забрали, некому было бы учить детей. Но парень он мировой! А что, хотите породниться с ними?

— Посмотрим,— промолвила задумчиво мать.— Как распорядится судьба...

— Но если они посватаются, не отказывайтесь. Отличные люди, род у них чистый. К тому же будущий зять,— тут парикмахер многозначительно поднял палец,— учитель, радоваться надо такому зятю, сестрица. А сами-то вы откуда родом?

Мать подробно все рассказала. Про отца, откуда мы родом и прочее...

— Мне кажется, что они вам — ровня. И молодые сойдутся характером!— проговорил парикмахер, обдувая и прочищая машинку.— Даст бог, позовете на свадебный плов!

Радуюсь окончанию пытки, я проворно соскочил с кресла. Мать надела мне на голову тубетейку и протянула парикмахеру деньги.

— Да ну, что вы, что вы, разве можно брать деньги у будущих родственников,— проговорил парикмахер, все же пряча деньги в карман. Затем добавил:— Хорошо они люди, не прогадаете.

Вернувшись домой, я отломал кусок кукурузной лепешки и побежал на улицу. Игравшие на площадке Той, Вали и джурабаши немедленно начали по очереди шлепать меня по голому затылку, беря «плату» за стрижку. Особенно усердствовал джурабаши, после его щелчков у меня гудела голова. Но я стойко перенес и это. Потому что хотел удивить всех новостью.

— А у нас скоро свадьба!— похвастался я.— Вот наедемся вдоволь плова. А свекровь моей сестры сошьет мне рубашку. У нее швейная машина «Зингер»!

Но свадьба не состоялась. Ни через месяц, ни через год. Я несколько раз слышал, как плакала сестра, отказываясь идти замуж, а мать все спрашивала: «Ну, скажи тогда, за кого ты хочешь пойти?»

...Недавно у станции метро я повстречался с Гулей. Рядом с ней был высокий кудрявый юноша. Парень он был, по-моему, веселый, так как Гуля, которая опиралась на его руку, беспрестанно хохотала.

Через три дня я снова встретил Гулю на нашей улице.

— Славный он малый,— сказал я, вспомнив того юношу.

— Кто?

— Твой парень. Когда свадьба?

Гуля покраснела. Но скрыть свою радость не смогла.

— Вам понравился Фархад?— спросила она, улыбаясь.

— Понравился,— сказал я правду.— Кем он работает?

— Поваром,— снова улыбнулась Гуля.— Шеф-повар он!

— Не родственник?

Гуля отрицательно покачала головой.

— А откуда родом?

Гуля удивленно заморгала пушистыми ресницами.

— А какое это имеет значение?

— А не было ли в их роду воров, наркоманов?— Я и не заметил, как из моего рта выскочили мамины вопросы.

Гуля сделалась серьезной, нахмурила брови:

— Что вы такое говорите?

— А не было ли в их роду сумасшедших? Надо бы поинтересоваться у соседней, у знакомых.

Гуля серьезно посмотрела мне в глаза и тихо-тихо попятилась назад. Отступив шага на два-три, она вдруг повернулась и побежала. Вероятно, подумала, не сошел ли я с ума. А я подумал, что девушке, выходящей замуж, не мешало бы серьезнее к этому относиться.

М А С Т Е Р

Отпуск свой большинство узбеков проводит так: или строят дом, или же играют свадьбу. В прошлом году и я задумал построить в конце садового участка дом для гостей. Из одной комнаты. Нет нужды объяснять, насколько хлопотливое это дело — строительство. То досок не хватает, то кирпича, то кровельного железа, то краски. Но разговор сейчас не об этом.

После того как возвели стены, на строительстве начал работать мастер Абдужаббар. Ловкий парень, мастер на все руки. Может сам установить и балку, и сваи, настелить пол. Работает на совесть. Только один у него порок — пьет. Каждый день. До обеда кое-как терпит, но в обед должен выпить обязательно.

— Эй, брат, принесите «беленькую», пожалуйста. В горле ужасно пересохло.

Ничего не поделаешь — все-таки гость он в моем доме. Иногда втайне от матери протягиваю ему пиалу с водкой. Он утоляет жажду, это его собственные слова, и громким голосом начинает петь.

Я иду по саду,

Я иду по цветущему саду...

Мать, догадавшись, что он опять выпил, ругает меня.

— Ты что, хочешь превратить его в алкоголика? Ведь каждый день поишь его!

Абдужаббар стоит на крыше и кричит:

— Не пил я, Пошша. Не пил. Ежели выпил, умереть мне на этом месте. Думаете, я пьяный? Смотрите! Я буду стоять на одной ноге.

И в самом деле встает на одну ногу и демонстрирует свою «трезвость». Мать волнуется еще пуще.

— Осторожней, свалишься, не дай бог!

Стройка почти заканчивалась. Осталось только покрыть крышу кровельным железом. Мать отозвала меня в сторонку.

— Не смей больше поить его. Вчера он чуть было не свалился. А если останется инвалидом, кто отвечать будет? Наверняка у него и дети есть.

В тот день ближе к обеду я спокойным тоном сказал Абдужаббару:

— Дружище, не обессудьте. Выпивки больше нет.

Мастер по-всякому пробовал уломать меня. Но не вышло. Я был непоколебим. Он полез на крышу хмурый. Перестал разговаривать, перестал петь. Так продолжалось дня три-четыре. А потом у меня кончился отпуск, и я приступил к работе.

Однажды после обеда наведалься домой, взглянуть, как продвигается работа. Слышу, мастер поет во весь голос. Стукнет раза два по кровельному железу молотком и поет:

Я иду по саду...

Стукнет еще пару раз и снова заводит:

Я иду по цветущему саду..

Во дворе мать кипятила чай.

— Ого, опять началось «Я иду по саду...»? Кто его напоил?— спросил я.

— Не знаю,— ответила мать, не взглянув на меня.— Кажется, он не пил.

Абдужаббар, видимо, подслушивал нас. Он крикнул с крыши:

— Что вы говорите, братец мой! Не пил я. Могу поклясться. А чего мне скрывать, если бы я даже выпил? Я не такой бессовестный, чтоб пить, когда рядом со мной Пошша-ая!¹ Вот если бы вы принесли бутылочку «беленькой», то вечером пропустили бы...

Я промолчал.

...Недавно я сидел дома и что-то писал. Вдруг входит Абдужаббар. Одет прилично. На голове новенькая тюбетейка. Гладко выбрит.

— Ну что, братец, все пописываете?— спросил он громко.— Не нужны ли мои услуги?

Удивительно, но меня он не раздражал, скорее был

¹ А я — матушка.

приятен. Мне нравилось, как он своим певучим голосом выговаривал «братец». Мы поздоровались, обнялись.

— Выпить хотите?— предложил я.— Помните, тогда я вас обижал. Теперь надо бы рассчитаться с вами.

— Нет,— покачал головой Абдужаббар.— Это я пришел отдать вам должок.

Он покопался в карманах брюк, достал десять рублей и положил на стол.

— Вот, извольте.

— Что это?

— Долг.— Он почему-то нахмурился.

Я ничего не понимал.

— Вы мне ничего не должны.

— Их тогда одолжила мне Пошша.

Мастер вдруг стал очень серьезным. Опечалился и я, вспомнив мать.

— Ну, хорошо, даже если вы брали у нее деньги,— сказал я тихо,— стоит ли об этом вспоминать?

— Стоит,— произнес Абдужаббар,— она дала их в долг не совсем обычным образом.

— А как?

— Хорошо, расскажу все по порядку,— буркнул Абдужаббар, смотря куда-то в сторону, будто я ему был неприятен.— А было вот так. В тот день, когда я крыл крышу кровельным железом, у нашего соседа играли свадьбу. Ну, там я и набрался как следует. Утром встал, башка трещит. Не различаю, где дверь, где окно. Вдобавок ко всему жена ворчит. Вы ведь знаете, какие они, женщины.— Ища сочувствия, он взглянул мне в лицо.— Если вовремя приносишь зарплату и хорошо одеваешь их — ты хороший. А чуть что не так, пиши пропало. Так вот, чувствую, что назревает гроза. И удрал на улицу. Только по дороге обнаружил, что жена, будь она неладна, «очистила» мои карманы! Пришел сюда, вижу, вас нет. Пожаловался матушке Пошше, так, мол, и так, чувствую себя прескверно, нужно опохмелиться. А она и слушать не желает. Я стал ее уговаривать: «Матушка Пошша, милая! Ежели я сейчас не выпью, то помру, и вас всю жизнь будет мучить совесть. Мне нужно-то всего пять рублей». Где там! Отругала меня. «Не хочу, говорит, брать на себя грех, давая тебе деньги на водку. Лучше я тебе приготовлю вкусную маставу¹. А я еле

¹ Мастава — рисовый суп с рубленным мясом, заправленный кислым молоком.

держусь на ногах. Хватаюсь руками за голову. А она смотрит на меня жалостливым взглядом. Чувствую, что ей жаль меня. Но все равно не уступает. Вижу, ничего у меня не получится. Кое-как залез на крышу и начал работать. Вдруг слышу, зовет меня. Мастава, оказывается, готова. А на кой черт мне эта мастава! Лучше сто граммов «беленькой», чем сто тарелок маставы. Долго звала она меня. Спустился я и вижу: под лестницей лежит скомканная пятирублевка. Она, как огонь, так и вспыхнула перед глазами. Поднял я ее, а руки у самого дрожат.

— Чьи деньги?— громко спросил я.

Матушка Пошша наливала маставу в тарелку. Я подбежал к ней.

— Деньги ваши?— опять громко спрашиваю я.

Она вдруг рассердилась.

— Коль ты нашел их, стало быть, твои. Чего орешь?

Абдужаббар помолчал. Уставился глазами в одну точку. В глазах его я увидел несвойственную ему тоску.

— Потом еще раз, когда я «заболел», матушка Пошша так же «потеряла» пятерку,— тихо сказал он.— А я «нашел» ее.

Наступило долгое молчание. Абдужаббар по-прежнему глядел в одну точку. Лицо его было хмурым.

— Вот и получилось, что задолжал я ей десять рублей,— сказал он, подвигая деньги ко мне поближе.

— Оставьте их себе,— сказал я искренне.

— Не возьмете, обижусь до гроба,— Абдужаббар резко направился к выходу. Остановившись на пороге, обернулся.— Как-то раз я пошел к ней на кладбище, но вернулся назад от кладбищенских ворот,— сказал он дрогнувшим голосом.— Совесть не позволила. Был я выпивши.— Он на минуту уставился глазами в пол, потом добавил:— А сегодня четверг¹, сегодня пойду схожу к ней. Уже три дня как ни капли не брал в рот.— И, не дожидаясь моего ответа, вышел, хлопнув дверью.

ЗАВИСТЬ

Говорят, что самое лучшее лекарство от горя — это время. Не знаю, может быть, для других так оно и есть. А для меня... Иногда мне кажется, что я уже пережил

¹ У мусульман четверг является священным днем, в этот день родственники и близкие идут на кладбище почтить память умерших.

свое горе, но достаточно малейшего толчка, чтобы оно вновь заставило меня страдать. В бессонные ночи мне слышится голос матери. Она успокаивает меня: «Не надо печалиться, мальчик мой. Все пройдет... Главное для меня — твоё здоровье, твоё счастье».

Есть у меня друг Джахангир. Хороший, близкий друг. Отличительная его черта — он постоянно в разъездах. Сегодня в Ташкенте, а завтра уже в Самарканде. Жена у него женщина тихая, неразговорчивая. Спрашиваешь: «А где Джахангир?» — отвечает: «Не знаю, кажется, в командировке в Таджикистане. Приедет на следующей неделе». А на следующей неделе он уже оказывается где-нибудь в Туркмении.

Недавно он заехал ко мне домой.

— А ну, — сказал он, как всегда второпях, — соберайся! Едем в Джизак.

Я придумал тысячу предлогов, чтобы отказаться. Но он и слушать не стал. Поташил к себе домой. У ворот его дома стоял новенький «Москвич», еще блестящий лаком. А рядом с машиной застыла мать Джахангира — тетушка Мехри. Что-то в ней было от моей матери. Такой же наклон головы, когда она смотрит на собеседника, немножко грустные глаза, седые волосы, выбивающиеся из-под темного платка. Такой же длинный черный бархатный жилет носила и моя мать.

Тетушка Мехри очень довольна сыном. Когда она стала слепнуть, Джахангир повез ее к знаменитому доктору Мухамаджану на операцию. Тетушка Мехри при всяком удобном случае читает молитвы в честь сына. И не устает повторять: «Это мой Джахангир открыл снова мои глаза. Благодаря ему я снова увидела белый свет».

Она обрадовалась мне. Поцеловала в лоб.

— Твоему другу, — указала она на Джахангира, — опять не сидится на месте. Как огонь. Только вчера приехал, а сегодня опять уезжает.

Я промолчал, ибо сам хорошо знал повадки друга. Джахангир, открыв капот, копался в моторе.

— Будьте осторожны в пути, — тетушка Мехри умоляюще посмотрела на нас своими мутными глазами.

— Не беспокойтесь, — успокоил я ее.

— А? Что вы сказали?

— Не беспокойтесь! — очень громко сказал я, зная, что тетушка Мехри плохо слышит. — Послезавтра вернемся.

Тетушка Мехри подошла к Джахангиру, все еще копавшемуся в моторе.

— Джахан,— тихо сказала она,— будь осторожен, когда поедете через горы.

Джахангир взглянул на мать через плечо.

— По дороге на Джизак никаких гор нет.

— Я беспокоюсь оттого, что вам придется ехать в горах,— стояла на своем старушка.— Не гони машину. Не надо торопиться, сын мой.

— Я же объясняю вам, что нет там никаких гор.— Джахан выпрямился во весь рост.— Не бойтесь, мама, мы и близко не подъедем к горам. Мы их объедем.

Тетушка Мехри на минуту задумалась. Ответы сына не успокоили ее. Она приблизилась ко мне.

— Вы уж присмотрите за ним, душа моя,— сказала она.— Скажите ему, чтоб ехал помедленнее, с остановками. Пусть побольше отдыхает.

— Ладно, я присмотрю за ним. Будем ехать медленно, с остановками.

Тетушка Мехри постояла еще с минуту и зашла во двор. Вернулась она через некоторое время с каким-то предметом под мышкой. Похоже, это была овчина.

Так и есть, тулуп. Джахангир недовольно поморщился:

— И так ведь тепло. Что я с ним буду делать?

— Что?

— Тепло, говорю. Что мне с ним делать?

— Оденешь, если вдруг замерзнешь.

То, как друг сердился на мать, а она стояла с тулупом под мышкой, вызывало одновременно и улыбку и грусть.

— Давайте мне,— я забрал тулуп у тетушки Мехри.— Если его не наденет Джахан, то надену я.

— Ладно, поехали, а то опоздаем!— сказал Джахангир и сел в машину.

— погоди!— Тетушка Мехри протянула вперед обе руки, покрытые коричневыми пятнышками. Она приступила к молитве. Потом взглянула на меня:— Поручаю его вам, а вас — самому аллаху. Чтоб вернулись живыми-здоровыми. Чтоб ваша поездка удалась. Чтобы все у вас было хорошо. Чтоб стали вы богатыми. Чтоб...

Джахангир завел мотор. Тетушка Мехри «закруглилась» с молитвой. Поднесла обе руки к лицу. Друг мой едва успел развернуть машину, как матушка Мехри крикнула:

— Погоди!

Джахангиру ничего не оставалось, как нажать на тормоз.

— Ну, что там еще, мама?— недовольно спросил он, открывая дверцу.

Она подбежала, задыхаясь. Что-то начала искать в кармане жилета.

— Что вы там ищете?— Джахангир уже сердился.

— Погоди, сынок.— Тетушка Мехри вытащила наконец из кармана кусок ваты.— На,— сказала она, протягивая его сыну,— сунь в ухо. Не забывай, как у тебя болят уши, едва простудишь.

— Этого еще не хватало!— Джахангир все-таки взял вату и бросил рядом с собой на сиденье.— Ну, до свидания! Счастливо оставаться!

— Нет, ты сейчас же воткни вату в ухо, не то забудешь!

— Ох!— Джахангир оторвал кусочек ваты и воткнул в ухо. Снова включил мотор, и мы поехали. Оба молчали с минуту. Друг, не отрывая глаз от дороги, сказал:— Что старый, что малый. Верно, оказывается, говорят.

Я промолчал. Что я мог ответить? Отчего те слова, которые сказала мать, не сказали ни жена, ни дети, ни кто-нибудь другой? Ведь только у матери может так болеть о тебе душа. Можно было сказать ему и другое: «Понимаешь ли ты, как я завидую тебе?»

В ту ночь мне опять приснилась мать. Будто она ходила за мной с куском ваты в руках...

ХВОСТ ЯЩЕРИЦЫ

Возле ворот нашего дома есть скамейка, поверхность которой уже стала гладкой от долгого служения людям. Каждый день, возвращаясь с работы, гляжу я на нее. Раньше здесь, у этой скамейки, бывало так оживленно.

Помнится: рано утром, спозаранку, мать широко открывает ворота. Она всегда говорила: если открыть ворота рано утром, то в дом непременно войдет ангел доброты. Я еще сплю, а во дворе уже начинаются разговоры.

— Здравствуйте, тетушка Пошша!

— Здравствуй, родной, здравствуй!

— Сын-то пишет?

— Да вот уже две недели, как нет от него ничего. Всякие мысли лезут в голову.

— Скоро вернется. Вот увидите! Сейчас уже многие возвращаются из армии.

В субботу и воскресенье стоит мне сесть за работу, как шум за окном усиливается. Скамейка та как раз под моим окном. Хорошая половина детей нашего квартала слетается сюда, садится в ряд, как птенцы ласточки на проводах. Посреди детворы восседает мать.

— Мама Пошша, дайте конфетку!

— Мама Пошша, и мне! Не такую, а в блестящей бу-мажке!

И в это время, как правило, появляется тощий, как коза, осел с обвислыми от старости ушами. Он тянет за собой миниатюрную арбу, которая страшно скрипит. Арба останавливается, словно поезд по расписанию, у самого моего окна. Смуглый старик, который и зимой и летом ходит в ичигах с кавушами и шапке-ушанке, слезает с арбы и с возгласом «Бисмилло» принимается орать во всю глотку:

— Приехала шара-бара-аа! Подходите, подхо-ди-и-те!

Всегда удивляюсь, откуда у этого тщедушного старичка такой могучий голос.

Старик складывает ладони рупором и кричит. От его крика дрожат даже оконные стекла.

— Подходите! Подходите! Есть красивые, золотом расшитые мячики!

В промежутке между криками он еще успевает по-здороваться с матерью.

— Ну как, сестра Пошша, здоровье-то?

— Спасибо!— отвечает мать.— А когда приедет ваш младший?

Младший сын старика учится в аспирантуре в Москве.

— Тилиграм уже была. Приедет двадцатого. Я уже купил барана. На Коктерацком базаре. Приедет сын, зарежу в его честь.— Он еще раз складывает ладони рупором и кричит:— Эй, подходите все, есть шара-бара-а-а!

Опять дрожат стекла. Мать со стайкой загорелых де-тишек входит во двор. Крик, шум.

— Мама, давайте бутылку!

— И мне, и мне!

— Мама Пошша! Дайте десять копеек. Куплю свирель.

— И мне тоже.

Старик торгует под окном с полчаса. Кому жвачку предлагает, кому погремушку. А кому-то и мячик на резинке. Бьешь по нему ладонью, отбрасываешь его подальше от себя, в сторону, а он все равно возвращается в прежнее положение. А старый осел стоит себе спокойно, отдыхает, почти что спит стоя.

Вы думаете, с уходом старика шум прекращается? Как бы не так! Наоборот, возрастает.

— Нилу, чтоб тебе пусто было! Ты же отнесла бутылку вместе с маслом!

— Эй, Алиш! Что ты наделал? Вот отец задаст тебе. Покажет он тебе свирель! Подумать только — вылил водку и отнес бутылку. Только попадись мне, уши надеру!

Мать утешает провинившегося.

— Не говорите так, невестка! Ведь они же дети! Им все нипочем. Каждый ребенок сам себе царь. Ничего не случится, если муж ваш один день не попробует эту проклятую водку!

А весной, когда расцветают вишни, под окном не стихает до полуночи. То и дело раздаются шепот, хихиканье. Все это мне надоело. И решил я распилить скамейку пополам. Взял в руки ножовку и вышел на улицу. Мать сидела на скамейке, как всегда, в окружении детворы.

— Что случилось?— спросила она удивленно, глядя на ножовку.

— Хватит!— буркнул я.— Невозможно отдохнуть. От вашего шума и гама болит голова.

Ребятишки и девчонки, косички которых торчали мышиными хвостиками, с мольбой взглянули не на меня, а на мать.

— Человек жив человеком, сын мой,— сказала она.— Детям здесь хорошо, разве ты не видишь?!

В одно из воскресений у ворот нашего дома было особенно шумно. На этот раз собрались не дети, а женщины. По отдельным восхищенным возгласам я понял, что пришла Хури-сатанг, франтиха и модница.

Хури-сатанг молодая красивая женщина. Во рту полно золотых зубов, это ее немного портит. Личная жизнь у бедняги не сложилась. Вышла она замуж за тихого монтера, который угождал всей махалле, устанавливая

на свадьбах во дворах людей лампы мощностью в киловатт. Прошло всего пять месяцев, а Хури уже родила ему двух очаровательных девочек-близняшек. Злые языки поговаривали, что Хури случайно скушала абрикос вместе с косточкой. Потому, мол, у нее так и получилось. Монтер, хотя был тихим и скромным, все же оказался человеком с достоинством. Бросив все, и дом и имущество, уехал куда глаза глядят.

Худая, как колосок, Хури, после того как ее бросил муж, располнела. Она любила повторять: «Вот не померла же без мужа, а совсем наоборот». При виде ее сумки загораются глаза у всех женщин. Действительно, это не сумка, а настоящий клад. В ней можно найти все: от хрустальной вазы до мохеровой кофты, от модных туфель на высоких каблуках до атласной, самой модной материи.

Я выглянул в окно и увидел, как бойко идет «торговля», словно на базаре. Хури-сатанг поставила свою полную ногу на скамейку рядом с матерью и демонстрировала какую-то блестящую ткань. Женщины глядели на ткань зачарованными глазами. Мать еле удерживалась на краешке скамейки, ей, конечно, мешала нога Хури-сатанг...

— Теперь такую материю уже не выпускают,— Хури-сатанг положила конец отреза на колено, погладила.

Женщины продолжали завороченно глядеть на ткань. Но ни одна не решалась спросить цену.

— В этом тленном мире что еще остается человеку?— Хури-сатанг махнула своей округлой рукой.— Только хорошо есть, пить и одеваться! Дильбар-апа, возьмите деньги, которые ваш муж прячет в сундуке. Если он мужчина, пусть купит для вас эту дорогую ткань.

Дильбар-апа вздохнула.

— Может, когда-нибудь и нам достанутся такие вещи. А пока...

— Когда же вам наряжаться, как не сейчас? Через два-три года от красоты вашей ничего не останется. Ни кому вы не будете нужны. Подумайте об этом.

Дильбар-апа что-то пробурчала себе под нос. Хури-сатанг вопросительно поглядела на женщин: «Стало быть, никто из вас не в состоянии купить, да?» И сунула ткань обратно в сумку. Через минуту вытащила еще что-то. И снова женщины склонились над ней, как

дети, разглядывающие новую игрушку своего товарища.

— Ого! Вот это серьги!

— А сколько они стоят?

— Это дороже золота. Платина называется.— Хури-сатанг гордо подняла голову.— Тринадцать!

Мать решила вставить свое слово.

— Покажите. Ежели они стоят тринадцать рублей, то не так уж это и дорого.

Хури-сатанг громко расхохоталась. Смех у нее неестественный. У смеющегося человека в глазах вспыхивают светлые искорки. А когда смеется Хури-сатанг, лицо и глаза остаются без изменения, она издает только звуки, напоминающие смех: «Ха-ха-ха». При этом сверкают ее золотые зубы да вздрагивают ее мощные груди.

— Это стоит тысячу триста рублей, матушка Пошша! Вы гляньте на камень — это же настоящий бриллиант.

Она спрятала бриллиантовые серьги, словно говоря: «Хватит, представление окончилось». Потом опять запустила руку в сумку и вытащила другую блестящую ткань. Соседка наша Зухра, беременная молодая женщина, несмело взялась за краешек материн.

— Пожалуйста,— сказала Хури-сатанг.— Можно пощупать. Не мнется. Называется «мокрый трикотин».

Мать тоже потрогала краешек материн.

— Похожа на нашу обыкновенную марлю,— сказала она.

— Вай, вай, марля бывает только в бане,— сказала Хури-сатанг, нахмурившись,— я говорю, что это «мокрый трикотин», а я знаю, что говорю.

— А сколько он стоит?— спросила Зухра.

— Э, конечно, дешевле, чем лошадь или верблюд, сестричка! Мы знаем друг дружку, мне ни к чему вас обманывать. Ну, скажем, за сто двадцать отдам, отрез хороший. Если возьмешь, не пожалеешь, такое платье получится, все мужчины оглядываться будут.

Зухра тихонько убрала руку. Муж ее работает шофером. Весной, когда он вез в какой-то совхоз тутовые ветви с листьями для коконов шелкопряда, машина перевернулась, и он месяца три провалялся в гипсе. И сейчас еще не вышел на работу.

— Нет, это нам не подходит,— тихо сказала Зухра.

— Ха-ха-ха!— Хури-сатанг насмешливо рассмеялась.— Что же это за муж у вас, если он не может купить жене одно-единственное платье! Я вижу, вы вскоре собираетесь подарить ему джигита. А он что? Без подарка хочет обойтись?

Лицо Зухры, покрытое пятнами, покраснело.

— Ладно,— сказала она,— обойдусь как-нибудь без трикотина.

Все же ей, видимо, очень понравилась ткань, потому что она еще раз пощупала ее.

— Я же вам говорю, не пожалеете. Стоящая вещь,— Хури-сатанг пальцами, унизанными золотыми кольцами, сильно смяла ткань и отпустила ее. Ткань моментально приняла прежний вид.— Тот, кто умеет делать детей, должен уметь и жену свою одеть как подобает.

— Каждый сам знает свое положение, дитя мое,— вмешалась в разговор мать.— Почему вы стыдите ее?

— Вай, вай, послушайте, что говорит эта женщина, а?— Хури-сатанг вдруг посерьезнела.— Я же не заставляю ее покупать. Я тоже знаю свое положение. И воспитываю не одну, а сразу двух несчастных сироток.

— Вам-то что,— холодно отрезала мать.— Вам-то жаловаться на жизнь грешно.

Зухра никак не могла успокоиться.

— За восемьдесят рублей не отдадите?— спросила она.

— За восемьдесят рублей купите себе мороженое. И с удовольствием полакомьтесь вместе с мужем.

— Да уступите вы, не будьте скрягой,— снова вмешалась мать,— в конце концов все мы из одной махалли! Хоронить друг друга будем.

— Меня и без вас похоронят. Кто первый отправится туда, а кто последний, одному богу известно.— Хури-сатанг выдернула ткань из рук Зухры.— Сперва пусть родит нормально...

Зухра побледнела.

— Чтоб у вас язык отсох,— рассердилась мать.— Ну-ка идите отсюда со своими тряпками и никогда больше не приходите!— Она махнула рукой так, будто отгоняла назойливую муху.— Идите, идите! Не нужны нам ваши вещи!

— Хо-хо! Ежели вы не можете достать виноград, стало быть, он для вас кислый, да?— Хури-сатанг схватила свою сумку и быстро пошла прочь.

Через минуту разошлись и женщины.

Ушла и мать. Некоторое время спустя из ее комнаты послышалось:

— Вот бессовестная! Чтоб черные мысли твои подкосили твои собственные ноги! Ведь Зухра стоит перед таким испытанием. Зачем же ты говоришь ей такие слова?

Удивительная привычка у матери: как разгневаается, разговаривает сама с собой. Я потихоньку заглянул в полуотворенную дверь. Она пришивала к чему-то пуговицу, на руки ее падал яркий свет из окна.

— Ежели б ты была добрым человеком, то сказала бы: «Сначала роди ребеночка, милая,— утешила бы ее,— ты еще молодая, успеешь еще походить и не в таких красивых платьях!» Вот ведьма бесстыжая! Чтоб ты подохла со своими деньгами! Чтоб тебе саван сшили из денег!

Я отлично знал, о чем говорит мать, но все же спросил:

— Кого это вы ругаете, мама?

Она резко обернулась ко мне.

— Э,— сказала она, махнув рукой,— каких только людей на свете нет.

...Самое удивительное произошло спустя два месяца. Вернувшись с работы, я заглянул в комнату матери. Здесь сидела Хури-сатанг. Она сделалась какой-то некрасивой, может, оттого, что была не накрашена. Глаза ее были заплаканы, лицо припухло и стало еще более круглым, похожим на поднос. Я с удивлением отметил про себя, что на шее нет жемчужного ожерелья, а на пальцах — золотых колец. Увидев меня, она перепугалась и метнулась из комнаты.

— Зачем она приходила?— недовольным тоном спросил я у матери.

Мать подвинулась: мол, садись рядом. Я понял, что она хочет поговорить со мной о чем-то серьезном.

— Что случилось?

Мать ответила не сразу. Сняла с чайника ватный колпак, сохраняющий тепло, и налила в пиалу чай.

— Ты знаешь Ачилова?— спросила она наконец.

— А в чем дело?— осторожно спросил я.

— Он собирается писать фельетон про Хури. Ты бы сказал ему, чтоб не писал.

— Я с ним не знаком,— соврал я.

— Если ты с ним не знаком, он должен знать тебя,— спокойным тоном сказала мать.

— Ну и что с того, что знает?— рассердился я.— Вам же известно, что я в такие дела не вмешаюсь.

— Известно, сын мой, известно,— мать задумалась. Потом опять повторила:— Попроси, чтоб не писал про нее.

Я рассердился еще больше.

— Странная вы,— сказал я,— то вы ее ругаете на чем свет соит, а теперь вот защищаете. Да кто она такая? Обыкновенная спекулянтка. Без совести, без чести.

— Что правда, то правда,— сказала мать, помолчав немного.— Хури дрянная женщина, нечестная. Она как хвост ящерицы, сын мой. Попробуй отрежь хвост у ящерицы, он тут же отрастет снова. Не за нее прошу.— Она похлопала меня по плечу.— Пей чай,— сказала она успокаивающе.— Ведь у нее дети. Две девочки. Пропадут они без нее...

Я промолчал. По правде говоря, я не знал, что ответить. Если бы я мог знать, что это последняя просьба матери...

А теперь скамейка пустует. Ни детей, ни женщин. Даже «Шарабара» объезжает нашу улицу стороной...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Кладбище обнесено кирпичной стеной. За воротами стоит маленькая келья могильщика. А по эту сторону стены — его дом.

Я подошел к воротам кладбища и услышал слова молитвы.

Голос исходил из кельи. А из дома раздавалась колыбельная.

Спи, моя козочка, моя красавица дочурка, алла...

Кто же это поет? Невестка могильщика? Или его дочь?

Утром прошел дождь. На железных решетках кладбищенских ворот еще поблескивали прозрачные капли. В луже отражалось солнце. На той стороне раздавались слова молитвы, на этой звучала колыбельная. Самое удивительное, что это не противоречило друг другу, а сливалось в какую-то удивительную симфонию. И симфония эта плыла в весеннем небе, наполненном неповторимыми запахами весны, над высокими, только что начавшими расцветать тополями.

Рабан-о-о-о- Раб-ба-но-о-о!
Аллае, алла-а-а!

Я не помню, пела ли мать колыбельную над моей люлькой. Но отлично помню, как мать пела колыбельную младшему братишке, много раз слышал.

Зимними вечерами мы, дети, лежали рядышком возле сандала. В комнате царил полумрак. Тускло светила керосиновая лампа. Лампа всегда стояла на одном месте, и на потолке образовался постепенно желтый круг. В доме тихо. Так тихо, что слышен стук ходиков в соседней комнате. Во дворе гудит снежный буран. Сухие хлопья снега ударяются о стекло. Тихо покачивается, поскрипывает люлька. Мать поет колыбельную:

Спи, сынок мой, спи, алла,
Усни в моих объятиях, алла...-

Нет, это не песня. В голосе матери нечто такое, что хватает за душу, может, тоска, может, мольба...

Ты мой орел, парящий в небесах над горами, алла!
Ты мой жеребенок, спящий в люльке, алла...

Братишка засыпает. Мать, обнимая люльку, тоже засыпает. Рука ее бессильно опускается. Братишка просыпается. Снова скрипит люлька. Снова мать покачивает ее.

Будь первым среди джигитов, сын мой, алла..
Будь опорой моему сердцу, алла..

И опять становится тихо-тихо. Тикают ходики. Хлопья снега ударяются в окно. Я потихоньку начинаю засыпать. В ушах звучит мамин голос.

Я каждый миг думаю о тебе, алла..
Ты светоч глаз монх, сынок мой, алла.

...Будучи уже взрослым, слышал я колыбельную не раз. И всегда сердце мое охватывало сладкое, щемящее чувство. И я не мог понять, отчего бы это. Несколько лет назад мы, несколько братьев по перу, поехали в далекое горное селение. Машины туда не ходили. Ехали мы верхом на лошадях. С непривычки я быстро устал. Мы еще не добрались до конечного пункта, а уже опустились сумерки. Заночевали в пути, в одной киргизской юрте. Пили кумыс. А потом уснули, кто накинув на себя кошму, кто накрывшись тулупом. Посреди ночи я проснулся от холода. Кругом стояла тишина. Только где-то вдалеке лаяли собаки. Из окна юрты виднелась бледная луна. И в это время я услышал в соседней юрте плач ребенка, а потом колыбельную. Я не понимал слов, но смысл песни был ясен. Защемило сердце. Может, голос этой женщины, ее интонации чем-то напомнили мать. Колыбельная убаюкала и меня, и я стал потихоньку засыпать. Будто колыбельная пелась не ребенку, а мне.

Спустя три-четыре года похожее состояние я пережил еще раз. Отдыхал я в Кисловодске. Если соберутся четверо узбеков, то первым делом встает вопрос: как приготовить плов? В одной из частных квартир близ санатория мы нашли казанок. Квартиру эту снимала на лето молодая женщина из Сибири. Эта приветливая дородная женщина с лицом, покрытым веснушками, быстро нашла с нами общий язык. Она отдыхала здесь вместе с маленьким сыном. Стала помогать нам резать морковь, мыть посуду. Призналась, что никогда не пробовала узбекского плова, хотя немало слышала о нем. Вместе поели плов, пили зеленый чай. Потом сибирячка взяла на руки сына и унесла в другую комнату. Вскоре раздался ее голос:

Баю-баюшки-баю,
баю-бай...

Друзья оживленно беседовали о чем-то, но я уже ничего не слышал, кроме колыбельной.

Баю-бай...

Что же это такое? Что за волшебство?

Может статься, что человек на одном краю земли произнесет слова любви, а человек на другом краю земли не поймет его. Может случиться и такое: человек, находящийся в одной части света, споет песню, а для человека, живущего в другой части света, она останется чужой. Может быть и так: мудрая мысль, высказанная в одной стране, не найдет отклика в другой. Все это может быть. Но от колыбельной песни, спетой на одном краю земли, уснет младенец, не спящий на другом ее краю. Отчего так происходит? Почему то, что объединяет младенцев, не объединяет нас, взрослых? Может, то, что поют своим детям матери, несет в себе какой-то свой, особый смысл, непонятный нам? Может, поэтому мать и есть самое великое творение природы?

Не знаю... Я продолжал стоять в оцепенении у кладбищенских ворот, по одну сторону которых раздавалась молитва, а по другую — колыбельная песня...

МРАМОР БЕЛЫЙ, МРАМОР ЧЕРНЫЙ

Весна начинается не с подножия стен, обращенных к солнцу, не с говорливых ручейков, а с первой травки, которая раньше всего пробивается вблизи могильных холмиков.

Ранний подснежник первым делом прозвонит в свой печальный колокольчик над застывшим безмолвием кладбища. Алые как кровь маки первыми появляются здесь, на кладбище.

Кто знает, может, это случается по особому повелению природы, которая словно бы посылает усопшим свои дары. Среди алых тюльпанов и ирисов мелькают

мраморные плиты. Мрамор белый, мрамор черный... мрамор синий.

Плиты белые, плиты черные... Сколько слез пролито над каждой из них. Может, надписи на них и есть самые искренние слова, которые произнес человек на этом свете? Но только... Каждый раз задумываюсь об одном и том же: тот, кто написал такие идущие от самого сердца слова, как он относился к матери при ее жизни? Не забыл ли купить платье матери, когда покупал дорогую шубу жене? А когда стелил себе под ноги ковры, не забыл ли купить матери хотя бы обычную кошму? Или, когда покупал на день рождения сыну велосипед, а дочери — шелковое платье, не забыл ли подарить своей матери простые чулки?

...Весна начинается не с подножия стен, обращенных к солнцу. Не с говорливых ручейков. Для меня весна начинается здесь, на кладбище. Подснежники, которые рассыпают свои нежные бубенчики над могилами, алые маки — все это, может быть, и есть тот дар природы, который она посылает матерям, чтобы утешить их детей...

МОЛЬБА

Мама, это я пришел. Слышите, мама, это я пришел снова... А со мной еще одна весна. Помните, каждый раз, когда наступала весна, я возил вас в поле. Как вы радовались весеннему яркому солнцу, чистому небу, зеленым травам, вдыхали аромат подснежников, которые собирали вам ваши внучата, и вы говорили им: «Омонлик-сомонлик!»—«Да будем здоровы!»

А сегодня... Я вижу подснежник на вашей могиле. Нет-нет, мама, я не плачу. Знаю, что, если заплачу, огорчу вас. Сейчас... Сейчас это пройдет. Вот и все...

А утром, мама, шел дождь. Сильный был дождь. Вы любили весенние дожди. Потом выглянуло солнце. И сейчас оно светит всюю. Я не забыл еще вашу притчу о солнце. То самое солнце, о котором вы рассказывали, светит и сейчас...

Помните, мама, вы пели колыбельную моему младшему брату? Под нее засыпал и я. Если бы я умел петь колыбельную, я бы спел сейчас. Для вас, мама.

А вам будет приятно, если я поглажу траву на вашей могиле? Вот так, родная, вот так...

Помните, мама, вы сказали однажды, всего один раз и то шутя: «И про меня напиши книгу, сынок». — «А что я напишу про вас?» — спросил я тогда. Пожалуйста, не сердитесь. Тогда ведь я пошутил. Вот это и есть та самая книга. Нет, не я написал ее. Ее написали вы. А я только переписал, размножил и разослал людям... Хорошо бы, ее прочли все матери мира... Потому что во всем свете матери прекрасны. И все равно мне хотелось бы, чтобы все они были похожими на вас...

УТКУР ХАШИМОВ
ДЕНЬ МОТЫЛЬКА

Перевод М. Ганиной.



Глава первая

1

Алимардан приоткрыл глаза, одолевая тяжкое забытие, огляделся, пытаясь сообразить, где он и что с ним. Ломило спину, ватная курпача, которую он натянул до горла, кутаясь во сне, когда его знобило, сейчас была влажной от пота. Он потер ладонью лоб, убирая прилипшие волосы, глубоко вздохнул, закашлялся. Очнувшись окончательно, перевернулся на живот, вытер потное лицо о несвежую цветастую наволочку подушки. Сбросил курпачу.

В открытое окно влетела ласточка, покружилась под серым, с толстыми выступающими балками потолком и снова вылетела. Со двора потянуло холодом и еще откуда-то от соседей запахом бараньей шурпы. Алимардан почувствовал, как к горлу подступают тошнота и снова кашель. Приподнявшись на локтях, он кашлянул, не смыкая губ: по опыту прошлых частых бронхитов он знал, что если задавить первые приступы кашля, потом он утихнет и только будет слегка свербеть внутри. Справился с приступом, повернулся на бок, глядя в раскрытое окно. Створки с пыльными, давно не мытыми стеклами поскрипывали от порывов ветра.

Облетали красные круглые листья с урючины, один опустился на узкий подоконник, скользнул на пол, на коричневую с желтым узором верблюжьей кошму — намаст и как бы слился с ней, как бы стал одним из ее узоров.

Мать умерла полгода назад, с тех пор все в доме пришло в упадок. Умерла, так и не отпив пиалу чая, поднесенную рукой невестки, не понянчив внука. А она так мечтала об этом! «Закончу консерваторию, тогда уж будет видно, мама. Не беспокойтесь, еще успеете нажиться с невесткой!» — отнекивался Алимардан каждый раз, когда мать впрямую и намеками твердила ему об од-

ном и том же. Но оставалась неделя до выпуска, когда мать умерла от инсульта,— и вот в доме грязновато, пахнет запустением. Нет женщины, нет хозяйки в доме. Видно, чуяло сердце матери, когда торопила сына с женьбой.

Девушек знакомых у Алимардана всегда было достаточно, наверное, многие не отказались бы выйти за него замуж. Но каждый раз, когда Алимардан представлял себе, что вот это милое, симпатичное лицо он должен будет созерцать изо дня в день всю жизнь, ему становилось скучно. Однако он был влюбчив и не отказывал себе в удовольствии ухаживать за красивыми девушками.

Заболел он, собственно, тоже из-за девушки.

Два дня назад, в воскресенье, Алимардан со своим другом Анваром и еще тремя знакомыми парнями поехали на Ташкентское море. Неподалеку от них расположилась компания с текстильного комбината. Сначала текстильщицы старались петь погромче, чтобы перекрыть соседей, после притихли и стали слушать, как поет Алимардан. Голубоглазая круглолицая хохлушка разглядывала его, пожалуй, внимательнее остальных; Алимардан, заметив это, замолчал и, улыбнувшись, хотел заговорить с ней. Однако девушка вдруг повернулась к нему полной спиной, обтянутой голубой вязаной кофтой, и громко начала объяснять подруге, что теперь мужчины стали нежные, как женщины: заливаются соловьем, распевают — это все прекрасно, но вот, например, урони она сейчас колечко в воду — хохлушка подняла руку с красным рубиновым перстнем,— и из присутствующих никто не решится нырнуть за ним: вода-то холодная, осенняя! Не то что в прежние, рыцарские времена!

Подначка была грубая, дешевая, но Алимардан сбросил рубаху, брюки и нырнул, почувствовав, как перехватило дыхание, как стиснули тело ледяные обручи воды. Вынырнул — услышал восторженный визг девчат и нырнул снова.

«Зачем же ты? — укоризненно выговаривал ему Анвар, когда он одевался, кое-как обтеревшись и выжав трусы. — Ты же знаешь себя: бронхит...»

Конечно, бронхит. На следующее же утро он проснулся со страшной температурой, и Анвар, забежавший перед работой, чтобы проведать его, ничего не сказал, только скорбно поджимал губы, когда поил горячим чаем и заставлял глотать надоевшие уже Али-

мардану за долгие зимы болезней таблетки всяких, все усложняющихся названий антибиотиков. Правда, пока жива была мать, она часто откладывала в сторону прописанные врачами таблетки, отпаивала его травами: мятой, душицей, эвкалиптовым листом, растирала растопленным нутряным бараньим салом с перцем. Но матери уже не было.

У Алимардана вдруг перехватило горло и повлажнели глаза. Он почувствовал себя слабым, никому на свете не нужным и несчастным. Отирая локтем обильный пот, все выступавший на лбу, он то забывался, то снова приходил в себя, очень хотелось пить, но не было сил шевельнуться, протянуть руку за чайником, в котором был налит холодный зеленый чай.

Сегодня утром заходил врач, потом сестра, сделала укол, теперь должна была снова прийти сестра, но что-то задерживалась.

Алимардан задремал, во сне почувствовал голод и вдруг как наяву увидел одноглазого старика, целыми днями сидевшего на главной улице их кишлака под большим талом и продававшего семечки. Возвращаясь вечером из консерватории, Алимардан часто давал ему гривенник и отказывался от стаканчика семечек, который неизменно протягивал ему старик.

«Ты добрый,— сказала ему как-то мать, увидев, как он положил перед стариком обычную дань.— Ты не помнишь зла...» Нет, зло он помнил.

Алимардан открыл глаза, увидел прямо напротив кровати высокий платяной шкаф, на нем стоял большой гипсовый кот — мать до последних дней совала туда гривенники, двугривенные и рублевки: копила на свадьбу сына для дара малышам. И не то чтобы увидел, скорее почувствовал мать, вроде бы сидевшую в темном углу на цветастой стеганной курпаче, поджав ноги, лоб у нее был желтый, перерезанный глубокими морщинами, а на спине под шелковым платком болталось много черных с проседью тоненьких косичек. И глаза у нее были сухими и серьезными.

А потом вспомнил и увидел мать молодой, с черными огромными глазами, с блестящими косами, болтающимися до подколенок, и он пяти- или шестилетний мальчишка, поспекает за ней, несущей на голове корзину с горячими лепешками. Они идут на базар. Мать останавливается в центре базара под высоким талом, снимает с головы корзину, отдергивает тряпку, покры-

вающую лепешки, и вдруг Алимардан видит, как люди начинают разбегаться с криками: «Карабай идет! Черт усатый идет!» Мать тоже торопясь подняла на голову корзину и, схватив Алимардана за руку, бросилась бежать, но мальчишка поскользнулся, упал в лужу — мать остановилась, и ее нагнал усатый человек в милицейской фуражке. Он схватил корзину, лепешки высыпались в грязь, Карабай топтал их ногами, а мать, ломая руки, рыдала: «Дорогой, уважаемый начальник, лепешки не мои, за кусок хлеба беру продавать!.. Мальчишка голодный, не спит ночью, живот болит от голода... Неужто у тебя нет детей, начальник?! Муж в госпитале умер от ран, жить нам нечем...» Мать рыдала, Алимардан кричал от страха на весь базар, а человек в милицейской фуражке все топтал и топтал сапогами вкусный душистый хлеб — тот самый хлеб, которого и в первые послевоенные годы не хватало людям. Для Карабая его мать была просто спекулянткой, с которой он должен был бороться. Милиционер сделал свое сердце глухим к человеческим слезам: пойдя разбери, какие слезы, какие слова искренние, какие притворные. «Хлеб! Хлеб! — кричала мать с ужасом. — Уймишь, тебя аллах накажет!..»

Пекарь-сосед больше не дал матери Алимардана лепешек на продажу — они лишились и той пналы муки, которую мать получала за свою рискованную работу. Но выжили все-таки, трудно, но выжили... А несколько лет назад мать указала Алимардану на грязного одноглазого старика, продававшего семечки на главной улице: «Помнишь Карабая?..» Алимардан помнил... Помнил свой детский ужас и наивные мысли о том, как вырастет, станет зарабатывать много денег, купит матери красивые атласные платья, купит ей на рынке целую корзину халвы — и пусть мать ест. Мать даже не увидела сына работающим, не приняла из его рук первой зарплаты. Правда, со стипендии он покупал ей на базаре сласти, однажды купил шелковый платок, но все это были жалкие подарки.

Тот гривенник, который Алимардан бросал человеку, втоптавшему некогда в грязь их ежедневную горсть муки, был задатком. Придет время, Алимардан щедро будет швырять в лицо деньги всем унижавшим его и его мать, всем, кто был сытее, счастливее, удачливее их!

«Эх, мама не дождалась!..»

Алимардан заскрипел зубами и застонал, снова по-

чувствовав слезы в горле, покачал головой, усмехнувшись: раскис с болезнью!

В открытое окно был виден кусок голубого холодного неба, трепещущие на ветру красные круглые листья, еще густо облепившие ветви урючины, край крыши пустого теперь хлева — там были рассыпаны для просушки желтые початки кукурузы. Осень. Месяц сумбула. Он наступает тогда, когда холодают вдруг теплые прежде вечера, становится прозрачной мутная вода речек и арыков и в воздухе повисает тонкий аромат созревших повсюду плодов. Месяц тишины и умиротворения.

Алимардан вздохнул, повернулся на бок и с неудовольствием услышал, как хлопнула калитка и на звонкую, как бы бетонную почву утопанного двора упали чьи-то шаги. Медсестра? Нет, пожалуй, шаги были мужские. Значит, Анвар. Алимардан почувствовал раздражение, в общем-то необъяснимое. Анвар и наркомит и напоит его, даст лекарство — друг был заботлив, как женщина. Но сейчас Алимардан не хотел никого видеть, тем более вечно всем довольного, вечно улыбающегося, никогда в жизни не знавшего чувства голода друга детства... Алимардан закрыл глаза, притворяясь спящим, но, когда стукнула дверь в комнату, все-таки повернулся к вошедшему. Господи, так скучно лежать, болеть и злиться на весь свет!..

— Какие за воротами новости, Анвар?

— У тебя какие? Температура есть?

Анвар у дверей развязал шнурки ботинок и ступил в носках на намот. Коснулся мягкой узкой ладонью лба Алимардана, покачал головой сокрушенно:

— Жар еще держится... Сестра была?

— Один раз. Сейчас должна, наверное, опять прийти.

Алимардан отвечал спокойным голосом, но Анвар быстро и внимательно поглядел на него и вдруг покраснел, виновато сморщившись.

— Мама не заходила к тебе днем? Ты извини, сестра ее из Коканда приехала, она забегалась с ней, в магазин ездили, в центр, пальто покупали... Ты голодный целый день?.. Я сейчас сварю тебе маставу... Да не морщись, я вкусно сварю!.. Она питательная, сразу сил прибавится!..

Он выложил из бумажного кулька кисть розового длинного винограда, вымыл его, поставил блюдо на грудь Алимардану.

— Ешь, дорогой, сбивай температуру!..

Стащил через голову намокшую под мышками от пота нейлоновую рубашку, вышел в майке во двор, слышно было, как он рубил саксаул на растопку. Скоро от летней кухни потянуло дымком, Анвар крикнул со двора:

— Меня перевели в музыкальную редакцию на нашей телестудии! Я уже говорил с главным редактором о тебе.

— Ну и что?— вяло отозвался Алимардан.

— Сказали, чтобы ты пришел показаться, как только выздоровеешь! Это прекрасно, понимаешь. Телевидение!.. Ты сразу станешь известным!

После окончания консерватории Алимардана направили преподавателем в городскую музыкальную школу, но он пока и не думал приступать к работе: ходил показываться на радио, в эстрадный музыкальный театр. Там его не взяли, но он не отчаивался. Он верил в свой необыкновенный голос и в свою яркую звезду. Как и каждый, кому двадцать шесть лет.

Анвар взял метлу и стал подметать двор, усыпанный листьями урюка и орешины. Алимардану были видны в окно тонкая юношеская шея друга, худые плечи и лопатки, торчащие в прорези майки. Анвар до сих пор был еще как-то по мальчишески нескладен, большелобый, с узким подбородком и худыми щеками, вот, пожалуй, глаза у него были хорошие — влажные, как у жеребенка с длинными прямыми ресницами.

Алимардан утомленно опустил веки, поплыли красные круги — он почувствовал снова, что не то засыпает, не то теряет сознание. Через какое-то долгое время хлопнула калитка, Алимардан очнулся и увидел чернокосую высокую девушку и рядом Анвара, замершего с неловкой улыбкой на лице.

— Мукаддам?..— произнес, наконец, Анвар изумленно.— Как вы здесь?..

— Я же работаю теперь в кишлачной амбулатории, Анвар-джан,— усмехнулась девушка и, повернувшись, пошла к двери. Остановилась на пороге, спросила:— А вы как здесь очутились?.. Подрабатываете поваром?..

— Это мой друг тут...— Анвар опять весь залился краской, даже шея на затылке побагровела,— Алимардан. Я говорил вам про него...

«Ах, вот как!— подумал Алимардан.— Это и есть знаменитая Мукаддам! Посмотрим...»

Девушка вошла в комнату. Тоненькая, высокая, нежное, с круглым подбородком лицо было очень красиво. Под широким атласным платьем ощущалась складная фигура с тонкой талией и высокой грудью. Она обвела комнату большими глазами, привыкая к полумраку, потом посмотрела на Алимардана. Взгляды их встретились, девушка вдруг смущенно вздернула подбородок и опустила глаза. Алимардан тоже пошел велился на кровати, услышав, как прошел по телу от сердца какой-то непривычный холодок.

— Бронхит?— сказала через паузу девушка и усмехнулась, как показалось Алимардану, высокомерно.— Сейчас сделаем укол, не бойтесь?

— Не боюсь,— ответил Алимардан, чувствуя уже неприязнь к этой хорошенькой и, видно, избалованной девчонке. Он вспомнил взгляд, которым она обвела его запущенную комнату с саманными, грубо оштукатуренными стенами, грязные пиалы и чайники, составленные в нишу для посуды, старые стеганые одеяла, сложенные в другой нише, и ему сделалось совсем тошно. Сама-то она, судя по ее холеному виду, небось, жила в каменном одноэтажном особняке, которых за последние годы появилось много на окраинах Ташкента, даже в их кишлаке уже построили три или четыре таких дома. Конечно, она была одного поля ягода с этим баловнем судьбы, Анваром, недаром они так нравятся друг другу.

Пока кипели шприцы в стерилизаторе, девушка подошла к нише, где была полочка для книг, стала брать одну за другой, вслух прочитывая названия:

— Навои... Машраб... Фуркат... Я тоже люблю их газели. Вы их читаете?..

— Я их пою,— хмуро ответил Алимардан.

Девушка взглянула на старенький рубаб, стоявший в углу комнаты, одна струна на нем была оборвана, и вдруг ахнула, засмеявшись:

— О, а я вас знаю!.. Мне про вас наш доктор Хури-апа говорила! Она вас на празднике навруз слышала весной, рассказывала, вы там замечательно пели!

«Удивила!.. Сейчас меня знают только в нашем кишлаке Бустан, а скоро обо мне заговорят по всему Узбекистану»,— сердито подумал Алимардан и промолчал. Потом он скосил глаза: Мукаддам, стоя у стены,

исподтишка, разглядывала его. Увидев, что он поймал этот ее тихий взгляд, она снова смешно вздернула подбородком и побледнела от смущения.

Вошел Анвар, неся в кассе маставу, заправленную кислым молоком, и лепешки.

— Поешь,— сказал он, взглянув сначала на Мукаддам, потом на Алимардана, и поставил большую пиалу на дастархан возле постели больного.— Вы уже познакомились?.. Это Мукаддам.

— Я понял.— Алимардан усмехнулся злее, чем ему хотелось.— Я по твоему лицу понял.

Анвар снова покраснел. «Как смешно,— подумал Алимардан.— Он краснеет, она бледнеет — чудная парочка...»

Мукаддам сделала ему укол в предплечье — надо отдать ей должное, рука у нее была легкая и уверенная.

— На трупах учились уколы делать?— вежливо поинтересовался Алимардан.— На живых теперь хорошо получается... Спасибо вашим учителям.

Анвар удивленно поднял брови, а Мукаддам улыбнулась.

— Да,— ответила она, а глаза ее сказали: «Не злись, парень. Что ты злишься?»

Мукаддам собрала шприцы, пошла к выходу.

Анвар тоже вскочил:

— Я провожу вас, подождите меня немного.

Алимардан с неприязнью следил, как друг быстро собирает с дастархана пиалушки, куски лепешки, уносит все торопясь.

— Я еще зайду к тебе, лежи спокойно,— сказал Анвар и вышел вслед за девушкой.

2

Они шли узкой тропой по берегу речки. Мукаддам впереди, Анвар следом. Вокруг не было никого, и Мукаддам разулась, шлепала босиком по пыли, босоножки она повесила на палец и помахивала ими. Косы ее тяжело сползали по спине, нежные шелковые концы их вздрагивали в воздухе, тонкая шея, видная между косами, была такой белой и трогательно-беспомощной, что Анвару мучительно хотелось поцеловать ее в эту ложбинку или хотя бы просто прижаться лицом, вдох-

нуть запах кожи и чистых мягких волос. Но он не смел.

Садилось солнце. На пирамидальных тополях, редко торчащих между плоскими крышами саманных домов кишлака, слабо золотились сухие листья. По черной воде реки плыл тонкий красноватый свет. В кишлаке мычали коровы, блеяли овцы, слышны были голоса детей, возвращавшихся из школы, звон железа о железо. Тропа свернула вниз к реке. Мукаддам остановилась и вопросительно оглянулась.

— Там бревнышко перекинута с берега на берег,— сказал Анвар.— Можно перейти на ту сторону. Побежали?

Не дожидаясь ответа, он, обогнав девушку, сбежал вниз и у самой воды схватился за ствол ракиты. Улыбнулся, одними губами позвал:

— Беги!

Мукаддам раскинула руки, взвизгнула по-девчачьи и заскакала вниз, высоко поддавая худыми колесками подол платья.

— Ловите меня, Анвар-ака!

У Анвара замерло сердце и кровь застучала в висках, он представил, что вот сейчас Мукаддам, растрепанная, теплая, коснется его груди и можно будет прислониться к ее волосам, услышать их запах. В последнюю минуту он испуганно отстранился и схватил Мукаддам за локоть, чтобы не упала в реку. Она резко повернулась на бегу, покачнулась и боком прижалась к нему. Желая поддержать, Анвар неловко обхватил ее за талию, и они мгновение стояли так, словно ждали чего-то друг от друга, потом Мукаддам высвободилась.

— Ничего, я сама...

Она прошла по берегу, примяла засохшие стебли мяты, села, спустила ноги и, зачерпнув горстью воду, стала смывать со ступеней пыль. Глянула смущенно:

— Садитесь, Анвар-ака!

Анвар сел рядом, чувствуя себя взволнованным и словно бы виноватым в чем-то.

На глинистом дне реки лежали желтые узкие листья, опавшие с тала, росшего на той стороне, струились по течению красноватые короткие водоросли.

— В этой речке купаются?— спросила Мукаддам.

— Купаются... Мы купались, когда мальчишками были. Я ведь жил здесь летом, пока мы деревенский дом не продали после смерти отца.

— Деревенский?— Мукаддам засмеялась.

— Ну да. Лет пять назад тут казалось, что Ташкент далеко, воздух был чистый-чистый... И зелени много. Это сейчас большие дома почти к самому Бустану подступили и машин полно, самосвалы без конца ездят...

Они снова замолчали, не глядя друг на друга, но помня, что они сидят рядом и одни. Анвару было томительно-приятно это и казалось, что вот сейчас что-то свершится, но в то же время он опасливо косился на тропку: пройдет кто-нибудь из знакомых, а он тут с девушкой в пустынном месте, и темнеет уже... Нехорошо. Ему хотелось позвать Мукаддам идти дальше, и не было сил подняться, не было решимости разрушить сладкое, неопределенное, что стояло сейчас вокруг них, как электрическое поле...

В апреле позапрошлого года Анвара послали практикантом в отдел культуры областной газеты. Он отвечал на письма, составлял из поступающих материалов коротенькие «информашки»— в общем, занимался тем, чем обычно занимаются практиканты в газетах. Перед Днем медицинско-го работника заведующий направил его в медтехникум и поручил написать небольшой очерк о лучших студентах.

Секретарь комсомольской организации техникума, разбитной, вечно куда-то спешащий парень, привел в комитет человек десять студенток и оставил Анвара наедине, так сказать, с будущим материалом. И Анвар растерялся. Не зная, как приступить к разговору, он, серьезно нахмутив брови, писал что-то в свой блокнот, чувствуя, как все сильнее краснеют уши, и молчал. Девушки начали хихикать. Сперва тихонько, потом громче, наконец, чей-то бойкий тоненький голосок задиристо спросил:

— Товарищ писатель, что ж вы не начинаете свой допрос?

— Я не писатель,— сказал Анвар и, подняв глаза, сразу наткнулся на это личико— совсем еще детское, большеглазое и с таким ехидным выражением на поджатых пухлых губах, что он сам рассмеялся.— Я студент-журналист. И вот думаю, о чем мне вас спросить?

— А вы про биографию спросите!— подсказала опять насмешливая девушка.

— Нет, сначала имя и фамилию,— подхватил Анвар шутку.— Как вас зовут?

— Мукаддам! А вас?

— Анвар... А скажите,— Анвар снова заглянул в свой блокнот,— почему это вы приняли решение стать медиком?

— Потому что чувствовала потребность лечить журналистов!— бойко откликнулась Мукаддам.— Лечить от завирания: чего вы только там в газетах не пишете!..

В общем, серьезного разговора так и не получилось: вступили другие девушки, остроты и подковырки сыпались на Анвара со всех сторон. Победенный, он бежал с поля боя, и очерк, конечно, так и не написал. Но зато его путь из университета теперь значительно удлинился. Он довольно часто видел, как та красивая девушка, выходя из дверей техникума, садится в троллейбус, как она пересмеивается на ходу с подружками, однако подойти не решился: Мукаддам и ее подружек всегда окружало довольно много каких-то парней.

Осенью, когда их факультет послали на уборку хлопка, он неожиданно в колхозном клубе увидел Мукаддам. Анвар глазам своим не верил и, конечно, не решался подойти к ней, чтобы спросить, как же она попала сюда. Но Мукаддам заметила его, засмеялась и подошла сама.

— Вот вы и оказались обманщиком!— сказала она, протягивая руку.— Где ваш очерк о медиках?.. Я-то надеялась, что увижу свою фамилию в газете!

Она изменилась за эти полгода: глаза стали взрослыми, женскими и в губах, прежде детски припухлых, появилась какая-то определенность линии, неосознанная чувственность.

Оказалось, что их техникум был направлен на уборку хлопка в этот же колхоз. Вечерами они теперь ходили в кино вместе, гуляли тоже вместе и в городе стали видеться довольно часто. Но хотя в мечтах Анвар заходил далеко, наяву он был с Мукаддам скованным и робким. Девушка была едва ли не на пять лет моложе его — по сути, еще совсем юная, — тем не менее с ним да и с другими парнями она держалась властно и снисходительно. Анвар не мог перешагнуть через свою робость: он даже не поцеловал ее ни разу.

Мать давно уже напоминала Анвару, что пришло

время жениться, что она хочет познакомиться с девушкой, которую он выбрал. Она уже немолода, ей пора услышать в своем дворе голоса внуков. Анвар долго отмалчивался, а этой весной наконец сказал, что такая девушка есть и что, возможно, они скоро сыграют свадьбу. Обрадованная мать перестала донимать Анвара и начала деятельно готовиться к свадьбе.

Совсем смеркалось. В полыни, которой зарос бугор, застрекотал сверчок, на черной глади воды закачались мелкие звезды. Мукаддам сидела, подобрав ноги под платье, обхватив колени руками, глядела перед собой.

— Вы с Алимарданом с детства дружите?— спросила она вдруг негромко.

— Да... Вместе коров пасли. Он соседскую, а я нашу...— Анвар вдруг рассмеялся.— Мы с ним один раз пошли дыни воровать на бахчу Сабира-хромого. Я стал караулить возле шалаша, чтобы дать сигнал, если Сабир проснется, а Алимардан все не свистит, я задремал, вдруг кто-то хлоп меня палкой по спине! Сабир-хромой... Я бежать. Прибежал к нам на айван, где мы обычно спали, а Алимардан уже давно носом посвистывает! Наелся дынь — и убежал!

— Ничего себе друг!— Мукаддам усмехнулась удивленно.— Это же нехорошо!

— Он любил пошутить надо мной...— Анвар помолчал, вздохнул, улыбнувшись.— У него отец давно умер — почти сразу как из армии после войны вернулся, они с матерью жили очень бедно... И у Алимардана иногда бывали такие приступы: он ненавидел всех ребят, кто живет обеспеченно, кто одевается лучше... Гордый был...

Мукаддам повернула к Анвару лицо, смутно забелевшее в темноте, улыбнулась.

— А вы очень добрый, Анвар-ака... Но... и очень тихий. Вы совсем еще мальчик по сравнению с вашим другом...

— Почему же?— Анвар вдруг обиделся.— Мы с ним одноклассники...

— Разве дело в возрасте?— Мукаддам снова засмеялась.— Характер...

Анвар помолчал, чувствуя, как у него зашевелилось нечто вроде неприязни или зависти к Алимардану: в голосе Мукаддам он уловил нотку не то восхищения, не то сочувствия. Но вздохнул три раза глубоко: так его

учил когда-то отец, говоривший, что мужчина должен быть выдержанным, справедливым, должен гасить в сердце злобу и зависть, прежде чем она овладела им. Улыбнулся.

— Алимардан хорошо закончил консерваторию: вот увидите, он станет либо знаменитым композитором, либо знаменитым артистом. А я мечтал в школе стать поэтом, даже стихи писал... И видите...

— Но стали журналистом!— ласково сказала Мукаддам и легко погладила его по руке.— Вы очень хороший, Анвар-ака...

Анвару опять сделалось горько, и сердце сжала тоскливая нежность и предчувствие беды. Он поднялся, протянул руку Мукаддам.

— Пойдемте, уже совсем темно... И Алимардан меня, наверное, заждался.

Они молча пошли по тропе вверх. Анвар проводил девушку до автобуса, и они расстались.

3

Алимардан проснулся и увидел стоящую возле окна девушку в белом халате. Она кипятила шприцы на спиртовке. И хотя сегодня волосы у нее были завязаны на затылке тяжелым пучком, он сразу узнал ее. «Мукаддам!..— подумал он.— Она, правда, как фаришта — неприкосновенная красавица рая...» Сердце у него забилось, настроение сразу стало вдруг хорошим.

Мукаддам услышала, как скрипнула кровать, и обернулась.

— Проснулись?— спросила она, пытаясь сделать «взрослое» лицо, свела длинные, как крылья ласточки, брови.— Сейчас я вас уколю!

— А я сегодня боюсь!— Алимардан натянул одеяло до горла.— Я еще не готов морально.

Мукаддам снова смешно вздернула подбородок, удерживая строгость на лице, повернулась к нему спиной и стала раскалывать ампулу с новокаином, развела антибиотики, потом подняла шприц вверх, надавила на поршень — избыток жидкости брызнул фонтанчиком.

— Давайте руку.

— А почему руку?..— усмехнулся Алимардан.— Это не самое нечувствительное место на теле.

Лицо Мукаддам стало вдруг суховатым и скучным, она сказала:

— Я сделаю вам укол, куда вы хотите, только не задерживайте меня: я еще должна обойти много больных.

Алимардан понял, что переборщил, и сдался, обнажил руку:

— Ладно, но если я помру, ответственность на вас.

Она наклонилась над ним, он видел, как дрожат у нее от напряжения ресницы, видел родинку над ключицей в вырезе халата, слышал исходящий от нее чистый, словно от ребенка, запах. Она осторожно выдернула иглу, прижала к месту укола ватку со спиртом, стала выпрямляться, но Алимардан, схватил ее за талию, резко притянул к себе и поцеловал в губы. Мукаддам выронила шприц, уперлась руками в спинку кровати, пытаясь вырваться, потом стала бить его по лицу. Алимардан отпустил ее.

— Ого,— сказал он, тяжело дыша.— Крохотная ручка, а какая тяжелая! Вдовой будешь, девушка.

Мукаддам, ничего не отвечая, собирала шприцы и пузырьки в чемоданчик. Плечи ее вздрагивали. Не оборачиваясь, она утерла глаза воротом халата и пошла к двери.

— Мукад!— крикнул ей вслед Алимардан.— Не сердитесь! Я люблю вас без ума. Все равно вы будете моей, вот посмотрите!

Хлопнула калитка, закрывшись за девушкой, Алимардан опустился на подушки. Сердце его колотилось, губы горели. Он и в самом деле был влюблен.

Про Анвара он старался не вспоминать. Когда Икбол-хола, мать Анвара, принесла ему в полдень обед, Алимардан едва с ней поздоровался. Ему уже казалось, что он не виноват перед Анваром, а Анвар хитростью пытался отбить у него красавицу Мукаддам... Всегда они так, удачливые счастливики!

Анвар и Мукаддам шли по ярко освещенному проспекту Навои — одной из самых оживленных улиц Ташкента. Вечер был прохладный, звездное небо по-осеннему было высоким и светлым. Навстречу спешили люди с озабоченными или праздно любопытствующими лицами: каждый нес в себе свою непростую жизнь, свои горести и радости. Их обогнала группа молодых пар-

ней и девушек, говоривших по-русски, и Мукаддам услышала, как кто-то крикнул:

— Валька, ты чего вчера не пришла на танцы?

— Не хотела!— весело ответила девушка.— Настроение было плохое! А ты что, ждал меня?

Они ушли вперед, а Мукаддам и Анвар свернули к гостинице. В скверике бил фонтан, подсвеченный разноцветными огнями, на лицах гуляющих играли красные и зеленые блики. Они сели на скамейку, локоть Мукаддам коснулся бедра Анвара, помедлив, тот вежливо отодвинулся.

«Как странно,— подумала Мукаддам.— Вот те парень и девушка, наверное, не так давно знакомы, а он говорит ей «ты» и она ему тоже. Я знаю Анвара полтора года, но мы не обратимся друг к другу на «ты», даже когда поженемся... По-узбекски «ты» звучит очень грубо, и потому это не принято... Как тогда Алимардан мне нехорошо сказал: «Будешь вдовой, девушка!..»— она вспомнила то утро и руки Алимардана на своем теле — и опять ей стало стыдно, неприятно и сладко. Она взглянула искоса на Анвара. «Он знает? Может быть, поэтому он последнее время такой мрачный и тихий?» Словно услышав ее мысли, Анвар повернул голову: на его худом темноглазом лице смешно струились синие и розовые блики, было оно от этого некрасивым.

— Мукаддам-хон, вы навещаете Алимардана? Курс уколов продолжается?

Смутившись, Мукаддам кивнула, хотя к Алимардану ходили теперь другие сестры: после того утра она поменяла участок.

— А вы?— спросила она.— Я вас там не вижу что-то?..

Анвар покачал головой:

— Нет, к нему мама ездит. Я так сейчас занят на работе, трудно очень... Наверное, нет навыка. С утра до вечера мыкаешься по городу: то надо встречу с композитором подготовить, то стихи обсудить, то что-то другое. Раньше, когда смотрел телевизор, даже не думал, что за любым коротеньким выступлением столько труда работников телестудии!

За шумом фонтана Мукаддам плохо слышала, что говорит Анвар, но по тому, как просто и ласково он взглянул на нее, она поняла, что про тот случай он ничего не знает.

«Сказать ему?..— подумала она.— Да нет, зачем... и

потом — что такого?.. Ведь он сам, а я не хотела... Нет, не буду говорить, очень стыдно...»

Из распахнутого окна на каком-то этаже гостиницы доносились хмельные голоса, женский смех. У подъезда затормозил автобус, вышла группа туристов,— судя по одежде, иностранцы,— часть из них прошла в двери гостиницы, услужливо распахнутые швейцаром, остальные свернули к фонтану, остановились у самой воды, громко переговаривались.

«Интересно, о чем они говорят?..»— она вслушалась, как двое туристов, остановившись неподалеку, громко, словно зная, что их никто не понимает, разговаривают по-английски, и пожалела, что плохо учила в техникуме иностранный язык. Слушаешь, но разбираешь с трудом отдельные слова только, и то не вспомнить, что они значат. А как бы хорошо было сейчас заговорить с Анваром по-английски, то-то бы удивились эти важные дядьки!.. Мукаддам представила, как они изумленно глядят ей вслед: «О, эта красивая узбечка так чисто говорит по-английски! А еще рассказывают басни о том, что Восток — отсталый!»—«Да ну, разве вы не помните, что Авиценна и Улугбек...»—«Нет, но женщина! Где же паранджа, чадра... И такая красавица!»

Мукаддам вздохнула, улыбнулась и решила, что, когда выйдет замуж, непременно будет ходить на курсы английского языка. Анвар ей поможет, он, кажется, хорошо знает английский.

— Анвар-ака, о чем они говорят, вы понимаете?..

Анвар прислушался:

— Они говорят, что после землетрясения Ташкент потерял свое лицо. Стал похож на обычный город с некрасивыми стандартными домами. И жить в этих домах, наверное, неудобно.

— Это правда...— Мукаддам вздохнула.— Но все же хорошо, что людям теперь есть, где жить. Ведь многие остались без крова...

— Да...— Анвар кивнул и снова замолчал, опустив голову. Какие-то мысли мучили его. Мукаддам видела, как несчастно кривятся у него губы.

— Что с вами, Анвар-ака?— спросила она, дотронувшись до его руки.— Последнее время вы такой грустный-грустный... И молчите всегда. Вам скучно со мной?

Слукавила, конечно: в общем-то она догадывалась, почему Анвар стал так подавлен и грустен. Конечно, он

почувствовал, что с тех пор, как она увидела Алимардана, в ней проснулось любопытство к этому злему, будто всеми обиженному парню. Чудак: ведь это простое любопытство — и ничего больше тут нет. Глупый!.. Ей захотелось подбодрить Анвара: пусть он сделается наконец, посмелее. Ведь он любит ее!.. Или нет?

— Что вы, Мукаддам-хон!— Анвар выпрямился, в глазах его засветилась нежность.— Мне с вами прекрасно, я бы мог вот так сидеть рядом с вами бесконечно. Мне кажется, мы слышим друг друга, даже когда молчим. Но это вам, наверное, со мной скучно? Я все молчу и молчу... Когда я один, я вам все рассказываю, говорю все-все... а когда мы встречаемся, у меня словно халва губы слепила... Вы сердитесь на меня?

— Нет...— Мукаддам поднялась.— Но мне бы хотелось, чтобы вы мне и на самом деле рассказывали это «все-все»... Я вас чувствую, какой вы, но не знаю... А ведь...— Мукаддам прикусила язык, она хотела сказать: «Мы ведь скоро станем мужем и женой!» Но Анвар пока не делал ей предложения.

— Пойдемте,— сказал она.— Отец будет сердиться, если я приду поздно.

Они попрощались у большого валуна, в начале узкой улицы, ведущей в старый город. Днем здесь сидела женщина, продававшая семечки, сейчас вокруг была насорена шелуха.

Где-то неподалеку по улочке раздались шаги, и Анвар смущенно отпустил руку Мукаддам. А ей так хотелось, чтобы он поцеловал ее!.. Мукаддам вздохнула, снова вдруг почувствовал на своей талии руки Алимардана и его губы, жарко мазнувшие по щеке. Лицо ее обдало горячим.

— Прощайте, Анвар-ака,— быстро повернувшись, она пошла вверх, к своему дому. Спинай она чувствовала, что Анвар все еще смотрит ей вслед, считает перезвоны ее каблучков по камням.

Мукаддам вышла из дежурки, торопливо завязывая тесемки халата. Сегодня она опять проспала и немного опоздала на работу, не успела даже позавтракать. Ехать до Бустанской амбулатории ей приходилось почти через весь город на автобусе, а утро было дождливым и пасмурным, она никак не могла заставить себя проснуться. И вот опоздала, три дня тому назад тоже опоздала. Хури-апа будет, наверное, бранить ее.

В коридоре горел свет, на скамейках и в креслах сидели больные, стоял привычный уже Мукаддам запах хлороформа, йода, душного, тесного помещения и еще какой-то непередаваемый запах невеселых мыслей и плохого настроения больных людей. Мукаддам всегда непонятно чувствовала этот запах — и у нее тоскливо сжималось сердце от жалости к больным людям, особенно к детям, от ощущения своего пока что бессилия, невозможности помочь им всем.

Она быстро пошла по коридору, больные здоровались с ней, узнавая: многих она навещала дома. Какая-то девочка лет шести с крохотными сережками в ушах и бровями, соединенными усьмой в одну линию, увидев ее, вдруг громко хлопнула в ладоши и крикнула: «Здравствуй!» — и спрятала хитрое личико у матери на груди. Сидевшие рядом засмеялись, Мукаддам тоже засмеялась, погладила девочку по тубетейке и вошла в кабинет, где принимала Хури-апа.

На столе горела лампа, по стеклам бил густой дождь. Хури-апа подняла глаза от истории болезни, покачала головой: «Опаздываешь?» Улыбнулась. Была она полной, из-под докторской шапочки выбивались седые пряди, над ненакрашенными бледными губами темнели усики. Голос у Хури-апа был низкий, и хрипловатый. В кишлаке все ее уважали и звали «Хури-дохтур», что было признаком известности и почета. Мукаддам, глядя на пожилую докторшу, часто думала: «И я когда-нибудь буду такой! И со мной будут почти-точно здороваться старики, когда я буду идти по своему участку!»

Раздетый до пояса парень, сидевший на застеленном клеенкой лежаке, вынул из-под мышки термометр, протянул Хури-апа, та, записав температуру, стряхнула термометр и сунула в баночку с раствором марганцовки.

— Одевайся, — сказала она. — Мукаддам, вы сегодня возьмите свой старый участок, Хадича-апа ушла в декрет. Кстати, почему вы поменялись?..

Мукаддам, не отвечая, опустила голову. Парень ушел.

Хури-апа усмехнулась:

— Что случилось?

— Ничего... — Мукаддам чувствовала, что краснеет до слез. — Так...

— Вы же читали, наверное, в техникуме слова Авиценны, — сказала, посмеиваясь, Хури-апа, — что лекарь

не должен испытывать у постели больного никаких иных чувств, кроме горячего желания помочь ему?.. Ясно?.. Ничего, девочка, все образуется, все перемелется. Иди, и больше уверенности в себе. Поняла?..

— Да,— тихо сказала Мукаддам и вышла.

Дождь лил сплошными толстыми струями, по улицам кишлака текла грязь. Мукаддам, кутаясь в полиэтиленовый зеленый плащ, ходила по вызовам уже часа три, но в дом Алимардана ей идти не хотелось. Думала о том, что зайти все-таки придется, она с тоскливым нежеланием: как посмотреть в глаза парню, который целовал тебя против твоей воли? Скажет: опять пришла, значит, понравилось?.. Но ему назначены были банки и продолжался еще курс уколов, видно, температура все держалась. Вызовов было много и в разных концах кишлака. Мукаддам устала месить грязь раскисшими туфлями, замерзла; рука, в которой она несла чемоданчик, онемела: она по привычке несла его в правой руке. Было много назначено уколов, и то ли от волнения, то ли от чрезмерного старания у Мукаддам очень болело правое предплечье.

Наконец она все-таки пересилила себя и, перейдя по бревнышку бурную, вспучившуюся от дождя реку, взобралась, скользя по грязи, на бугор, вошла в узкую улочку на самом краю кишлака. Остановилась перед маленькой, со старинной резьбой дверью в высоком дувале. «Что ж,— подумала она,— придется все же зайти. Такая уж у нас, у медработников, участь... А на фронте если? А если эпидемия?.. Пускай будет стыдно ему, а я должна выполнить свой долг». Она решительно толкнула дверь и вошла, недовольно чувствуя, как побледнели щеки и мучительно сжалось сердце.

Во дворе во всех углублениях стояла вода, стволы облетевшего ореха и урючины были мокрыми и черными; с камышовых стеблей, которыми была застелена под глину крыша дома, текли струйки дождя. Мукаддам подобрала ветку орешины, счистила с подошв грязь, прошла по узенькой сухой дорожке, сохранившейся под навесом крыши, и остановилась возле дверей. В доме играли на рубабе. Играли умело, с чувством. Потом слышался голос Алимардана, и Мукаддам вздрогнула, почувствовав, как сердце заколотилось и ноги ослабли. «Будь счастлива, моя хорошая,— пел Алимардан, и голос у него был чистый и сладостный, как журчание хо-

лодного ручья в летний день.— Я ухожу, потому что мною овладела страсть. Я думал о тебе, солнцеликая моя, дни и ночи, а ты даже не спросила, живой ли я еще, зажили ли мои раны или нет. Когда мы встретились, все пророчили тебе беду, но вот я ухожу, и в беде мое сердце, а твое спокойно...»

Мукаддам подошла и тихонько заглянула в окно. Горела тусклая лампочка. Алимардан стоял спиной, играл на рубабе. На нем был цветной бекасамовый халат, вьющиеся, давно не стриженные волосы почти касались плеч, он обернулся вдруг — Мукаддам увидела его лицо. Оно было очень красиво сейчас, освещенное вдохновением, с широким квадратным лбом, темнобровое, с резкими складками на щеках.

— Мукаддам?— произнесли его губы. Алимардан толкнул дверь.— Заходите!— он втащил ее за руку, помог разуться.— Аллах, как вы промокли! Есть чай горячий, выпейте вот...

Он отложил рубаб, усадил ее на постель, застеленную клетчатым байковым одеялом, сам сел рядом, не отнимая руки от ее рук. Мукаддам сидела, мучительно напрягшись, собираясь с духом.

— Вы слышали, как я пел?— спросил Алимардан и счастливо, хвастливо улыбнулся.— Вам нравится, как я пою?

— Нравится,— не солгала Мукаддам и подняла глаза, но тут же опустила. Во взгляде Алимардана была нежность, и радость, и страсть, и еще что-то, что испугало Мукаддам, вызвало чувство незащитности. Чувство, что между ней и этим парнем нет никаких перегородок, что вот сейчас он протянет руку и дотронется до шеи, до колен, скажет что угодно. Сердце опять бешено заколотилось, она встала и подошла к столу, слыша, как дрожат ноги.

— Я ждал вас!— сказал Алимардан негромко и как-то задумчиво.— Я знал, что вы придете... Эту песню я сам сочинил. Для вас...— Он вдруг закашлялся и, усмехнувшись, махнул рукой.— Расхвастался, калека.

— Хорошая песня,— Мукаддам растегнула чемоданчик и стала выкладывать банки.— Вам банки назначены... И укол. Ложитесь... После банок вам легче будет.

— Сейчас... Да мне их уже ставили-ставили, вся спина пятнистая, как у рыси.

Алимардан скинул халат, оставшись в домашних брюках, шагнул к столу.

— Мукаддам...

Руки его скользнули по ее телу, рот обжег шею — Мукаддам вывернулась и в страхе отскочила к двери. Алимардан опередил ее, загородив дорогу, она прыгнула от его цепких жадных рук в сторону, больно ударилась телом о шкаф, гипсовый кот упал, разбился, посыпались деньги. Алимардан снова схватил ее, они боролись молча. Мукаддам все хотела закричать, позвать на помощь, но было чего-то стыдно. «Анвар бы зашел, Анвар бы зашел! — неслось у нее в голове. — Нет, стыдно, не надо Анвара... О аллах, что же теперь со мной будет, как я буду жить?..» Потом она вообще перестала думать, только вырывалась слабо и слушала, что с ней происходит, обносило ее горячим стыдом и тлею любопытство: «Вот это, значит, как бывает, вот это что...»

Когда Алимардан отпустил ее наконец, она растерянно поднялась, провела руками по волосам, пытаясь убрать их под платок, постояла, пошатываясь, посреди комнаты, потом подошла к столу, машинально и старательно уложила в чемоданчик банки, закрыла его, постояла, словно ожидая, не скажет ли чего Алимардан, но он молчал, словно его не было в комнате. Тогда Мукаддам обулась и вышла на улицу.

Она пошла домой. Ей казалось невозможным сесть в троллейбус, вообще появиться в каком-то месте, где есть люди, потому что всем сразу станет ясно, какая беда произошла с ней. Она шла пешком через весь город, шла часа два, останавливаясь, чувствуя, что обессилела совсем: точно у старухи, не тянет сердце. Все время лил дождь, туфли размокли вконец, и чулки и низ платья, там, где кончался плащ, тоже намокли. «Аллах, что же будет теперь, — тупо думала Мукаддам, — отец убьет меня!»

Наконец она остановилась у ворот своего дома, толкнула их и прислонилась к глинобитной стене, не в силах шагнуть дальше, не в силах пройти дувал. От страха ее колотил озноб, она вся дрожала. Со двора, через глубокий проход в стене тянуло сыростью, тяжелым запахом намокшей глины. Дождь лил все сильнее.

«Может быть, отца нет дома? — проснулась вдруг

надежда у Мукаддам.— Кажется, он собирался на заседание махаллинского комитета...»

Отец ее прежде работал учителем в средней школе, а после выхода на пенсию его избрали председателем комитета их махалли, иначе говоря, председателем дома, объединявшего квартал. Был он человеком очень уважаемым в махалле, его почтительно называли «кари-ата», что значит «образованный». И вот единственная, любимая, хотя и выращенная в строгости дочь покрыла позором его седины.

«Может, его нет дома?»— со слабой надеждой подумала Мукаддам и шагнула во двор, но тут же ей навстречу зазвучали тяжелые шаги отца.

— Мукад?— удивленно и обеспокоенно пробасил он.— Ты где была так поздно, что с тобой?

Он спустился по лестнице с балахоны, Мукаддам наткнулась на его черные, пытливо вглядывающиеся в ее лицо глаза, сухая рука нервно теребила бороду.

— Много было вызовов, дада,— тихо пробормотала Мукаддам.— Я промокла очень, пойду переоденусь...

Она снова робко взглянула на отца, ожидая, что вот сейчас он все узнает, и вдруг с облегчением увидела, что он одет по-уличному и с зонтом.

— Разотри хорошенько ноги,— строго и ласково сказал отец, раскрыл зонт и прошел мимо нее на улицу.

— Хорошо, дада...— прошептала Мукаддам и вошла в дом.

Мать обернулась от ниши, куда она составляла вымытую после ужина посуду. В руках она держала ляган — большое блюдо для плова.

— Как ты долго, кызым!— сказала она.— Что-нибудь случилось? Кто гуляет в такую погоду?.. Садись есть.

— Я же на работе...— Мукаддам прошла в другую комнату, сняла с себя мокрое платье и рубаху, запихала подалеже в грязное белье, надела сухое.— Я не хочу есть, я к Лабар пойду.

Лабар, закадычная подружка Мукаддам и ее ровесница, жила в доме напротив. Мукаддам перебежала через улицу, поздоровалась с матерью Лабар, которая убирала на терраске, и пошла наверх, где они обычно спали вместе с Лабар. Торопясь сюда, она намеревалась поделиться с Лабар своим страшным несчастьем, обсудить с подругой, как теперь быть. Но когда Мукаддам вошла в комнату и увидела веселую спокойную Лабар, сидевшую на постели в одной рубахе: она

сушила после мытья волосы,— решимость ее исчезла: «Она будет презирать меня. Такая гадость. Я бы тоже ее презирала, наверное... Нет, не скажу... Парни любят хвастаться этим...»

— Ты что?— спросила Лабар и улыбнулась.— Что ты встрепанная какая-то?.. С Анваром поругалась?

Мукаддам даже охнула, так больно ударил ее вопрос подруги. Анвар? Не увидит она больше никогда своего Анвара. Вот...

— Ничего...— Мукаддам пожала плечами и села на кровать.— Ты знаешь, какой дождь! А у меня, наверное, сто вызовов сегодня было. Тело так и ломит, как будто побил кто.

— Ну ложись, согрейся.— Лабар потрясла головой, расправляя распущенные волосы.— Ты опять на свой старый участок ходила?

— Да нет...— Мукаддам натянуто засмеялась.— С чего ты взяла?

Она сняла платье и быстро легла в постель, закрывшись одеялом по горло. Ей все казалось, что Лабар заметит, что что-то не так.

— Просто устала.

— А я думала, к тебе тот дружок Анвара опять приставал.

— Нет...

Мукаддам закрыла глаза, чувствуя, как подступили слезы. Зачем она тогда рассказала Лабар про Алимардана, язык бы себе отрезать! Вот уж, поистине, хочешь, чтобы секрет узнал весь город, расскажи женщине!..

Кровать заскрипела под тяжестью полного тела Лабар.

— Будем спать?.. Ой, свет не выключила...— Лабар, тяжело ступая, прошла по ковру, щелкнула выключателем. Снова заскрипела кровать.— Джахангир говорит, что увезет меня с собой в свой кишлак.

Джахангир, рыжий веснушчатый парень, окончил медтехникум вместе с Лабар и работал фельдшером в горном кишлаке недалеко от Ташкента. Они с Лабар любили друг друга, но Лабар не могла пока выйти за него замуж: ее старшая сестра была на выданье.

— Как это увезет?— удивилась Мукаддам.— Что, разве Халима выходит замуж?

Лабар долго молчала, потом мрачно произнесла:

— Нет... Но я же не виновата, что она никому не нравится?.. Так подождешь-подождешь и сама старой

девой останешься. Возьму и уеду просто так, распишемся потихоньку, свадьбу играть не будем.

Мукаддам недоверчиво хмыкнула: конечно, Лабар никогда не решится на это.

— Ладно... Давай спать. Не болтай глупости.

Лабар тяжело вздохнула, повертелась на кровати, потом, через недолгое время, задышала мерно и спокойно. А Мукаддам, убедившись, что подруга спит, дала волю слезам. Она плакала, душа рыдания подушкой, до тех пор, пока не обессилела совсем. Задремала, когда через маленькое оконце стал брезжить серый рассвет.

5

Однажды, проснувшись ранним утром. Алимардан вдруг почувствовал, что здоров. В окно светило солнце, небо было голубым и без единого облачка. Алимардан пожегал некоторое время улыбаясь, наслаждаясь ощущением вдруг пришедшей к нему силы, потом вскочил, взял полотенце и в одних брюках побежал к реке.

Берег был еще скользким после недавних дождей, Алимардан спустился не тропкой, а по жухлой траве, наклонился над прозрачной холодной водой и стал умываться, тихонько ахая от наслаждения и от холода. Сильно растеревшись полотенцем, он помахал руками, слушая, как отзываются ослабевшие после болезни мышцы, поприседал на носках, легко взбежал на горку. Улицей он пошел медленно, справляясь с поднявшимся сердцебиением. Поглядев на растворенную дверь своего дома, он вдруг подумал: «Может, Мукаддам пришла?..» — и почувствовал, что хочет видеть ее.

С тех пор, как она была у него последний раз, прошла неделя. То, что девушка после всего, что случилось, не приходила к нему умолять и навязываться, подняло ее в его глазах, сделало желанной. Он скучал по ней, скучал по-мужски; изо всех женщин, с которыми у него были прежде отношения, Мукаддам казалась ему самой желанной, он уже почти любил ее. «Я женюсь на ней, — вдруг решил Алимардан, заходя к себе во двор. — Завтра же пойду в поликлинику и скажу ей об этом».

Он увидел Анвара, стоявшего возле сури, тот рассеянно глядел в землю.

«Он пришел из-за Мукаддам? — мелькнуло у Алимардана. — Будем драться?.. Ну что ж, хоть чем-то я

серьезно огорчил этого чистюлю... Правда, я слаб еще, но с ним-то справлюсь!»

Анвар был чисто выбрит, в новом черном костюме, нейлоновой сорочке и голубом синтетическом галстуке.

«Вырядился, как жених...— зло подумал Алимардан.— Возможно, он идет предложение делать?» Он внутренне усмехнулся.

Анвар поднял глаза, лицо его осветилось улыбкой, отчего кожа на узком подбородке некрасиво натянулась.

— Здравствуй...— сказал он и подошел, чтобы по обычаю обнять друга дважды.— Зачем же ты ходил на речку, вода холодная, снова заболеешь!..

«Какой он все же урод!— неприязненно думал Алимардан, отвечая на легкие объятия друга.— Но про Мукаддам он, ясное дело, ничего не знает».

У него прямо язык зачесался похвастаться: очень весело было бы поглядеть, как исказится лицо Анвара. Тем не менее он сдержал себя, только сказал, усмехаясь:

— Ну, лучше уж иногда болеть, чем быть таким неженкой, как ты. Мужчина есть мужчина, а ты разве мужчина?..— он хлопнул Анвара по спине, заметив, что у того обиженно осунулось лицо.— Ладно, шутка! Пошли в дом, будем чай пить.

Глаза Анвара снова просветлели, он зашел в дом, сел, скрестив ноги на курпаче, сложенной в углу. Алимардан поставил чайник на плитку.

— Завтра по телевизору концерт, в котором ты будешь участвовать,— сказал Анвар.— Я добился, чтобы тебя включили в программу. Надо только тебе приехать пораньше, будет репетиция.

— Ладно. Спасибо.— Алимардан повернулся спиной к другу, чтобы тот не заметил, как он радостно взволнован.— Возьми лепешки и сахар, они сзади тебя в нише.—«Хорошо, что я не сказал ему про Мукаддам!..»— подумал он.

Друзья попили чаю, потом Анвар поехал на работу, а Алимардан, дождавшись, пока шаги друга затихнут внизу на улице, взял рубаб, начал репетировать. Только мать знала, каким трудом дается ее красивому сыну легкость исполнения, кажущаяся небрежность: кроме нее, никто никогда не видел Алимардана репетирующим. У Алимардана был идеальный слух, поэтому большинство песен, даже те, которые он исполнял еще подростком, казались слушателям незнакомыми: они думали, что Алимардан сочиняет их сам. На деле он просто

варьировал разные, услышанные им когда-то народные мелодии, слова он брал из классических газелей Навои, Машраба, Фурката. Такого же происхождения была и мелодия к «Песне юноши», которую неделю назад слышала Мукаддам. Алимардан собирался исполнить ее завтра по телевидению, потому до самого вечера он играл на рубабе и пел, проверяя и уточняя оттенки мелодии, звучание стихов, свои позы перед зеркалом, даже детали завтрашнего костюма и прически. То, что он будет великим, известным певцом, Алимардан ощущал как нечто почти свершившееся.

6

Около полудня следующего дня Алимардан приехал на телестудию. Анвар уже ждал его.

— Я заказал тебе пропуск,— сказал Анвар, облегченно улыбнувшись.— Я боялся, что ты опять заболел и не придешь. А где же твой рубаб?

— Зачем он мне?..— Алимардан пожал плечами.— С чем я стану выступать, я ничего не знаю... Не морочь голову! Приехал просто так, пойдем пообедаем вместе куда-нибудь, надоела собственная готовка.

— Это после,— отмахнулся Анвар, привыкший к тому, что Алимардан любит пококетничать. К тому же он догадался, что друг не взял свой рубаб из-за того, что тот был старенький.— Пообедаем, конечно... Сейчас пойдем, я тебя познакомлю с редактором.

Они поднялись по широкой лестнице, застеленной ковром, остановились перед дверью, на которой было написано «Музыкальная редакция». Анвар толкнул дверь.

— Заходи! Вот мой стол, посиди, я сейчас пойду узнаю...

Алимардан вошел в комнату, сел за стол, на который ему указал Анвар. На столе грудой лежали какие-то папки, бумаги, под стеклом — отпечатанный типографским способом список телефонов разных учреждений и министерств; на листочке календаря мелким почерком Анвара было написано: «В 12 час. позвонить композитору Л. С 5 до 7 час. встреча с Петренко... Звонил А., сказ. главному».

«Какой он стал важный!— с неожиданной неприязнью подумал Алимардан.— Подумаешь, деятель! А сколько, интересно, он получает теперь?» Алимардан

посмотрел на шелковые шторы, на дорогой ковер, покрывавший пол комнаты, и почувствовал, как в сердце поднимается глухая злоба: «Большой человек!..» Потом он вспомнил о Мукаддам, представил лицо Анвара, когда он узнает про всю эту историю, и усмехнулся.

Вошел Анвар, неся новехонький черный тар с перламутровым ладом.

— Возьми,— сказал он, улыбнувшись Алимардану.— По-моему, неплохой инструмент.

— Великолепный!— восхищенно пробормотал Алимардан, дотронувшись до чутких, сразу нежно отозвавшихся ему струн.— С первых же денег достану себе такой. Чудо!..

— Пойдем, репетиция началась, скоро твоя очередь.

Анвар провел друга в репетиционную, представил редакторше — немолодой женщине в джерсовом костюме. Алимардан внутренне усмехнулся, заметив невольное восхищение во взгляде редакторши, скользнувшем по его лицу.

— Садитесь,— негромко и доброжелательно сказала женщина.— Тураев, да?.. Что вы хотите исполнить?..

Часов в пять друзья зашли перекусить в чайхану возле центрального рынка. Анвар предложил заказать бутылку вина, но Алимардан отказался, сославшись на то, что чувствует себя после болезни слабым, как бы не раскиснуть к вечеру. На самом деле он просто взял себе за правило никогда не пить перед ответственными выступлениями: его голос, его воля в такие минуты целиком должны были принадлежать ему. Тем паче сегодня, когда, можно сказать, решалась судьба.

И вот трансляция концерта началась. Алимардан сидел в углу зала студии, ожидая своей очереди. Пела девушка, потом парень, потом девушка танцевала, Алимардан слышал все как в тумане, сердце колотилось гулко и часто, щеки пылали. Наконец послышался голос дикторши, сидящей у пульта:

— Выступает Алимардан Тураев! «Песня юноши»!

Алимардан встал, шагнул на освещенную часть зала, счастливо чувствуя, как им овладевает спокойствие, уверенность, что он подчинит-таки себе сейчас эту капризную особу, которая зовется славой. Он знал, что выступит прекрасно!

Оператор надвинул на него камеру. Глядя на воображаемых зрителей, Алимардан улыбнулся, слегка поклонился и по знаку редакторши тронул струны тара

Мелодия овладела им, он запел. Он уже не помнил себя, только чувствовал, как голос переполняет его грудь, льется, словно звон ручья в летний день, обволакивает своды зала, подчиняет, покоряет... Когда он кончил, то снова, как бы очнувшись, взглянул в воображаемый зал, улыбнулся, тихо наклонил голову. Камера отъехала. Выходя из комнаты, он кивнул с улыбкой редакторше, восхищенно поднявшей кверху приветственно сжатые ладони. Он стал знаменитым, он чувствовал это.

В коридоре его обхватил за плечи Анвар:

— Молодец, как ты прекрасно пел! Ты покоришь всех без исключения!.. Я знал, что это будет!

Алимардан усмехнулся, высвобождаясь:

— Спасибо. Я, пожалуй, пойду. Ты что, должен еще остаться?

— Нет, мне можно тоже уйти. Пойдем, я поеду с тобой в Бустан, зайду в поликлинику.

— К Мукаддам?— Алимардан многозначительно поднял брови.— Пойдем...

Вечер был теплым, тихим. Алимардан помахал рукой, останавливая такси. Скрипнув тормозами, машина с зеленым огоньком замедлила ход, шофер высунулся из окошечка:

— Вам куда, джигиты?

— В Бустан.

— Туда на своей машине поедешь, дорогой!— насмешливо произнес шофер и дал газ.

Алимардан стиснул зубы от ярости, потом усмехнулся.

— Ну что ж,— сказал он.— На своей так на своей. Уговорил, пожалуй.

Покуда же они добрались до Бустана, как всегда, на автобусе.

Друзья шли рядом по улице кишлака, но молчали, думая каждый о своем. У поворота, где им надо было расходиться, Алимардан остановился и спросил:

— Так ты в поликлинику?

Анвар кивнул.

— Сегодня Мукаддам во вторую смену работает, моему. Мы давно не виделись, я соскучился.— Он взглянул на насмешливо сощурившегося Алимардана и покраснел.— Ты зря смеешься. Ты другой человек, ты не любил никогда, понимаешь... А я люблю ее.— Анвар вздохнул, взглянул на небо, вздохнул еще раз, чтобы сладить с комком, подступившим к горлу.— Мне трудно

с ней, она странная... То все вроде бы хорошо, а теперь, уже дней десять, она вообще избегает меня, не хочет разговаривать. Понимаешь... Я не могу так больше, надо выяснить все.

Алимардан не отрываясь смотрел на лицо друга, неярко освещенное уличным фонарем. На худом, тонкокожем лице этом можно было прочесть все, что сейчас чувствовал Анвар: и отчаяние, и надежду, и какие-то неясные еще подозрения.

— Я женюсь,— сказал Алимардан негромко.

Анвар, точно просыпаясь, взглянул на него, удивленно поднял брови.

— На ком? Вот это новость!

— На Мукаддам.

— Что ж ты раньше ничего не говорил?— начал Анвар и вдруг замолчал.— На какой Мукаддам?— переспросил он.

— На той самой...— Алимардан, повернувшись, пошел по направлению к дому. Некоторое время за спиной его не раздавалось ни звука, потом послышались торопливые шаги.

Анвар догнал его и резко дернул за плечо.

— Ты что? Разве так шутят? Мы же друзья все-таки!..

— В этих вещах, знаешь...— Алимардан сплюнул сквозь зубы и прислонился к стволу тутового дерева.— Какая дружба в таких вещах, ты что?.. Потом бывают обстоятельства, когда вынужден жениться. Ничего не поделаешь... Да ты пойдя, расспроси ее саму...

Алимардан говорил негромко, медленно, глядя в упор в лицо Анвару, и видел, как лицо это искажается, губы начинают дрожать. Потом Анвар тряхнул головой и провел ладонью по лбу.

— Да брось ты...— прошептал он.— Брось, не дури.

Он поднял глаза, надеясь увидеть на лице Алимардана улыбку, но не увидел ее.

— У меня с ней было...— грубо сказал Алимардан и посмотрел на Анвара с ненавистью.— Понял ты, растяпа? Пока ты ахал да охал, я...

Анвар, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, застоял и ударил со всей силы Алимардана кулаком в лицо. Ударил еще раз, потом повернулся и побежал.

Алимардан медленно вытер кровь с разбитых губ, постоял, опершись спиной о ствол тутовника, затем не торопясь пошел домой.

В окнах поликлиники горел свет. Анвар взбежал на каменное крыльцо, рванул дверь и, промчавшись мимо испуганно отстранившейся уборщицы, распахнул дверь дежурки. Мукаддам сидела за беленьким ординаторским столом, переписывала истории болезни. Лицо ее было печальным и прекрасным. Сердце Анвара заболело от горя и нежности.

— Мукаддам?— прошептал он.

Мукаддам подняла голову и вдруг вскочила. Щеки ее побледнели еще больше, губы упрямо и гордо сжались.

— Это правда, Мукад?— спросил Анвар, уже зная, что она ответит, и ожидая, надеясь, что все-таки скажет удивленно: «Что правда? О чем вы?..»

Мукаддам молчала, глядя в стол, смяв в тонких пальцах телефонный провод. Потом подняла голову.

— Да...— проговорила она.— Правда. Уходите...

Анвар постоял, держась за косяк двери, потом швырнул дверь с силой, выкрикнул грубое слово и выбежал на улицу.

«Гадина, гадина!— повторял он, вышагивая кишлачной улочкой так быстро, словно у него земля горела под пятками.— Ох, какая гадина, какая змея подлая, какая подлая гадина...»

Он сам не заметил, как ноги принесли его в парк, к Комсомольскому озеру. Тупо посмотрел на спокойную, светившуюся отражениями бесчисленных цветных лампочек воду и вдруг, обессилев, опустился на скамью. Оглянулся вокруг, приходя в себя.

Рядом были аттракционы, стояла очередь к кассе, визжали девчата на взмывающих к небу качелях. В ближней к нему лодке качались девушка и парень, парень раскачивался все сильнее, девушка визжала, платье у нее разлеталось, обнажая ноги едва не до бедер.

«Гадина бесстыдная!»— с глухой ненавистью подумал Анвар и, застонав от боли, от гадливости, заполнившей его душу, вскочил и пошел подальше от аттракционов, в темноту.

На скамейке, мимо которой он проходил, лежал парень, положив голову девушке на колени, та гладила ему волосы. Потом наклонилась, коснулась губами его лба и снова стала ласкать длинные вьющиеся волосы парня.

Анвар закрыл глаза, чувствуя, что его шатает. «Аллах, я сойду с ума! — прошептал он. — Что они все, с ума посходили, как овцы весной?.. Или я раньше просто не замечал?..»

Он спустился на самый берег и сел на пень тала. Пронеслась моторная лодка, круто завернула и поехала обратно, волны заплеснулись на берег, туфли Анвара промокли, но он не замечал этого. Он все еще не свыкся с бедой, все еще где-то внутри жило ощущение, что это просто сон, ошибка, что вот сейчас что-то произойдет — и жизнь будет течь по-старому, его отношения с Мукаддам будут, как прежде, неопределенными, прекрасными и полными надежд.

В этой части парка стояла тишина, такая тишина, что слышно было, как грохают, передвигаясь по рельсам, огромные подъемные краны: неподалеку отстраивался новый квартал. Горели прожекторы и красные сигнальные огни на кранах; стрелы, груженные стопками бетонных плит, медленно поворачивались, разгружались, снова поворачивались. Людей не было видно, казалось, что действуют какие-то разумные роботы.

Анвар машинально следил за работой кранов, внутри саднило. Он вдруг вспомнил подобное предчувствие беды, охватившее его, жуткое обреченное знание, что все самое страшное уже произошло, — с этим ощущением он жил тогда почти час, а потом — легкость и радость, и ежеминутное осознание, что он счастлив, счастлив не оттого, что с ним случилось нечто хорошее, а оттого, что не было плохого.

В тот вечер Анвар готовился к зачету по истории философии. Просидел над учебниками часов до трех, потом, наконец, решил лечь спать: «Перед смертью не надышишься», но никак не мог уснуть — возбужденный мозг не успокаивался. Спустя час он начал задремывать, как вдруг кто-то словно бы сбросил его с кровати.

Где-то далеко прогрехотал взрыв, задрезжали стекла окон, заскрипела балахона и продолжала угрожающе скрипеть, а стекла продолжали дребезжать. Анвар встал на четвереньки и со страхом посмотрел в окно. Вдруг на черном небе поднялось зарево и, закрыв горизонт, стояло там довольно долго. Посыпалась штукатурка.

Анвар вскочил на ноги, вбежал в комнату матери, включил свет. В углу на курпачах сидела, поджав ноги, Икбол-хола и громко читала молитву «Субхан-аллах»;

Анвар вспомнил, что эту молитву читают во время землетрясений. Он схватил мать за руки и потащил во двор.

— Выйдем!— повторял он.— Надо выйти, ойи, опасно!..

— Не бойся,— сказала Икбол-хола, поднялась на ноги и заковыляла следом, повторяя:— Не бойся, углым, это землетрясение...

Потом, задним числом, Анвар удивился с каким спокойствием приняла его старая мудрая мать стихийное бедствие: видно, заговорил в крови вековой опыт далеких поколений...

Потух свет. Они вышли во дворик, стояла тьма крошечная, лаяли собаки, кричали люди. Анвар вышел за калитку. Узкая улочка была полна возбужденных людей. Кто-то выскочил в майке и трусах, кто в комбинации, кто-то просто завернулся в простыню и стоял так, дрожа от страха.

— Как ваши родные? Никто не пострадал?— спрашивали все друг друга встревоженными голосами.— А дом как? Стоит пока?

— Видели, видели?— спрашивал кто-то рядом с Анваром.— Там, где Алайский рынок, будто небо взорвалось! Что-то там случилось нехорошее.

«Мукаддам!— оборвалось тогда у Анвара сердце.— Ведь они живут на Алайском!»

Он снова побежал к себе во двор. У входа на айван стояла мать.

— Не входи в дом,— сказала она, схватив его за руку.— Сейчас будет повторный толчок. Подожди, сынок, давай выйдем.

Покорно он пошел за матерью, и они вместе вышли на улочку. Соседи продолжали возбужденно разговаривать между собой, кто-то громко рыдал, кто-то твердил слова утешения, в свои дома разойтись люди, однако, не решились, ждали повторного толчка. Анвар никого не видел вокруг, ничего не слышал, в мозгу у него стучало: «Мукаддам, Мукаддам, бедная моя Мукаддам, что с ней?..»

Вдруг стало странно тихо. Это перестали брехать собаки. Вокруг заговорили, что второй толчок миновал, можно расходиться по домам. Но Анвар не слышал второго толчка и удивился, узнав, что он миновал.

Стало вдруг очень холодно. Соседи начали расходиться; Анвар, взяв мать под руку, тоже вошел в свой дом. Вдруг зажегся свет, и Анвар увидел, что на нама-

те, на курпачах, на кровати лежат куски штукатурки, в воздухе стоит известковая пыль.

Анвар надел пиджак и брюки, включил приемник. Передавали последние известия. Дикторша рассказывала о том, что такой-то колхоз закончил сев хлопка, такой-то завод, борясь за достойную встречу Первомая, досрочно выполнил месячное задание. О землетрясении не было сказано ни слова. Анвар выключил приемник и вышел во двор.

Икбол-хола ставила самовар, из трубы шел дым.

— Куда ты?— спросила она, обернув к сыну встревоженное лицо.

— Я вернусь сейчас, мама,— сказал Анвар.— Не беспокойтесь, я сейчас вернусь. Видите, уже стало совсем светло.

Он торопясь вышел на улицу. Светало. Где-то на горизонте снова появилось зарево. Вспомнив ночной таинственный свет, Анвар заторопился еще больше: и на самом деле «небо взорвалось» именно на Алайском!.. Почти бегом он вышел на главный проспект. Проходили нечастые троллейбусы, но пассажиров в них почти не было: все почему-то предпочитали идти пешком. Анвар шел мимо домов, у которых в стенах зияли трещины, порассыпались дымоходы.

За мостом была толпа людей; пробравшись в первые ряды, он увидел дом с вывалившейся стеной, кирпичи засыпали дворик. Солдаты вытаскивали из-под развалин шкафы и сундуки. На потолке нелепо качалась люстра с разбитыми плафонами.

— Живы-здоровы,— сказал кто-то рядом.— Стена-то обвалилась наружу.

Выбравшись из толпы, Анвар побежал дальше. В общем, разрушений было меньше, чем можно было ожидать. Большинство домов стояли нетронутыми, только у некоторых зияли трещины в стенах.

— Следующая...— шептал про себя Анвар, справляясь с дыханием.— Следующая улица Мукаддам, аллах, пронеси беду!..

Сердце у него сжималось обреченно и больно: почему-то он был сейчас уверен, что с Мукаддам стряслась беда. Слишком уж последнее время у них было все хорошо.

Наконец он остановился у голубой калитки Мукаддам. Здесь на улице было мало людей, все вокруг дышало покоем. Анвар приоткрыл калитку. Во дворе бы-

ло чисто, тихо, дом стоял целым. Хозяева, очевидно, спали. Анвар, не решаясь войти, но и не желая уходить, стоял возле калитки. Приоткрылась дверь дома, со ступенек сбежала Мукаддам с папкой в руках. Увидев Анвара, девушка радостно взвизгнула:

— Ох, а я так волновалась, Анвар-ака! Как там у вас, все в порядке?

— Да... почти. А у вас?

— У нас тоже. Только самовар со шкафа упал, отломилась ручка... Еще стекла разбились. И все...

В тот день они не пошли на занятия, бродили по городу. То был очень счастливый день... Тогда беду пронесло мимо, но теперь Анвару больше нечего было ждать. Ничто уже не могло изменить совершившегося.

В парке стало тихо, посетители разошлись, многие лампочки были погашены. Время перевалило за полночь. Анвар поднялся и побрел к выходу. Когда он проходил мимо темных неподвижных качелей, сзади с тарактением затормозил мотоцикл, милиционер с подозрением окликнул Анвара:

— Эй, джигит, ты что здесь делаешь?

— Гуляю,— ответил Анвар.

Милиционер оторопело промолчал.

Уличная калитка их дома была заперта. Анвар, чтобы не разбудить мать, прошел по двору на цыпочках и поднялся на терраску. Но, должно быть, Икбол-хола еще не заснула, потому что на айване сразу же зажегся свет, осветив на утопанной земле двора желтые, глянцеvито заблестевшие листья тутовника. Мать вышла на терраску, надевая на голову платок.

— Где это тебя носит, углым? Можно ли ходить до этих пор, я беспокоюсь!

Анвар сказал первое, что пришло в голову:

— Я ходил к Алимардану.

И снова сжалось сердце так, что он даже застонал от боли.

— Как он, еще не выздоровел?— спросила Икбол-хола.

Анвар отвернул лицо.

— Здоров... Лучше меня...

— Ну и слава аллаху!— видно, не расслышав последних его слов, сказала Икбол-хола и, взяв маленький столик — хон-тахту, прислоненный к стене, стала растилать на нем дастархан.

— Сейчас я разогрею тебе шурпу.

— Не нужно,— отказался Анвар, проходя к себе в комнату.— Не надо, ойи, я ложусь спать, я устал.

Анвар потушил свет. Серебряно блестела железная крыша соседнего дома, половина двора была закрыта тенью. На терраске тускло сияли круглые медные блюда, столбы отбрасывали тени на кошму. Казалось, что луна светит сейчас над всем миром, осеняя его своим покоем, казалось, что все люди спят спокойно в своих домах, только один Анвар бодрствует.

Промчался ветер, листья тутовника зашелестели и стали осыпаться. Когда-то они с Алимарданом из веток этой тутовины вырезали рогатки. Когда-то они все же дружили, так дружили!..

Анвару до сих пор не верилось, что случившееся происходит на самом деле, он сидел возле окна в каком-то безвольном оцепенении и не знал, что делать дальше, как дальше жить. С той минуты, как из его судьбы вынули Мукаддам, дальнейшее потеряло смысл.

Луна перешла за крышу, снова подул ветер, вздрогнули ветви тутовника и посыпались листья. Сиплым голосом прокричал петух. Наверху, над соседской крышей, начало сереть чебо. Наступил рассвет.

Глава вторая

1

Машина «Скорой помощи» неслась по улицам Ташкента, выла сирена. Окна кузова были замазаны белой краской, потому Мукаддам не могла видеть, где они проезжают, однако по начавшейся тряске она определила, что выехали на проселочную каменистую дорогу.

Минут двадцать назад, когда она кипятила инструменты, чтобы сделать укол очередному пациенту, в процедурную торопливо вошла Хури-апа и велела немедленно собираться: «В Заңги-ата какой-то мужчина избил жену, у нее сердечный приступ». Выезды такие были для Мукаддам уже, в общем, привычны, так что она сидела, равнодушно глядя перед собой, перебирая в который раз свои тяжелые, неотвязные думы.

Наконец машина остановилась. Мукаддам взяла чемоданчик с инструментами, отворила заднюю дверцу и выпрыгнула на улицу. Облако пыли, поднявшееся за машиной, тут же обволокло ее. Мукаддам торопясь

отошла на обочину, пыль осела на воду арыка, на пожухлую, тронутую ночными заморозками траву. Из кабины шофера вышла Хури-апа и, кивнув Мукаддам, пошла по мостику через арык к домикам кишлака.

В начале улицы перед некрашеной деревянной дверью в дувале стояла группа женщин. Завидев врача, они стали торопливо расходиться, остался только молодой парень в шароварах и майке, он сидел на земле, сжав лицо руками.

Хури-апа потрогала его за плечо:

— Эй, джигит, здесь живет Азимджанова Саодат?

Парень резко поднял голову, лицо его было бледным, глаза безумными, на прикушенных губах запеклась кровь. Хури-апа повторила свой вопрос, но парень дернул плечом, ничего не ответил и снова уронил голову на ладони.

Хури-апа чуть усмехнулась, толкнула дверь и вошла. Мукаддам последовала за ней. Во дворе вроде было все спокойно: помахивала хвостом и жевала жвачку корова, привязанная к яблоне; на крыше терраски низенького дома были навалены сухие толстые стебли хлопчатника — гузапая, зимой ими топят тандыр, где пекут лепешки. Не раздавалось ни единого звука и из раскрытой двери дома.

Хури-апа прошла в дом. Мукаддам тоже вошла, ничего не разбирая сначала со света в темной комнате: окна были занавешены. Потом глаза привыкли, и она увидела полную немолодую женщину, сидевшую на корточках возле кровати. Та вскочила им навстречу.

— Нет, мои дорогие,— запричитала и заплакала она.— Я не для того женила сына, чтобы он в первый день убивал свою жену. Он не говорил мне, почему так вышло!..

— Откройте занавеси!— резко сказала Хури-апа.

В комнате стало светло, и Мукаддам увидела на постели молодую женщину в халате, лежащую поверх одеяла. На шее и на лице у нее были кровоподтеки и синяки, волосы растрепаны.

Хури-апа села на кровать, взяла запястье больной. Та, приподняв веки, безучастно смотрела на врача. Пожилая женщина, прислонившись к косяку двери, тихо плакала и причитала:

— Аллах, его ведь посадят! Почему я такая несчастная, почему столько бед на мою седую голову...

— Кордиамин,— сказала Хури-апа, и Мукаддам стала готовить шприц.

В комнату неожиданно быстро вошел старик в белом стеганом халате — яктаке. Следом вбежал парень в майке.

— Забирайте свою дочь!— выкрикнул он и выругался.— Забирайте, пока я не убил ее. Предупреждаю!

Больная, увидев старика, попыталась было сесть, но Хури-апа удержала ее. Старик подошел к кровати, взглянул на женщину и закрыл лицо руками.

— Что ты сделал с ней, негодяй!— проговорил он дрожащим голосом.— За что ты изуродовал ее?..

— Пусть она уходит!— выкрикнул парень.— Я даю ей развод! Пусть она уходит, или я убью ее!

Пожилая женщина бросилась к нему и упала на колени, обхватив ноги.

— Не кричи, успокойся!— запричитала она.— Тебя посадят в тюрьму!.. За что эта доля свалилась на мою голову!..

— Пусть посадят!— опять закричал парень, рванувшись к кровати.— Гадина! Я убью ее!..

— Я уже дряхл, поэтому не могу тебе отомстить за дочь!— сказал старик.— Но, может, найдутся другие...

— Может быть, нашлись!— выкрикнул парень и поддал ногой самовар, стоявший на полу. Самовар с грохотом упал, парень схватил его и выкинул в окно, высадив раму. Посыпались стекла.

— Тише!— сказала Хури-апа и встала.— Хватит. Уйди отсюда.

— Я не собака, чтобы жрать чьи-то объедки,— сказал парень уже ниже тоном и вдруг, расслабившись, упал на кошму и зарыдал.— Почему она меня обманула, почему она обманула меня?.. Как я буду жить, опозоренный?.. Почему вы отдали мне свою дочь, которая уже спала с кем-то?— он поднял голову и взглянул на старика.— Ата-джан, вы знали, что ваша дочь уже побывала в чьей-то постели?

Старик стоял, опершись на палку, глаз не видно было под насупленными бровями. В лице его не было ни кровинки. Больная, дернувшись, простонала:

— Вина на мне... Уйдите все. Я поднимусь, покину дом. Уеду...

В комнате воцарилась тишина, потом Хури-апа деловито сказала:

— Укол.

Мукаддам подошла, руки у нее дрожали.

— Что с тобой?— удивленно и недовольно спросила Хури-апа.— Дай сюда!

Она взяла шприц, а Мукаддам, не помня себя, выскочила во двор, побежала к машине, села в нее и дала волю слезам. «То же будет со мной!..— стучало в мозгу.— Нет, мне не надо никогда выходить замуж. Я никогда не выйду замуж, пусть отец не узнает, что я его опозорила!..» Ее била дрожь, она съежилась комочком в углу на сиденье и сжала лицо руками, чтобы не стучали зубы.

Скоро пришла рассерженная Хури-апа, резко захлопнула дверцу кабины, бросила шоферу: «Поехали!» Закурила, через маленькое окошечко в кузов тянуло дымом дешевых сигарет. Мукаддам перебирала свои девчачьи мечты: дети, муж, собственный веселый дом — счастливая добрая жизнь,— и заливалась слезами: ничего этого уже не будет. Она не заметила, как машина въехала во двор поликлиники и остановилась. Шофер постучал по окошечку: «Эй, сестричка, задремала? Выходи!»

Мукаддам взяла чемоданчик и слабыми ногами ступила на землю. Подошла к крыльцу. Хури-апа скрылась за дверью.

— Мукад!— позвали ее.

Мукаддам обернулась и вздрогнула: возле маленького хауза во дворе поликлиники сидел на корточках Алимардан. Мгновение Мукаддам растерянно стояла, потом опустила чемоданчик на землю и провела рукой по лицу: глаза заплаканы, нос, наверное, распух... Ну и пусть! Мукаддам сделала шаг к хаузу, не зная еще, что такое злое она скажет сейчас этому человеку — причине ее горестей и слез. Он, не вставая, внимательно глядел, потом вдруг улыбнулся, в глазах мелькнула грустная нежность.

— Умойся девочка... Ты плакала?

Мукаддам машинально нагнулась, зачерпнула горстью воду из хауза, ополоснула лицо. Алимардан шагнул к ней, достал из кармана скомканный темный платок, протянул.

— Утрись.. Милая моя, я так скучал по тебе.

От этих слов Мукаддам как-то вдруг ослабела внутренне, выпали все жалкие колючки, которыми она вооружилась для обороны, губы ее скривились, она хлюпнула и совсем по-детски разревелась, вжимая лицо в грязный

платок, пахнувший горько и сладостно — теплом кожи этого мужчины.

Алимардан притянул ее к себе, гладил по худеньким лопаткам, чувствуя, как колотится сердце и как больно хочется ему зацеловать, заласкать эту слабую и сильную девочку, так желанную ему и все-таки недоступную пока, хотя вроде бы он и имел уже на нее какие-то права.

Сначала тело Мукаддам напряженно отстранялось, потом поникло, и он, потеряв разум, гладил ее по спине, целовал заплаканное красное лицо, мокрые глаза и губы, на удивление больным, спускавшимся со ступенек крыльца, на удивление толстой женщине в белом халате, вышедшей на крыльцо, стоявшей в раздумье и так, не сказав ни слова, ушедшей обратно.

— Завтра придут сваты, — шептал Алимардан. — Слышишь, Мукад? Не сердись, так вышло, я ведь болел, не мог раньше. Завтра сваты придут. Пойдем ко мне, я истосковался по тебе, хочу тебя, слышишь? Родная моя...

— Нет, — плакала Мукаддам. — Пустите! Не надо мне ваших сватов, я их прогоню! Я никогда ни за кого не выйду замуж...

Но и у нее вопреки ее воле сладко слабели ноги, кружилась голова, и поцелуи, больно жегшие воспаленную, напряженную кожу на лице, были все сладостней и желанней. И не стыдно было, что их видит весь свет.

2

Когда Анзират-хола услышала, что ее единственную любимую дочку сватает сирота без роду без племени, она воспротивилась, даже поплакала. Кари-ата прикрикнул на нее: «Что, разве его отец и мать тебе луну с неба достали бы? Достаточно, что парень любит нашу дочку, а она любит его. Будет нам сыном, будем его родными!»

Анзират-хола поплакала, а поплакав, успокоилась и стала деятельно готовиться к свадьбе, созвав соседок, чтобы помогли ей. Трепали, чесали шерсть для традиционного матраса, который молодоженам должна подарить мать невесты. Анзират-хола вынула из сундука дорогие старинные украшения: браслеты, серьги, ожерелья, подвески к косам. Кораллы в черненном серебре, бирюза в серебре — старинная прекрасная чеканка, ручная работа. Сама она все это давно не носит, отдаст Мукаддам, как ей когда-то в день свадьбы отдала эту звенящую, точно уздечка лошади, красоту мать. Наверное, Мукад-

дам тоже не будет носить эти красивые вещи, девушки сейчас носят какие-то дешевые блестящие стекляшки, а Мукаддам совсем почти не надевает никаких украшений, только бирюзовые капельки в ушах: как вдела ей, пятилетней, бабушка, когда проколола уши, так девочке ни разу не захотелось ничего другого. Капризница, серьезница, дочка моя дорогая...

До Мукаддам у Анзират-холы родился сначала мальчик, но умер на седьмой день, потом девочка, умершая в сорокадневье. Вот и не верь старикам, которые говорят, что третий, седьмой, девятый и сороковой дни самые тяжелые и несчастные для младенца, что нельзя допускать, чтобы чужой взгляд коснулся лица малыша, пока он не перевалит за эти роковые цифры... Ну, а потом, когда родилась Мукаддам, они с Кари-ата только что во рту ее не носили. Коклюш, корь, скарлатина — все дети болеют, никто не минует, а они бегали по знаменитым докторам, трепетали, точно дочка вот-вот умрет.

Когда Мукаддам пошла в школу, Кари-ата сам отводил ее туда и приводил обратно: ему все мерещилось, что дорогой с ребенком может случиться несчастье. В шестом классе Мукаддам попросила велосипед. В то время в их махалле девочки еще не ездили на велосипедах, считалось неприличным, но Кари-ата купил своей капризнице великолепный велосипед, и девчонка, мотая косичками и сверкая голыми коленками, гоняла по узеньким улочкам. Соседи поосуждали, поговорили, потом привыкли, и через год уже у большинства девчонок, ровесниц Мукаддам, были велосипеды.

Отец, конечно, мечтал, чтобы дочка пошла в педагогический, стала учительницей в той школе, где недавно учительствовал он сам. Ничего подобного: Мукаддам вбила себе в голову, что будет врачом. Пришлось принять и это...

Сыну двоюродной сестры отца давно нравилась Мукаддам, заслали сватов, но Мукаддам повела бровью: «Не пойду за него. Не нравится... И потом мне учиться надо». Ну и с тех пор родственники поссорились и не ходят в гости, хотя живут друг от друга всего-то в полчаса езды на трамвае.

Но, конечно, родители для дочки могут смастерить даже трон, только настоящее-то ее счастье все-таки с мужем. Тут уж ничего не сделаешь, ничему не поможешь, не поправишь. Как аллах решит, так и будет.

Анзират-хола смахнула слезу, толкнула резную деревянную дверь в дувале. В доме у них слышались музыка, женский смех, дружные хлопки: видно, кто-то плясал. Сегодня к ним в дом пришел той — свадьба, иначе говоря, девишник. У Алимардана сейчас справлялся мальчишник. Нет, жених оказался ничем других не хуже: и подарки прислал какие положено, и плов, и сладости. Все шло так, как надо, не хуже, чем у людей, и все-таки у Анзират-холы было тоскливо на сердце: ох, тяжело свое милое дитя отдавать в чужой дом! Кто ей стогодит, кто накормит ее, кто утром на работу разбудит!.. Девочка она еще, дитя, в куклы недавно бросила играть, вон сидят на айване в углу трепанные старые мишка, заяц, две безглазые безносые куклы. Хотела вчера выбросить, так не дала: «Ты что, ойи? Я их так люблю, они мои самые хорошие дочки...» И засмеялась, а зубы мелкие, белые, как у мышонка. Красавица моя...

Дверь распахнулась, вышла полная невысокая девушка в атласном платье.

— Ох, жарко! — сказала она. — Пусть открыта будет, ладно, девочки?

По голосу Анзират-хола узнала Лабар.

— Кто это? — спросила Лабар и вдруг взвизгнула радостно. — Апа пришла! Пойдемте, пойдемте, вы нам спляшете!

Анзират-хола остановилась у порога, приняла от девушек «салам», ответила им «алейкум ассалам!» Оглянула комнату: все ли в порядке, все ли так, как надо? Осталась довольна: все красиво, богато, так, как у людей, а может быть, и лучше.

На стенах комнаты висели традиционные черные, вышитые красным и желтым шелком свадебные ковры — залдивор и паляк. В нишах стопками были сложены разноцветные курпачи, одеяла, матрасы. На дастархане всего было вдоволь: плов, жареное и вареное мясо, сметана в пиалках, помидоры и лук, щедро сдобренные красным перцем; в вазах стояли розы и гвоздики, на блюдах горой лежали виноград, яблоки, гранаты, красная нарезанная ломтями дыня. Девушки уже не ели ничего, а на дастархане полно было всякого угощения, хорошо. Слава аллаху, в нашем доме пока всего вдоволь!

Анзират-хола отыскивала глазами дочь. Она сидела в центре стола в красном с черными и желтыми разводами атласном платье, брови, подкрашенные усьмой в одну линию, оттеняли белый широкий лоб; белый, прямой,

как стрела, пробор разделял черные волосы; на худых щеках горели пятна румянца, глаза влажно блестели. Анзират-хола задержала взгляд на дочери, словно впервые ее увидела. «Какая она все-таки красавица, прямо фаришта...» — с каким-то даже страхом подумала она.

— Мама! — позвала Мукаддам и улыбнулась. — Иди к нам, пожалуйста!

— Ну! — улыбнулась Анзират-хола. — Пойте, веселитесь, дело молодое...

Она села на курпаче с угла низенького столика, подняла руки к лицу, задрожавшим голосом прочла молитву: «Пошли аллах тебе счастья, детка моя! Чтобы дом твой был полон добром и детьми, чтобы состарилась вместе со своим мужем...»

Мукаддам, обходя подруг, прошла к матери, опустилась рядом с ней на колени. Анзират-хола обняла ее за плечи, прижала к себе, поцеловала в лоб. И вдруг почувствовала, что от волос дочери и от платья пахнет духами. Анзират-хола вздохнула и сказала с грустью:

— Ты уже совсем большая стала, кызым! И когда ты выросла?..

— Апа! — закричала Лабар. — Пожелайте и остальным девушкам хорошего замужества!

Девушки засмеялись, загомонили, снова включили магнитофон, Анзират-хола отпустила дочь и придвинула к себе касу с шурпой.

Лабар потянула Мукаддам на середину комнаты:

— Танцуй! Танцуй, пока еще можно, потом муж не позволит!

— Что это она такая серьезная, правда! — крикнул кто-то из девушек. — Или у нее муж оказался стариком?

— Ого! — захохотала Лабар, откидывая назад черно-косую голову. — Ничего себе старик! Джигит такой, красавец, высокий, чернобровый, глаза горячие! Я влюбилась!.. Правда, девчата! Танцуй, Мукад, радуйся.

Мукаддам вышла на середину, трянула руками, повела плечами в такт музыке. Сами собой поплыли брови вверх, улыбнулись губы, скользнула голова вправо-влево... Очень долго у нее, девчонки, когда они играли в свадьбу, не получалось это — остановить неподвижно плечи, чтобы только дрожали тоненькие пальцы рук и двигалась шея то вправо, то влево, в такт кокетливым переливам мелодии. Шея, а не плечи...

Лабар встала рядом, тоже подняла задрожавшие, заигравшие пальцы рук, залилась гортанно, соловьино:

Ах, я отдала ювелиру красный камешек,
Просила: ограни, чтобы рубином стал!
Ах, я отдала милому робкое сердечко,
Просила: сохрани, не разбей!

Замолкла мелодия, Мукаддам села на свое место и вдруг загрустила. Значит, нет уже дороги назад, значит, в эту комнату, на стенах которой висят сейчас сюзане и паляки, где прошла вся ее недлинная, нехитрая жизнь, она уже не ворвется по-хозяйски, бросив в угол портфель, не упадет на курпачу, ожидая, пока мама, накинув на низенький столик дастархан, будет суетиться, собирая ей поесть. Отныне она будет приходить сюда только гостьей, чужой...

А Лабар смеялась, ломая белые лепешки патыр, давала девушкам, себе оставила самый большой кусок:

— Не сердись, Мукаддам, когда придет ко мне халва от жениха, я тебе тоже самый большой кусок отломлю!.. Девочки, давайте поглядим, какие подарки прислали нашей Мукад?..

Лабар подбежала к сундуку, достала из него большой узел и стала разворачивать и показывать всем девушкам атласные платья.

— Где это он атлас номоз-шом достал?— удивлялась она.— Он сейчас только на экспорт идет да в валютные магазины. Вся Европа в нашем атласе щеголяет. Какие красивые... Вот хитрец, вот пройдоха!

Она снова нагнулась над сундуком и вдруг вытянула откуда-то со дна шелковую синюю кийкчу — мужской поясной платок, вышитый Мукаддам.

— Ого!— крикнула Лабар.— Когда это она успела вышить? Поглядите, как красиво! А я думала, она покупную кийкчу будет дарить жениху, наша келин. А она, глядите, успела, вышила!

Руки девушек потянулись к платку, Мукаддам вскопчила на ноги, вспыхнув, вырвала кийкчу у Лабар.

— Не надо, не тронь!— крикнула она, смяла платок и сунула за пазуху. Дело в том, что в уголке платка было вышито: «На память Анвару-ака». А она и думать забыла об Анваре в последнее время...

Девушки удивленно промолчали, потом отвлеклись, разглядывая новый шелковый отрез, вытщенный Лабар

из сундука. А Мукаддам пыталась припомнить лицо Анвара и не могла. Бесплотно расплывалось, уходило. Зато лицо Алимардана, улыбающееся, нежное, нависшее над ее лицом, его горячую кожу, руки, ласкающие ее плечи и грудь, она помнила. И запах его рта и запах волос... Господи, она сейчас потеряет сознание!..

Мукаддам взяла со стола гранат, надрезала кожицу, разломила.

Губы возлюбленного моего — половинки граната.
Руки его — лунная дорожка на воде Зарафшан!
Как я люблю его, простите меня, подруги,
Я совсем потеряла голову!..

Лабар пела, лукаво улыбаясь, и Мукаддам улыбнулась в ответ: «Простите меня, подруги, я совсем потеряла голову».

3

Алимардан проснулся поздно, полежал с закрытыми глазами, чувствуя, что не прошла еще томительная сладкая усталость в теле, улыбнулся и быстро повернулся на бок. Открыл глаза. Но Мукаддам уже рядом с ним не было. Часы пробили девять. Занавески были задернуты, потому в комнате стоял полумрак, но на дворе был уже белый день, и люди давно работали. Однако Алимардана эта мысль не заставила подняться: сегодня был первый день, вернее, первое утро после их с Мукаддам свадьбы, первое утро после того вечера, когда невеста законно, а не тайно вошла в его дом, легла в его постель.

Бедная его комната преобразилась: обшарпанные стены были закрыты шелковыми вышитыми сюзанае, в нишах были красивыми стопками сложены бархатные одеяла, на точке поблескивали вымытые, аккуратно составленные фарфоровые чайники и пиалы. На столике рядом с постелью стояли ваза с яблоками, чайник и две пиалы.

Давно в доме не было так чисто, надо отдать молодой келин справедливость. Мама перед смертью уже так слабо себя чувствовала, что убирала только то, что бросалось в глаза. «Вот приведешь молодую в дом...»

Алимардан вскочил в одних трусах, подошел к окну, раздвинул занавески. Было пасмурно, ночью видно, прошел дождь, земля во дворе была темной, однако глад-

кой и чистой. В углу возле хлева Мукаддам старательно шаркала метлой, подметая двор. Толстая длинная коса моталась сзади, приминала широкое платье, обрисовывая изгибы спины и бедер. На Мукаддам, как положено молодой жене, были надеты шаровары-лозим, от этого она казалась длинноногой и повзрослевшей. Алимардан кашлянул, потер себе грудь, потом, взяв из вазы яблоко, отворил окно и швырнул в Мукаддам. Та испуганно отскочила, посмотрела вверх на орешину, недоумевающе обернулась. Засмеялась, увидев Алимардана в окне.

— Зачем вы кидаетесь? Я испугалась.

По узбекскому обычаю, она называла его на «вы», но Алимардан знал, что в молодых узбекских семьях, особенно в среде интеллигенции, принято теперь между мужем и женой обращение на «ты». Это ему казалось более современным.

— Кара гульча,— позвал он ласково.— Черный цветочек, пойди найди мне тапочки, что твоя мама подарила.

Мукаддам вспыхнула, улыбнувшись. Она все никак не могла привыкнуть к тому множеству ласковых прозвищ, которые придумывал для нее начитанный в газелях Алимардан. Черный цветочек, Синий цветочек, «Тиканли гуль» — колючий цветок (это когда они в шутку ссорились). «Ак гуль! Белый цветок! — шептал Алимардан, целуя ее ноги и живот.— Счастье мое, ты немая? Ты что молчишь? Тебе плохо?..»

— Какие тапочки? Вы шутите? — спрашивала Мукаддам, идя с метлой к двери.— Они же там стоят...

— Где? — спросил Алимардан, лег в постель, отбросив одеяло.— Да торопись, глупая, непонятливая, я соскучился, а ты все еще ребенок!

Он схватил смущенную Мукаддам за руки, стал целовать ее пальцы, узкие запястья.

«Сколько в нашей восточной поэзии написано красивых слов о женском запястье! — удивленно вспомнил он.— Впрочем, когда все остальное скрыто паранджой и чадрой и только беленькая ручка иногда мелькнет...»

— Я хочу сына, Мукад! — сказал он потом, лежа на спине, улыбаясь.— Пятерых сыновей, слышишь, маленькая! Ты ни о чем не думай, ни о чем не заботься, только рожай мне детей и будь красивой. Слышишь?

Мукаддам счастливо кивала, лежа на его сильной

руке, робко гладила его широкую грудь, поросшую курчавым волосом.

— Ой,— вскрикнула она.— Чайник закипел.

Вскочила, оделась, повесила на плечо полотенце, взяла узкогорлый медный кувшин с водой. Подошла к абрезу — выложенному кирпичами желобу для умывания.

— Я солью вам.

— Пойду умоюсь на речку,— сказал Алимардан, сняв с ее плеча полотенце.— Там хоть поплескаюсь вдоволь.

— Разве не стыдно,— сказала Мукаддам с нарочитой серьезностью,— женатый мужчина и пойдете через весь кишлак в майке на речку!

— Ничего!— рассмеялся Алимардан.— Кому стыдно, пусть не выдают за меня свою дочку. Мне пока одной жены хватит.

Когда он вернулся, в доме было прибрано, на столике стояли масло, сахар, мёд, лежали лепешки. Из носика фарфорового чайника с зеленым чаем шел пар. Мукаддам перелистывала какой-то альбом.

— Посмотрите,— улыбнулась она.— Ваши фотографии валялись повсюду, а я сделала альбом!

— Ну-ка?— Алимардан сел рядом с ней, открыл альбом.

На первой странице была приклеена старая, пожелтевшая карточка его матери — единственная, оставшаяся после ее смерти. Мать тут снималась еще молодой, но, одетая в стеганый халат и с головой, повязанной шерстяным платком, она выглядела усталой и старой. Тогда Алимардан только пошел в школу, много болел, и мать работала уборщицей на станции в двадцати верстах от кишлака. Каждый вечер она приносила ведро угля, разжигала сандал, сажала Алимардана за столик у сандала, укутывала одеялом. Сфотографировалась она для какого-то документа и все огорчалась, что вышла похожей на старушку.

— Давайте увеличим портрет нашей мамы,— сказала Мукаддам,— и повесим на стенку.

Алимардан оторвался от фотографии, взглянул на жену, улыбнулся ласково.

— Давай...— сказал он и тихо поцеловал Мукаддам в шею.— Мама у меня была хорошая...— помолчав, он добавил:— Теперь ты будешь тут хозяйка...

Не договорив, он продолжал листать альбом, разглядывая свои студенческие фотографии, групповую фотографию студенток медтехникума, где серьезная, в белом

халате Мукаддам тянула тонкую шейку из-за спин подружек. На следующей фотографии был снят Анвар в украинской вышитой сорочке, он стоял возле фонтана. Алимардан поднял на Мукаддам налившиеся гневом глаза. «Она все еще любит его», — подумал он, чувствуя, как темная волна застилает его мозг. Вырвав из альбома страницу вместе с фотографией, он бросил ее Мукаддам.

— Возьмите! Можете увеличить и повесить на стену!

— Зачем?— Мукаддам растерянно отодвинулась.— Не надо, Алимардан-ака... Я же у вас ее нашла, я думала...

— Порви ее!— глухим голосом проговорил Алимардан, и по скулам у него заходили желваки.— Ну!

— Он же ваш друг... Я думала...

— А мне неинтересно, что ты думаешь!— крикнул Алимардан.— Подними фотографию.

Мукаддам прямо смотрела на него, кожа возле уголков рта будто осушалась. Так же прямо глядя, она подняла фотографию, разорвала, выбросила обрывки в абрез, вернулась на место.

Алимардан, остывая, сел за хонтахту, отломил кусок лепешки, намазал маслом и медом.

Мукаддам налила в пиалу чаю, подала ему.

Алимардан взглянул на нее, взял пиалу, поставил.

— Что ты стоишь?— буркнул он.— Я же не свекровь твоя, мне не обязательно подавать пиалушку стоя!..

Мукаддам отвернулась, обиженно поджав губы. Алимардан дернул ее за платье, потом пощекотал ногу под сгибом колени. Мукаддам поджала ногу и рассмеялась.

Вот уже больше месяца Алимардан наслаждался своим семейным счастьем. Мукаддам оказалась старательной, хорошей хозяйкой, вкусно готовила, в доме все блестело. И потом они любили друг друга. Правда, случались и размолвки, но короткие, не омрачавшие пока их счастья.

Когда Алимардан на телестудии встречался с Анваром, тот отворачивался, не здороваясь. А Алимардан так был полон счастьем, что готов был снисходительно обласкать и этого нескладного парня, подарившего ему жену и славу. «Надо бы позвать его как-нибудь в гости, помириться», — благодушно думал он. Но, вспомнив лицо Мукаддам, когда она тщательно рвала «дорогую» фотографию, он снова загорался ревностью и злобой. Впрочем, Мукаддам была беременна и уже начала дурнеть:

немного опухло, изменилось лицо, над губами легли пока едва заметные коричневые тени. Но она все еще была желанна Алимардану.

За эти полтора месяца он уже четыре раза пел в концертах по телевизору. Каждый раз он готовился тщательно, продумывая все мелочи, как путник, отправляющийся в дальнюю трудную дорогу. Дома Алимардан теперь не репетировал, не желая обнаруживать перед женой, как долго он примеривается, пробуя то одну, то другую мелодию. Мукаддам он пел песни уже готовыми — и восхищенный лепет ее, и поцелуи были ему первой дорогой наградой. Зато в роше на краю кишлака каждое утро можно было теперь услышать весь сложный «процесс творчества», от первых неуверенных, неблагозвучных нот до последней победной трели.

Особенно тщательно готовился он к праздничному телевизионному концерту по случаю Октябрьской годовщины. Сочинил три новые песни, изменил кое-что в двух старых. Перед репетицией редакторша с улыбкой протянула ему вскрытый коверт.

— Прочитайте, — сказала она.

Письмо было написано простым карандашом на листочке в клетку. Алимардан, пробежав его глазами, наткнулся на строки: «Мы, колхозники колхоза «Заря Востока», хотим еще раз услышать прекрасный голос Алимардана Тураева. Нашей просьбе не откажите...»

У Алимардана от приятного волнения мурашки прошли по спине. Ну вот, кажется, все начиналось всерьез. Как он и ожидал.

После концерта он вопреки обыкновению не заторопился домой, а зашел в буфет. Выпил две рюмки коньяку, закусил конфетой. Делая вид, что слушает вполуха, он принял похвалы от музыкального редактора и двух пожилых мужчин, сидевших вместе с ним за столиком. В концерте Алимардан исполнил пять песен, исполнил вдохновенно — он чувствовал себя победителем, но ему приятно было вновь и вновь слушать, как он хорошо поет. Мужчины — один из них оказался известным композитором и дирижером — пригласили его посидеть с ними. Сидели, разговаривали, выпили еще немного. Наконец разошлись. Чтобы утишить волнение, Алимардан решил пару остановок пройти пешком.

Праздничный город был расцвечен неоновыми огнями, трепыхались на ветру флаги, играла музыка в репродукторах. Проходя мимо одного из домов, Алимардан

остановился. Из освещенного распахнутого окна на третьем этаже доносился знакомый голос. Еще не веря ушам, Алимардан прислушался: это был его голос, его песня! Перейдя на другую сторону и встав на цыпочки, он попытался разглядеть, что там, за окном,— на задернутой желтой шторой мелькали тени многих людей, слышался хохот, веселые голоса. Однако весь этот праздничный застольный шум перекрывала «Песня юноши».

«Они записали меня на магнитофон!— ахнул Алимардан.— Да ведь здесь находится студенческое общежитие! Ну, уж если я нравлюсь студентам, если они записывают меня на пленку... Я становлюсь популярным певцом!..»

Алимардан прошелся под окнами, слушая свой голос, не в силах сдержать счастливую самодовольную улыбку.

«А что, если зайти?— подумал он.— Узнают они меня? Скажу: я Алимардан Тураев. Вот!..» Он ходил под окнами, представляя, каким восторженным шумом встречают его парни и девушки, как просят спеть еще... Потом на пленке пошла другая песня, на русском языке, кажется, Окуджавы. Алимардан двинулся дальше.

«Успокойся!— насмешливо твердил он себе.— Раскудахтался, как курица над первым яйцом!.. Ничего особенного, все в порядке вещей, то ли еще будет!.. Приучи себя принимать такие штуки с достоинством, как подobaет мужчине...»

Стуча в низенькую дверь своего дувала, Алимардан покачал головой: «Эх ты, Алимардан Тураев! Хоть бы ворота хорошие сделал! Вот дом у тебя должен быть роскошный, чтобы все эти... сдохли от зависти... Жаль, мама не дожила... — Пока Мукаддам шлепала по двору галошами, Алимардан, оглядываясь по сторонам и уже представляя, как он все преобразит, упрямо думал:— А ничего. Сделаю. Все сделаю! Дворец эмира бухарского будет тут стоять через год, или я не Алимардан Тураев!..»

Беспрерывно моросивший с утра дождь к полудню перешел в мокрый снег. Алимардан, стоя у окна, следил, как летят тяжелые частые хлопья, превращаясь на земле в мокрую грязь. Только на крыше хлева и на перильцах сури снег пока оставался белым, но видно было, как он тяжело оседает под собственной тяжестью, стекает тонкими струйками с камыша, которым была крыта крыша. Смеркалось. Однако свет Алимардану зажигать не хотелось, он все стоял у окна, курил, в нем копошились

какие-то неоформленные, смутные мысли, и было ему хорошо от этого.

В соседней комнате стучала машинка, Мукаддам шила распашонки и все прочее для их будущего сына. Этот монотонный уютный звук тоже как бы осенял плечи Алимардана покоем, ощущением прочности будущего и бесконечности дороги, которая лежит впереди. Хотя, если говорить правду, временами их «семейное счастье» начинало Алимардана тяготить. Уж очень Мукаддам подурнела...

В дверь в дувале постучали, Алимардан почему-то вздрогнул. Машинка замолкла.

— Я открою!— крикнул Алимардан.

Он поднял над головой цветастый бекасамовый халат, оставшийся от свадьбы, вышел во двор, распахнул дверь. На улице стояли двое — один высокий, в плаще и без тюбетейки, он притоптывал ногами в легких туфлях, второй был пониже, полный, одетый в короткое пальто и сапоги.

«Верно, они сбились с дороги»,— подумал Алимардан и, поклонившись, пригласил их по обычаю в дом:

— Проходите, пожалуйста!

— А мы думали, уж и не разыщем вас, Алимардан-ака,— сказал высокий мужчина, войдя в комнату.— Далеко вы забрались.

Второй мужчина обвел комнату пристальным взглядом, и сердце Алимардана дрогнуло от гордости и унижения.

— Мы к вам с просьбой, Алимардан-ака,— сказал второй.— Вот этот наш друг женит своего младшего брата, мы приглашаем вас на той. Не откажите нам.

Первый мужчина прижал обе руки к сердцу и низко поклонился.

— Не откажите нам, ака! Мы приехали с самого Аккургана, в такую погоду... Вы уж не думайте, что мы вас заставлять станем, просто умоляем, как старшего брата, как близкого человека...

— Да нет, что вы!— сказал Алимардан и резко взмахнул рукой.— Я по тоям не ходил и ходить не буду! Мне к концерту готовиться надо...

Приезжие помолчали огорченно, потом вновь принялись уговаривать его:

— Да не отказывайте, ака! Вы нас очень огорчите, мы ведь за услугу заплатим, сколько скажете.

Высокий, улыбнувшись и снова поклонившись, проговорил, тоже зыркнув глазами по небогатой обстановке комнаты:

— Сто рублей!

— Да что вы!— Алимардан оглянулся на дверь, за которой сидела Мукаддам.— Нет, я же сказал,— и через паузу добавил:— Садитесь, отдыхайте.

— Да мы не устали, ака,— сказал низенький.— У нас машина. Мы привезем вас, ака, и отвезем...

— Вы не беспокойтесь, все будет хорошо,— высокий опять поклонился.— Когда скажете, я вас сам отвезу домой, это моя машина. Мы вам двести рублей заплатим, мы же понимаем, что вы нам оказываете большую честь...

Алимардан хотел было вспылить и сказать этим людям что-то резкое, но вдруг где-то у него в мозгу щелкнуло: «Двести рублей... за несколько часов! Да что я, дурак?» Он постоял молча посреди комнаты, потом кивнул, соглашаясь.

— Не хочу вас обижать, ладно.

Приезжие обрадованно закланялись.

Алимардан вошел в большую комнату. Мукаддам сидела, отложив шитье, глаза ее были испуганными и сердитыми.

— Кто эти люди, Мардан-ака?— спросила она тихо.

— Пришли звать на свадьбу, дай мне одеться.

Алимардан нахмурил брови, на щеках выступили желваки, он не хотел обсуждать с женой свой поступок.

— Вы пойдете? Не ходите!— Мукаддам поднялась, халат распахнулся, обнажив под рубахой заметный уже живот.

— Я не спрашивал у вас совета!

Мукаддам постояла молча, потом, достав из гардероба необходимые вещи, подала мужу. Алимардан оделся, побрызгался одеколоном, взял рубаб и пошел к двери. Обернувшись, он произнес:

— Запри ворота. И ложись, не жди меня, я приеду поздно.

Машина понеслась сквозь мокрый снег, освещаемый светом фар, снег залеплял стекло, непрерывно скрипели дворники. Алимардан сидел молча, откинувшись на спинку, в нем ходила злоба и раздражение — на себя, на Мукаддам, на этих людей, неизвестно откуда взявшихся и потревоживших его покой. На то, что у каких-то обыкновенных людей в захолустном кишлаке имеется машина, а у него ее нет. На то, что его дом скромен, и приез-

жие удивлялись, что известный певец живет в таком жалком доме. Алимардан скрипел зубами: «Ну ладно!.. Вы еще увидите мой дом!.. На брюхе от удивления поползете к нему...»

Машина остановилась, они вышли и двинулись к большому дому, ярко освещенному электрическими лампочками, распахнули дверь. Головы сидящих повернулись к ним, кто-то заторопился навстречу, кто-то провел Алимардана к почетному столу на возвышении, усадил, подвинул пиалу с шурпой, налил водки в стакан. Алимардан выпил и огляделся. Большая комната была битком набита людьми, сидевшими на коврах вдоль стен, дастархан расстелен посередине. Стояли бутылки с водкой, вареная баранина, плов, айран, фрукты, помидоры с луком. Алимардан почувствовал, что голоден, и стал есть. Внутри словно что-то отступило. «Это тоже слава,— успокоенно подумал он.— За плохим, неизвестным певцом не едут в такую даль, не платят ему такие бешеные деньги».

Поев, он взял рубаб и запел. В комнате все моментально затихло. Начал песню Алимардан вяловато, но с каждой следующей строфой он разгорался, самозажигался, пел уже в полный голос, прикрыв глаза и чуть поводя головой вслед за мелодией. И видел, как одетые в грубые пастушьи чапаны и сапоги люди словно замороженные глядели на него и тоже медленно, в такт поводили головами. А к окнам прилипли ребятишки и женщины и тоже наслаждались его пением.

«Это слава,— думал Алимардан,— моя мать была простой женщиной, одетой в грубый халат и платок. И у нас издавна ведется традиция, что народные певцы поют на свадьбах и празднествах для народа. Почему я должен лишиться их счастья слышать меня близко, а не по радио, не по телевизору?..»

Как только он замолчал, все словно взорвалось — затрясли тюбетейками, застучали стаканами о бутылки, захлопали, кричали: «Яша! Яша! Молодец!.. Рахмат!» Алимардан кланялся, приложив руку к сердцу, а к нему теснились люди с бокалами, чтобы выпить за его здоровье и сунуть ему под тюбетейку над ухом деньги — кто рубль, кто три, а кто и десять. Это тоже был старый обычай — одаривать музыкантов, певцов и танцоров.

Алимардан снова пил и снова пел, и снова ему совали под тюбетейку деньги, а он рассовывал их по карманам и пьяно хохотал. Он давно уже не пил так мно-

го, он был пьян. После, в машине, не стесняясь хозяина, он доставал деньги из всех карманов, из-за пазухи и считал. Вместе с «гонораром» он набрал за сегодняшний вечер триста пятьдесят семь рублей.

Мукаддам закуталась в одеяло так, что остался только нос, но все равно ей было слышно, как зловеще похрустывает, задевая по стеклу, снег, как ветер воет в перекрытиях айвана, как скрипит через равные промежутки ветка орешины. Ей было страшно. Чувствовала она себя снова девочкой, оставленной родителями, а замужество казалось ей игрой, выдумкой, и непонятно было только, зачем это она лежит сейчас одна в чужом, ненужном ей доме, и тоскливо щемило сердце. Хотелось заснуть, проснуться, оказаться дома — и чтобы ничего, свершившегося с ней за последние четыре месяца, не было. Ей стало жаль себя, и она заплакала. Часы в большой комнате пробили три раза.

Мукаддам провела ладонью по чужому, мешавшему ей собираться в постели в комочек, как она любила, животу и с неприязнью подумала вдруг, что она не понимает, зачем и что с ней произошло, и так быстро, зачем этот ребенок, который растет в ней и от которого ее тошнит уже, и болит голова, и лицо испортилось. А дальше будет еще хуже: пеленки, стирка, беспрерывное «вя-вя-вя!» — с утра до вечера. И никуда уже не уйдешь из дому беззаботно: ни в кино, ни на танцы, ни погулять... Она снова тоскливо пожелала себе заснуть и проснуться опять девочкой, потом суеверно испугалась этих мыслей, сказала вслух: «Аллах, прости меня!..» И положила руку на твердый, точно она проглотила маленькую дыню, живот. Под рукой что-то двинулось, словно внутри ручеек протек, и стало щекотно. Мукаддам испуганно отдернула руку и легла на спину, не понимая, что же там, внутри, произошло: может, он обиделся? Или ему стало тесно, когда она прижала его рукой?.. Если бы у нее была свекровь, она бы могла, разбудив ее, пожаловаться, поплакаться, расспросить, что все это значит. Но свекрови не было, висела только на стене увеличенная фотография, тускло поблескивающая отраженным светом. Если бы у нее была свекровь, она не чувствовала бы себя такой одинокой в те долгие часы, когда Алимардан уходил на студию. И сейчас.

Когда она как-то сказала об этом Лабар, та засмеялась: «Ты капризная, ты не ужилась бы со свекровью! Ругались бы с утра до вечера!» Ужилась бы... Здесь, в чужом доме, в то первое утро, когда Алимардан крикнул на нее, Мукаддам вдруг удивленно нашла в своей душе — в своем капризном, избалованном существе — умение смириться, умение быть выше теперешней обиды ради чего-то большего. Видно, проснулась в ней память о бесконечном мудром терпении своих прародительниц, не жалком, рабском, а мудром, когда женщина все равно хозяйка в доме, а куражающийся и даже грозно поднимающийся на нее в иные часы руку муж — всего только лишь отец ее детей, которых она рождает для будущего, а будущее — за ней... Она нашла бы со свекровью общий язык, они не ссорились бы: чего делить? Зря она ушла с работы, так тоскливо днем... И делать особенно нечего: ну ходила на базар, ну сготовила, ну убралась, а дальше что?... Книг у Алимардана было немного, газели классиков Мукаддам скоро надоело читать, а новые книги она покупать не решалась: Алимардан словно бы в шутку (а последнее время просто всерьез) спрашивал у нее отчета в каждой копейке, своих же денег у нее теперь не было. Последнее время Алимардан часто стал срывать, грубить ей, явно охладел к ней. Сегодня за обедом, когда она его о чем-то спросила, он грубо отрезал: «Хочешь есть — еда перед тобой, не хочешь есть — еда за тобой. А меня оставь в покое». Мукаддам хотела было обидеться, потом усмехнулась. Пусть его. Беременная жена — обуза для мужа, но вот родится сын, тогда мы посмотрим, как вы запоете, Мардан-ака!..

Она так и задремала, лежа на спине, вздрагивая оттого, что скрипела стреха на айване. Возле дома оставилась машина, постучали в дверь. Мукаддам проснулась, не сразу сообразив, что случилось. В дверь уже забарабанили кулаками, Мукаддам вскочила, сунула ноги в галоши, накинула большой халат Алимардана, побежала открывать.

— Кто?— спросила она.

— Открой!— и, войдя, Алимардан зло бросил ей:— Ты что, подохла? Стучу-стучу, замерз весь...

Он пошел дальше, в дом, оставляя за собой запах винного перегара и лука, а Мукаддам остановилась в ужасе: сказать беременной жене, не знающей, что ее ждет впереди, о смерти, помянуть в это время смерть всуе — это ведь страшное кощунство! Только вконец по-

гибший человек мог сделать такое! У Мукаддам наполнились слезами глаза, она молча заперла ворота и прошла в дом.

Алимардан сидел на постели не раздеваясь, видно было, что он кипит весь, ожидая, на чем бы разрядиться.

«Он пьяный,— подумала Мукаддам.— Не надо обращать внимания». Она прошла в большую комнату, делая вид, что ей надо что-то убрать, ожидая, что Алимардан ляжет спать и заснет, а завтра все будет уже иначе. Но Алимардан прошел за ней и остановился в дверях, опершись ладонями о косяки. Мукаддам посмотрела на него. Раскрасневшееся, чернобровое, с пьяной злой ухмылкой лицо Алимардана было еще более красивым, чем обычно, и Мукаддам вдруг со страхом подумала, что все не так просто, что она любит его, что он желанен ей, что ей хочется приласкать и успокоить его, и чтобы он ее пожалел и успокоил. Заласканная родителями, сейчас, когда Алимардан стал холоден с ней, Мукаддам иногда просто физически тосковала по тому, чтобы кто-то погладил ее по голове, сказал что-то ласковое, детское, жалостливое.

— Тебе, может, что-нибудь не нравится?— спросил Алимардан, повышая голос.

— Не надо, Мардан-ака,— сказала Мукаддам и попыталась улыбнуться.— Завтра вы будете жалеть об этом.

— А если не нравится,— продолжал, не слушая, Алимардан,— можешь мотать! Мотай отсюда, твой дом не так далеко! Ты мне не нужна!..

Это было уже слишком для восемнадцатилетней терпеливой девочки — она зарыдала, закрыв лицо руками, упала на пол, обхватила ноги стоящего в дверях мужчины.

— За что же вы?— со всхлипыванием кричала она.— За что же вы меня так ненавидите? Я же не сама вам навязалась, я не хотела... О-о, я хочу умереть, я хочу умереть, раз вы меня больше не любите!... Я не хочу жить без вас!..

Отрезвев, Алимардан смотрел на валяющуюся у него в ногах чужую, не нужную, не желанную ему женщину. Брезгливо потрогал ее за плечо:

— Встаньте. Идите спать. У меня концерт завтра...— он посмотрел на часы, было пять утра.— Сегодня. И не кричите так, разбудите соседей.

Анвар торопясь шел по яркой толстой ковровой дорожке, которой был застелен коридор студии. Последние полгода он нарочно набирал себе много работы, так, чтобы некогда было вздохнуть, задуматься, загрустить. Он до сих пор не мог вырвать из своего сердца Мукаддам. Воспоминание о том, как он, не выдержав, приехал-таки к дому Мукаддам, когда там шел последний день свадьбы, мучило его постоянно. Тут тогда было много посторонних, случайных людей, толпившихся в переулке, чтобы послушать песни, поглазеть на молодых, а то и зайти во двор, поест и попить: чем больше народу на свадьбе, тем приятнее хозяевам, тем счастливее и богаче будет жизнь молодых. Он простоял часа три в толпе зевак, слушая переливы сурная, песни, смех, и наконец дождался своего: подъехала машина, из дверей знакомого дувала вышла в белом платье и фате Мукаддам, следом Алимардан в черном костюме и черной чувстской тюбетейке, с вышитыми по ней белыми стручками перца, который, как рассказывают старики, должен отпугивать от молодого мужчины злых духов. Мукаддам поглядела по сторонам. Анвар даже подался вперед, мучительно желая, чтобы она его заметила: что отразится на лице ее?.. Но она равнодушно скользнула по нему взглядом, счастливо улыбнулась и, покосившись на Алимардана, полезла в машину. «Белое платье сними!— хотел крикнуть Анвар и даже прокусил себе губу до крови, чтобы сдержаться.— Бесстыдная, белое платье сними!..»

Икбол-хола несколько раз спрашивала его, когда же он приведет к ней в дом ту девушку, которую выбрал. Анвар сначала зло отмалчивался, делая вид, что не слышит вопроса, потом сказал, что эта девушка ему разонравилась. Тогда Икбол-хола стала расхваливать ему дочь ее двоюродной сестры по имени Этибор. Первое время, слыша это, Анвар усмехался, затем назойливость матери стала его злить. Сегодня утром, когда мать снова завела разговор про обладающую всеми достоинствами Этибор, Анвар сорвался, крикнул, что он и слышать про нее не хочет, что женщины ему вообще опротивели, что он никогда ни на ком не женится. Мать, обидевшись, заплакала, а Анвар ушел на работу без завтрака, чувствуя себя виноватым.

Вот и сейчас, идя по коридору студии, он вспоминал свою утреннюю размолвку с матерью, и раскаяние грыз-

до его. Бедная мама, так много настрадавшаяся в жизни, так сильно его любившая! Разве она виновата, что хочет видеть своего мальчика женатым, солидным, счастливым... Хочет помянуть внуков и разделить с молодой невесткой домашние дела?... Нет, впредь он станет сдерживаться!

Он уже было открыл дверь своей музыкальной редакции, как сзади его окликнули. Вздвогнув, он обернулся и увидел Алимардана, стоявшего возле зеркала. Одет он был в праздничный черный костюм (наверное, в тот самый, в котором был на свадьбе!), в углу рта дымила сигарета. Анвар хотел было уйти, не отвечая, но вдруг какое-то чувство болезненного любопытства к человеку, обездолившему его, взяло верх. Невольно он сделал несколько шагов навстречу Алимардану.

— Чего тебе?— спросил он, не здороваясь.

Алимардан, усмехнувшись, протянул руку.

— Ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон!— сказал он, как-то сыто хохотнув.— Брось, дружище, сердиться!..

— У тебя ко мне дело?— не беря руки, спросил Анвар, чувствуя, как дрожат пальцы, державшие сценарий сегодняшней передачи, сложил бумагу вчетверо и сунул в карман. Заложил руки за спину.

— Да нет...— протянул Алимардан.— Я хотел тебя пригласить пообедать... Ты когда женишься?

Анвар дернулся, как от удара, густо покраснел.

— Тебе-то что?

— Хотел услугу тебе на свадьбе оказать. Из дружбы.

Анвар помолчал, стиснув зубы, потом сказал — и тут же пожалел об этом: не по-мужски собирать и передавать сплетни.

— Да нет, спасибо. Я не могу тебе платить двести рублей. Так что ты уж пой для тех, кто платит.

Алимардан перестал улыбаться и вдруг насторожился, оглянулся по сторонам.

— Что? Хочешь донести?

Такая мысль в голову Анвару прийти не могла, но ему вдруг стало спокойно оттого, что он хоть чем-то уязвил этого себялюбца. И оттого, что тот оказался мелким вдруг... Этого Анвар не ожидал.

— Да нет,— сказал он и отвернулся.— Я ведь не такой подлец, как ты... Не дрожи, я никому не скажу!..

Повернувшись он пошел к себе. Сзади копилось тяжелое молчание, потом Алимардан выкрикнул:

— Да говори, мне наплевать! Меня теперь вся республика знает, вы тут у меня в ногах еще наваяетесь!.. И потом я устроился на работу в эстрадный театр, надо мною не капает!

Анвар не обернулся, ничего не ответил, эта бабья перепалка была недостойна уважающего себя мужчины.

6

Алимардан сошел с трамвая и направился в сторону театра эстрады легкими, бодрыми шагами. Хотя внутри у него скребло после дурацкого разговора с Анваром, тем не менее он убеждал себя, что все хорошо, все прекрасно, неприятное утрясется, а приятное впереди и близко: его первый настоящий концерт сегодня, когда он будет петь, глядя не в аппараты, а в глаза зрителей.

Он подошел к афише, объявляющей о сегодняшнем концерте. Его имя было набрано мелкими буквами в самом низу после всех артистов. Алимардан сплюнул, пожал плечами и, презрительно усмехнувшись, пошел к артистическому входу в театр.

Здесь не было той роскоши, что на телестудии. Лестница, ведущая наверх к артистическим уборным, была цементной, грубой, ничем не закрытой. Коридоры тесными, темными, стены выкрашенные масляной краской, покрыты влажными испарениями. Было холодно. Где-то звенел бубен, играло пианино. «Уже репетируют!» — подумал Алимардан и, подойдя к двери уборной, где он раздевался вместе еще с двумя артистами, наткнулся на толстого высокого человека.

— Зуфар Хадиевич! — дрогнувшим от неожиданности голосом произнес Алимардан. — Здравствуйте...

Зуфар Хадиевич, художественный руководитель театра эстрады, не отвечая на приветствие, постоял, тяжело дыша, будто он только что взбежал по лестнице, потом резко бросил:

— Зайди ко мне!

Повернулся и пошел по коридору. Алимардан униженно последовал за ним, чувствуя себя нашкодившим мальчишкой. Открыв дверь кабинета, Зуфар Хадиевич сел в кресло, закурил. Седые, подстриженные ежиком волосы мягко светились в сиянии хрустальной люстры, лицо было рассерженным. Алимардан стоял у дверей,

не зная, что сказать. Руководитель театра был человеком всемогущим, в его руках были поездки артистов по стране и за рубежом, он создавал имена и сокрушал их. Спорить с ним не следовало.

— Ты что же, дорогой,— сказал, наконец, Зуфар Хадиевич, брезгливо отстранив ладонью клубы дыма,— опаздываешь на репетицию, а?..

Алимардан молчал, понимая: что бы он ни сказал сейчас, все не понравится вопрошавшему.

— Так не годится начинать артистическую карьеру!— Зуфар Хадиевич снова подымял сигаретой, разогнал ладонью дым, закашлялся.— У меня на тебя большие планы на летние гастроли. Поездишь по республике, а там, может, за рубеж... Но учти, что талант — это не только голос, но еще и дисциплина!

Алимардан все так же молчал, держа в руках каракулевую папаху, Зуфар Хадиевич, приняв его молчание за раскаяние и смирение, благодушно махнул рукой:

— Иди гримируйся!

Он любил молодых.

Когда Алимардан вышел из гримировочной и пришел за кулисы, концерт был в разгаре, сюда доносились жаркое дыхание и шум зала. Прошло несколько номеров, Алимардан терпеливо ждал своей очереди. Наконец девушка, ведущая концерт, подошла к нему и прошептала на ухо: «Ваш выход!» И, не ожидая, пока он соберется с духом, стуча каблучками, проследовала на сцену:

— Выступает молодой артист Алимардан Тураев!

Путаясь в занавесах, Алимардан заторопился следом, вышел на сцену, чувствуя себя так, будто он летел в пропасть. Грохот аплодисментов оглушил его, слепком яркий свет ramпы ослепил. Чуть усмехнувшись, девушка указала ему рукой на середину сцены и ушла.

Алимардан подошел к микрофону, поправил его, собираясь с духом, а зал все рукоплескал. Сердце Алимардана гулко билось, но он уже взял себя в руки, улыбнулся, поклонился и поднял тар. Привычный жест этот успокоил его, словно бы дал опору. Зал затих, он запел. Это была новая песня, и Алимардан почти физически чувствовал, что слова ее и мелодия словно бы соединяют его с залом нитями приязни, любви, от этого он пел еще лучше, свободнее.

Едва он замолк, как зал грохнул аплодисментами. Алимардан секунду слушал их — это была сладкая музыка, нужная его сердцу больше, чем те деньги, которые он получал на свадьбе. Сердце его билось, но уже не испуганно, а сладко, тяжело, полно — в эти мгновения полноты счастья не страшно было и умереть... Он улыбнулся, словно просыпаясь, поклонился и пошел со сцены. Однако зал, вместо того, чтобы затихнуть, продолжал шуметь, люди вскакивали со своих мест, что-то кричали.

Ведущая вышла на середину сцены, хотела что-то сказать, но ей не давали. Она улыбнулась, подняла руку, объявила:

— «Песня юноши»!

Зал смолк. Алимардан снова начал петь. Он не помнил себя, от благодарности и счастья он готов был вывернуться наизнанку. Кончилась песня, в зале снова захлопали, затопали, Алимардан спел еще, потом еще, потом быстрыми шагами ушел со сцены. В глазах у него стояли слезы счастья.

Он обернулся. Ведущая стояла посреди сцены, но ей опять не давали говорить, аплодисменты перешли в овацию, люди согласно кричали: «Ту-ра-ев! Ту-ра-ев!...» Они словно бы вбивали гвозди в голову певцов, которые должны были выходить сейчас, после Алимардана.

Не помня себя, не ожидая приглашения, Алимардан снова выбежал на сцену и снова начал петь, а его все не отпускали, и ведущая, стоя за занавесом, укоризненно качала головой. Наконец Алимардан почувствовал что изнемог, и, жалобным жестом показав на свое горло, развел руками. Зал грохнул добродушным смехом, захлопал уже не так неистово, отпуская его. Алимардан благодарно, низко поклонился, прижимая руку к сердцу, ушел за кулисы. И тут его встретил кипящий от гнева Зуфар Хадиевич.

— Ты что, дорогой? Думаешь, у тебя сольный концерт? У тебя совесть есть? Да как ты им, — он указал на ждущих своей очереди певцов, — в глаза глядишь?

Алимардан виновато опустил голову, но, не выдержав, усмехнулся и пошел разгримировываться. Звезда его славы восходила, это была яркая звезда, и никто уже не в силах был потушить ее...

К лету строительство на участке Алимардана развернулось вовсю. Рабочие снесли оставшийся от отца и дедушки старый глиняный дом и хлев, сломали террасу. На месте же всего этого был построен новый восьмикомнатный дом со стеклянной верандой и большой гараж. Недаром говорится: было бы золото — получишь и синицу, ту, что в небе, и ястреба, который в руках у соседа...

Голос Тураева каждый день звучал по радио, магнитофонные ленты были переполнены записями его песен, он напел уже несколько пластинок, которые должны были вот-вот появиться в музыкальных отделах магазинов. Люди говорили друг другу: «Пойдемте на свадьбу к такому-то, говорят, там будет Алимардан Тураев!..» Теперь Алимардан брал не меньше трехсот рублей, от сытной поздней еды на свадьбах он распольнен, не по возрасту посолиднел, впрочем, таким он себе нравился.

Летом молодой певец ездил с гастрольями по всей республике и вот только неделю как вернулся домой. Сегодня у него должен быть первый концерт после гастролей, и Алимардан готовился, репетируя перед зеркалом позы, поклоны, потом стал подбирать музыку для новой песни. Он давно уже не стеснялся жены: «Не хочет, пусть не слушает! Дом большой, место найти себе может!..»

Река бурлит, кипит вода, никак мне на берег не выйти.

Конь мой слаб — не спастись нам с ним!

Худым стал мой конь из-за бурной воды,

Я пожелтел из-за соболиных ее бровей!..

Он волновался, когда пел сейчас эту старую песню считавшуюся народной, музыку он несколько изменил и как бы огранил, добавил незаметные, но существенные штришки, придавшие ей особый блеск. Новая песня нравилась ему, он вкладывал в нее свою мечту о любви, о какой-то неизвестной прекрасной женщине которую он уже жаждал всем сердцем.

Почувствовав, что подошла Мукаддам, он не обернулся, пока она не положила ему руку на плечи и не прижалась к нему несмело.

— Что ты хочешь?— резко спросил он и отстранился. По задрожавшим губам жены он увидел, что вышло чересчур грубо, но, не желая смягчать, продолжал:— Я же просил тебя не мешать, когда я работаю! Неужто так трудно!

— Я думала...— тихо прошептала Мукаддам,— что это вы мне поете... Помните, как вы мне сочинили ту песню, когда я...

Алимардан насмешливо осмотрел жену и отвернулся. Весной у Мукаддам был выкидыш, но вскоре она снова забеременела, и на ее исхудавшем, почерневшем лице теперь постоянно стояла эта смесь печали и страха перед тем, что должно произойти. За год Алимардан позабыл красивую девочку, которая, кажется, как раз в этот день год назад вошла в его дом, чтобы выйти опозоренной и несчастной. Он привык видеть постоянно беременную некрасивую женщину, и у него было чувство, что его обманули, хитро поймали. Считал, что и того довольно, что он мирится с этим. О ребенке, которого они когда-то ждали и потом лишились, он не жалел. «Ребенок и деньги — грязь, скатывающаяся с рук. Они приходят и уходят, а мужчина остается...»

Поняв его взгляд, Мукаддам погрустнела еще больше, глаза наполнились слезами, она произнесла шепотом:

— Ужин остывает, а вам, наверное, уже идти пора.

— Сейчас, сейчас!..— сказал Алимардан с видом человека потерявшего терпение.

Мукаддам повернулась и молча ушла, ее тапочки без задников долго шаркали по всему дому, и казалось, что это ходит бессильная старуха.

Выйдя из дому, Алимардан счастливо вдохнул осенний холодный воздух и оглянулся по сторонам. Вот и снова осень распростерла над Бустаном свои шафранные крыла. На базарах везде валяется кожура от дынь, а над улицами, словно бабочки, кружатся огромные багровые листья чинар. Пришла тишина в парки и аллен, опустели трамваи: почти весь Ташкент выехал на сбор хлопка. Впрочем, надо полагать, найдется достаточно людей, чтобы до отказа заполнить зал, где он через час будет выступать.

Алимардан улыбнулся, подошел к «Волге», стоящей у ворот, включил зажигание. Все его мечты сбывались с быстротой, способной напугать кого угодно, только не

его самого. Он был молод, красив, полон сил, и у него все было впереди.

Большая люстра в зале еще не погасла. Зрители торопливо проходили между рядами, искали свои места и, усевшись, начинали шуршать конфетными бумажками, вертеть в руках программки, с нетерпением поглядывать на занавес.

Алимардан, чуть отодвинув край занавеса, глядел в зал. Как он и ожидал, на его концерт собралось народу больше, чем зал мог вместить, билетерши вносили стулья и ставили в проходах для кого-то из знакомых дирекции, тоже пожелавших услышать голос Алимардана Тураева. Билеты, оказывается, были распроданы еще полмесяца назад, и сейчас перед входом продавались с рук по десять рублей. Имя его на афише уже было напечатано самыми крупными буквами.

Публика расселась, успокоилась, послышались отдельные жидкие хлопки, потом аплодисменты стали гуще, зарокотали, как горная река весной. Алимардан пошел за кулисы, сел на стул, ожидая начала, гладил струны нового, очень дорогого тара, гораздо лучшего, чем тот, который год назад он держал на телевизионной студии.

Занавес пошел в стороны, большая люстра в зале медленно гасла, скоро зал потонул в темноте, горели только красные огоньки у входов.

Раздался звонкий голос ведущей концерт, зал отошелся аплодисментами. Алимардан вышел на сцену, поклонился. Аплодисменты стали более горячими, потом неступленными, так продолжалось минут пять. Потом Алимардан с улыбкой прижал к груди тар и выжидающе посмотрел, показывая, что он просит тишины. Аплодисменты стихли.

Речка горная бурлит — никак нам с конем

На берег не выбраться, горе нам!..

Никак я не избавлюсь, не вылечусь от любви своей...

Не успели замолкнуть последние нежные аккорды тара, как зал буквально взревел от аплодисментов. Теперь, привыкнув к такому горячему приему, Алимардан уже стоял спокойно, пережидая, пока аплодисменты стихнут, и он сможет начать новую песню.

К концу первого отделения Алимардан заметно ус-

тал, за неделю отдыха он успел отвыкнуть от большой нагрузки. У него гудела тяжело голова, заболели пальцы руки, щипавшей струны тара. Но внешне этого не было заметно: Алимардан приятно улыбался, кланялся и пел, пел, пел все, что мог, все, что знал, все, что выкрикивали в разгорячившемся зале голоса.

Наконец первое отделение окончилось, к сцене со всех мест побежали люди с букетами цветов.

Алимардан принимал букеты, кланялся, улыбался, руки его уже были полны, а к ногам его все летели цветы, какие-то женщины прорвались на сцену, совали ему цветы, вдруг кто-то обнял его за шею и поцеловал в щеку; обернувшись, он успел увидеть хорошенькую, смеющуюся молодую женщину, но ее тут же оттеснили, Алимардана стали обнимать и целовать со всех сторон: тогда он счел за лучшее, кое-как отбившись от поклонниц, сбежать за кулисы.

Он нарочно долго просидел в гримировочной, стирая с лица тон, чтобы зрители, ожидавшие его у выхода из театра, разошлись.

Когда он, наконец, собрался, окончилось и второе, более короткое отделение концерта, в театре уже никого не было. Убедившись, что и у входа его никто не ждет, Алимардан прошел в садик за театром, завел мотор своей «Волги».

Просто счастье, что давно, когда ему шел семнадцатый год, он случайно научился водить машину. Правда, это было связано с не очень приятными событиями его жизни, но о них никто не знал; зато сейчас, купив «Волгу», Алимардан за месяц получил права.

Тогда они с матерью поехали летом к дяде, и по его просьбе председатель поставил их сторожить колхозный виноградник. Мать сторожила днем, Алимардан ночью. Спустя какое-то время, когда виноград уже созрел, в шалаш к Алимардану пришел дядя и велел нарезать хороших кистей винограда и погрузить в машину, которая стоит на дороге. Алимардан хотел было что-то возразить, но дядя сказал: «Ты со мной не спорь, так будет лучше. Если сделаешь все хорошо, я тебя научу водить машину и куплю велосипед». Дядя зажег фонарик, они взяли корзину и пошли на плантацию. Нарезав несколько корзинок первосортного винограда, дядя уехал. С той поры так и повелось: днем Алимардан сидел за рулем дядино «газика», а ночью помогал ему срезать виноград. К концу лета он прилично на-

учился водить машинну, а дядя, сдержав обещание, купил ему хороший велосипед.

Следующим летом все началось сначала, но вскоре дядя попался. Алимардан, услышав об этом, быстро уехал домой, его не разыскивали, а дяде дали десять лет. Алимардан не очень сожалел о нем.

Свою «Волгу» Алимардан полюбил самозабвенно, пожалуй, больше, чем когда-то Мукаддам. Ездил он лихо, щегольски, почти всегда на больших скоростях, раза два у него было неприятности с милицией, но, узнав, что он Алимардан Тураев, его, пожуриив, отпускали. Артисты — баловни народа. Привыкнув к тому, что ему «все дозволено», Алимардан уже считал это за должное.

2

Анвар пришел в Бустан, чтобы попрощаться с прошлым. За год кишлак сильно изменился: прибавилось асфальту, поднялись новые многоэтажные дома, поубавилось садов. Воздух теперь тут был почти такой же, как в городе: не вздохнешь полной грудью. Не было уже и домика, в котором когда-то они жили летом, исчезла ореховая роща. Теперь на этом месте стоял пятиэтажный дом.

Ушло, стерто с лица земли его прошлое, и вот сейчас ему предстояло проститься еще с одним кусочком юности.

Мать все-таки настояла на своем, познакомила Анвара с Этибор. Вопреки его ожиданиям Этибор оказалась довольно красивой серьезной девушкой, работавшей в ядерном институте. Они понравились друг другу и решили пожениться. Скоро должна была быть свадьба. Этибор, кажется, даже полюбила своего будущего мужа, Анвару же было просто все равно...

В грустных воспоминаниях Анвар подошел к дому Алимардана. Он уже слышал, что Тураев отгрохал новый дом, но такой роскоши он себе все-таки не представлял. Из прочного жженого кирпича, огромный, с мезонином, под железной крышей, с железными решетками на окнах. Ворота тоже были новые, покрытые ажурной резьбой, вверху горела лампочка.

Сердце Анвара заколотилось испуганно и тоскливо: сейчас он увидит Мукаддам. Он постучался, постучал

еще раз, потом увидел беленькую кнопку звонка и смущенно нажал ее.

Послышался звук шаркающих по дорожке галош, затем женский голос:

— Кто там? Мардан-ака, это вы?..

Надо, наверное, было повернуться и уйти: он не выдержит встречи с этой женщиной. Что-то произойдет — либо стыдное, унижительное для него, либо унижительное для них обоих. Он понял, что все еще любит ее. Любит, но ничего не простил.

Маленькая калитка в воротах отворилась. Мукаддам выглянула и вдруг ахнула, выронив из рук полотенце. Она была в цветастом халате, в галошах на босу ногу, простоволосой. Прошла длинная пауза, потом Мукаддам сказала:

— Проходите!— и распахнула калитку.

Анвар молчал, горестно разглядывая ее: как она постарела!.. Он даже не мог понять, что с ней произошло — это была другая женщина, с другим лицом, с потухшими маленькими глазами. Вдруг взгляд его упал на живот, остро приподнявший халат.

«Она беременна!..» — По нему словно бы прошло какое-то странное облегчение. Спадали какие-то путы с сердца, рассеивалось, таяло наваждение. Перешагнув порог, он прошел в дом следом за женщиной, чувствуя в себе легкость и свободу.

— Алимардан дома? — спросил он, зайдя на веранду.

— Нет, на концерте.

Мукаддам продолжала разглядывать Анвара, потом улынулась. Улыбка была взрослая, понимающая, усталая — улыбка старшей сестры.

— Я пришел вас пригласить на свадьбу. Приходите в субботу.

На секунду по лицу Мукаддам прошла тень недоумения и печали. Потом она снова улынулась:

— Я поздравляю вас. Я передам Алимардану.

Анвар, попрощавшись, быстро пошел к калитке, ощущая на своей спине грустный взгляд Мукаддам.

«Она беременна...» — прошептал он, выйдя за ворота, и освобожденно засмеялся: нашлось, слава богу, слабодье для его раненого сердца.

Пошел дождь. Анвар спустился к реке, постоял на бревнышке, соединяющем берега, вспоминая, как прош-

лой осенью они тут сидели с Мукаддам. Но в воспоминаниях больше не было боли.

Река текла мимо, шуршали камыши, белели вверху огромные ветви тала.

3

Въехав во двор, Алимардан остановил машину на цементной площадке, взял шланг и стал смывать грязь.

Дождь разошелся, Алимардан чувствовал, что его пробирает до костей, но упрямо решил довести дело до конца.

— Вам вынести пальто?— услышал он голос жены и раздраженно обернулся.

Мукаддам выглядывала из раскрытого окна, лицо ее было озабоченным и расстроенным.

— Не нужно!— Алимардан нарочно прижал кончик шланга, вода, окатив машину, брызнула и в сторону окна. Мукаддам обиженно отошла.

Поставив машину в гараж, Алимардан принял ванну, потом, надев теплую пижаму, прошел к себе, открыл крышку рояля, пробежался по клавишам. Оглядел комнату.

Он все еще никак не мог привыкнуть к роскоши, которая его окружала: дорогие ковры на полу и по стенам, картины в золоченных рамах, хрустальная люстра, концертный рояль. Ложась спать и просыпаясь, он каждый раз недоуменно и счастливо обводил взглядом все вокруг: с ним ли это происходит? Тот ли это мальчик, который испуганно кричал когда-то: «Карабай идет!..»— и пытался поднять из грязи теплые лепешки, живет в этой роскоши? Жаль, мама не дожидается!..— с горечью в который раз подумал Алимардан, взглянув на портрет, висящий над кроватью.

Вошла Мукаддам.

— В чем дело?

— Приходил ваш друг.

— Кто?— Алимардан недовольно поднял брови.

Мукаддам помолчала, потом совсем тихо произнесла:

— Анвар.

— Вот как?— глаза Алимардана сверкнули гневом.— Что же ему понадобилось.

— У него свадьба,— Мукаддам смотрела куда-то в глубь себя.— В субботу...

— А мне-то что?— Алимардан снова склонился над роyleм.— Пусть... Когда он приходил?— спросил он погоды.

— Недавно.

— Специально выбрал время, пока меня нет,— сказал Алимардан язвительно и вдруг почувствовал на лбу шершавую руку жены. Она ласково погладила его по лбу, потом стала перебирать длинные волосы на затылке. Плечом он упирался в ее твердый живот.

— Вы все ревнуете?— ласково прошептала Мукаддам.— Я же люблю только вас... Вы ведь знаете... Будьте спокойны... И пойдите к нему на свадьбу, он просил. Надо помириться, он же друг вашего детства...

Алимардан раздраженно высвободился и оттолкнул жену.

— Не трись около меня, оставь нежности! Никто тебя не ревнует, чего не хватало! Посмотри на себя в зеркало!..

Мукаддам резко выпрямилась, из глаз у нее потекли слезы.

— Почему вы все время грубите? Что я вам сделала? Вы забыли, что я такой стала из-за вас, из-за вашего ребенка!

Алимардан захохотал, видя, что жену трясет от гнева.

— Вот как? Я и забыл, ты ведь была красоткой!— выкрикнул он между приступами смеха.— Так ты, выходит, в гости позвала своего Анвара? Попрощаться? Вспомнить былые денечки?

— Да!— крикнула Мукаддам, стирая злые слезы.— Пригласила!

— Попрощались?

— Попрощались!

— Слезки, наверное, лили? Разлучаетесь ведь. Ты ведь любила его когда-то, соскучилась, небось!..

— Хватит!— крикнула Мукаддам, едва сдерживаясь, чтобы не запустить в голову мужу хрустальной вазой.— Не сравнивайте всех с собой!— и через паузу, трясаясь от ненависти, прошептала:— Если бы вы знали, как я ненавижу вас! Как я вас ненавижу!..

Алимардан вдруг замер. До такого его кроткая жена еще не доходила. Минуту он молчал, решая, ударить ли ее, чтобы было не повадно, или же сделать вид, что ничего не случилось. Потом сказал:

— Ладно. Пойду на свадьбу твоего разлюбезного, одолжу!.. И чтобы ты успокоилась.

Мукаддам отвернулась.

— Да не ходите! Кто там в вас нуждается!.. Пригласил из вежливости.

— Вот поэтому и пойду. Непременно!..

Мукаддам вышла и захлопнула за собой дверь. Алимардан что-то еще сказал ей вслед, но она уже не слышала.

Выйдя на веранду, она прижалась лбом к холодному стеклу, стала глядеть на моросящий монотонный дождь. С орешины во дворе уже облетели почти все листья, оставшиеся покачивались, сверкая в свете уличного фонаря.

Выходит, все было бесполезно: ее заботы, ее долготерпение, ее желание как-то все смягчить, чтобы сохранить семью. Семья... Какая уж тут семья!.. Словно прожила год в прислугах.

Но что было делать? Домой вернуться невозможно — это позор, неслыханное дело, отец ее на порог не пустит. «Капризы все! Ты по своей воле шла? Он тебя бьет?..» Не бьет, сыта, одета... Богатый дом — полная чаша. Чужое все... Но не объяснишь. Ладно, надо жить дальше. Но вот слез ее он больше не увидит. Распустила она себя последнее время, не просыхает...

Рано утром Мукаддам пошла на базар. Ранний базар — всегда хороший. Утро было ясным и прохладным, но чувствовалось, что день будет жаркий.

В воздухе тяжело плыл дым, пахло горелым бараньим салом, на длинных жаровнях лежали палочки с наанизанной бараниной и луком, готовился шашлык. Торговцы самсой стояли рядом со своими плетеными корзинами, орали:

— Самса! Свежая самса!..

Старухи с ведрами, полными айрана, сидели на корточках возле забора и тоже кричали, расхваливали свой товар, что-то кричал сидевший рядом старик, торговавший насваем — табаком, который кладут под язык; бегали, орали ребятишки, державшие в руках стопки бумажных пакетов:

— Пакеты! А вот пакеты! По три копейки! Есть и по пять!

От шума и гама дрожало небо. Мукаддам улыбалась, глядя по сторонам. Теперь, когда она столько времени проводила в одиночестве, ей было приятно ви-

деть вокруг людей, шум, что-то спрашивать, что-то остроумно отвечать. Когда-то они с Лабар много времени проводили на рынке, сбегая иногда с уроков. Ей было сейчас приятно вспомнить то далекое время, вспомнить себя прежнюю: озорную, смелую, за словом в карман не лезущую...

Она дернула за плечо девочку лет десяти, которая сновала среди хозяек, идущих на рынок, трясая пакетами, зажатыми в смуглом маленьком кулачке. Девочка повернула круглое чернобровое лицо, в ушах у нее были точно такие же бирюзовые капельки, как у Мукаддам.

— Чего вам?

— Дай пакет, — Мукаддам достала кошелек.

— Какой?

— Да хоть этот! — она взяла у нее первый попавшийся пакет, протянула пятак.

— Сейчас сдачу дам! — девочка полезла в карман платица, подала две копейки.

— Не надо! — Мукаддам улыбнулась.

— Возьмите. Может, позвоните кому! — девочка тоже улыбнулась и побежала дальше.

Мукаддам вздохнула, поглядев ей вслед. Отец Лабар умер от туберкулеза, мать, чтобы подработать к низкой зарплате, шивала на машинке бумажные пакеты, а подружки продавали их на базаре. К обеду они покупали себе по лепешке с тмином, стоявшие по сорок копеек, и по стакану газированной воды с сиропом. Остальные деньги отдавали матери Лабар, после шли в школу — они учились во вторую смену. Впрочем, иногда и прогуливали... Мукаддам сглотнула голодную слюну, вспомнив, какими вкусными казались ей тогда эти пышные теплые лепешки: она ушла, не позавтракав, и сейчас ее немного мутило от голода. Она подошла к мужчине с большой алюминиевой кастрюлей, купила две манты и съела, выпив с бумажки пролившийся вкусный луково-мясной соус.

Потом она пошла в ряды, где торговали картошкой. Дорогу ей преградила толпа собравшихся в круг людей, те, что были в центре круга, что-то кричали, смеялись, хлопали в ладоши. Из самой гущи людей вдруг выдрался мальчишка в рваной майке, он держал довольно крупного бойцового петуха. Петух был в крови, тяжело сопел.

— Проиграл петух, а он сам лезет драться!

— Врезали ему, так и надо!— раздался вслед злобные крики, мальчишка ничего не сказал, хлопнул носом и побежал прочь.

Мукаддам невольно улыбнулась: все-таки мужчины — большие дети. Разве стали бы женщины, собравшись такой большой толпой, смотреть, как дерутся... два петуха!.. Смешно. Дети... Она вспомнила вчерашнюю ссору с Алимарданом и вздохнула. Злые дети...

Купив картошки, она пошла дальше во фруктовые ряды. Навалом лежали груды синего, розового, черного, белого винограда, стояли тазы с белым инжиром, горы гранатов. Дальше шли ряды, где торговали яблоками, грушами, орехами, сушеными фруктами. Сидели торгаши, которые не хотели уступать против запрашиваемого, потому что разница между той ценой, по которой они где-то покупали фрукты и по которой продавали здесь, шла им — это был их заработок. Сидели дехкане, торопившиеся продать свой товар, ничего, кроме тяжелого труда, им не стоивший, — торопились, потому что уже начался сбор хлопка, началась великая страда Узбекистана, когда все от мала до велика от света и до темноты пропадают на хлопковых полях.

Мукаддам купила у дехканнина в зеленом халате два килограмма кишмиша — винограда без косточек, потом, поднявшись по лестнице, вышла в узкую улочку. Здесь стояло много двухколесных бричек, кричали ослы, ржали лошади. Мукаддам поднялась выше: тут торговали мясом.

Ее остановил парнишка лет четырнадцати в белой нейлоновой рубашке, на смуглой руке блестели золотые часы. Он держал хозяйственную сумку.

— Вот, апа!— парнишка вытащил большой кусок мяса.— Парная баранина! Как раз для плова!..

— Сколько?

— Для вас дешево! Пять рублей килограмм.— Парнишка нахально посмотрел на Мукаддам и опять повертел перед ее носом кусок мяса.— Как раз для плова! А?

— А в каком классе учишься?

— Какое ваше дело? Нужно мясо — берите, не нужно — идите своей дорогой! Тоже мне, прокурор!

— Скоро академиком станешь,— съязвила Мукаддам.— Хорошую школу кончаешь!

— Я уже академик!...— парнишка отвернулся от нее и скрылся в толпе. Издали Мукаддам долго слышала

его звонкий голос: «Свежее мясо, свежее мясо! Для плова!..»

«Стоит ли рожать сына, если потом посылать его спекулировать?.. А может, родители и не знают, думают, что он в это время в школе?..» У нее защемило сердце, когда она представила, сколько всяких опасностей поджидает ее будущего малыша. «Уберегу!— подумала она.— За каждым шагом следить буду, только бы родился здоровеньким!..» Теперь, став совсем одинокой, она хотела ребенка. Лежа вечерами, думала о нем, представляла себя с ним и как им вдвоем будет весело и хорошо, будет, наконец, на кого излить неизрасходованную накопившуюся нежность.

Пройдя дальше по улочке, она купила у старух, сидевших на земле, несколько штук казы — конской жирной кобасы: Алимардан любил плов из нее даже больше, чем из баранины. Потом, продираясь сквозь толпу, вышла на площадь перед базаром, остановилась в тени у палатки рядом с молодой женщиной, кормившей ребенка грудью и обтиравшей с мокрого лица краем пеленки пот. Купив самсу с луком, женщина стала жадно есть. «И я так буду,— подумала Мукаддам,— когда рожу... Маленького оставить не с кем, мама живет далеко, свекрови нет...» Она подозвала мальчика, торговавшего айраном и с наслаждением выпила кружку. Айран был холодный и в меру кислый, ей сразу стало легче.

Солнце поднялось уже высоко, было жарко.

Пока она добралась до дому, наступил полдень. Отдохнув, она убралась в доме, наскоро перекусила и стала готовить. Нарезав желтую морковь соломкой, она начала варить плов. Где-то, часа через два, должен был прийти после концерта Алимардан. Но плов сварился, а Алимардана все не было. Мукаддам поужинала одна и легла спать.

4

Сегодня Алимардан пел во втором отделении. После концерта он, как это теперь у него повелось, зашел в буфет, выпил коньяку. В благостном расположении духа спустился вниз, чтобы ехать домой. В вестибюле уже никого не было, только возле гардероба стояла какая-то женщина. Проходя, Алимардан мельком взглянул на нее, женщина в это время пыталась достать с верхней полки вешалки косынку от плаща-болоньи.

Увидев, что Алимардан смотрит на нее, она снова подпрыгнула и беспомощно развела руками, смущенно улыбунулась.

— Вам достать?— любезно спросил Алимардан.

— Если можно...— женщина усмехнулась.— Ростом вот не вышла...

Алимардан достал косынку, снял с вешалки плащ и подал женщине. Надевая, она то ли нечаянно, то ли нарочно откачнулась назад и прижалась к нему спиной. Тогда Алимардан, словно бы случайно, задержал ладони на ее плечах, женщина не противилась, наоборот, обернулась и улыбунулась ему. Лицо ее показалось ему знакомым, однако он никак не мог вспомнить, где он совсем недавно ее видел. Женщина была молодой, прехорошенькой, и у Алимардана весело застучало сердце — совсем так, как год назад, когда он был еще неженатым и свободным.

— Вас подвезти?— спросил он.— Вы одна-одинешенька, а уже поздно.

— Если вам по пути...— женщина пожала плечами и снова улыбунулась, подняв лицо.

Небо было чистым, дул слабый прохладный ветер, у самой верхушки телевизионной вышки, точно детский цветной шарик, повисла луна.

Алимардан завел машину и, выехав к подъезду театра, открыл дверцу.

— Садитесь.

Шурша плащом, женщина села рядом.

— Я где-то вас видел...— сказал Алимардан, не отрывая взгляда от дороги.

— Неужели?— насмешливо спросила женщина.— А я думала, вы, кроме себя, никого не замечаете...— Через паузу она добавила:— Может быть, вчера на концерте?

— Конечно!— ахнул Алимардан.— А я все вспоминал...

Это она поцеловала его вчера первая в щеку... Чуть не пропустив поворот, Алимардан резко крутанул руль, и женщина, потеряв равновесие, ударилась об него. И осталась так сидеть, прижавшись к его плечу, Алимардан ощущал тепло ее гибкого тела сквозь плащ.

— Как вас зовут?— спросил он погодя.

— Клара.

Было уже поздно, на шоссе, кроме поливальных машин и милиционеров на мотоциклах, никого не было.

Коралловыми шарами летели навстречу фонари. Проехав Хадру, Алимардан вспомнил, что он не спросил, куда надо ехать его спутнице.

— Я совсем забыл... Вас куда отвезти, Клара-хон?

— На Чиланзар.

— Ого, нам по пути!

— Конечно. Я знаю об этом.

Алимардан взглянул на нее краем глаза.

— Вот как? Откуда же?..

— Да разве сыщется такой, кто не знал бы вас!—

Клара произнесла это с чувством, подняв на него огромные, сверкающие в темноте глаза. У Алимардана приятно потеплело в душе: он был слаб и тщеславен, и сколько бы ему ни говорили, что он знаменит, ему все равно было мало. Да, впрочем, редко найдется человек, который мог бы противиться сладкой отраве славы...

Когда начались пятиэтажные стандартные дома, Клара прошептала:

— Сейчас налево... Вот мой дом.

Машина остановилась. Алимардан взял протянутую мягкую ручку и, вздохнув, задержал ее в своей.

— Клара-хон... в подъезде темно. Вас проводить наверх?

— Проводите...— Клара засмеялась низким неловким смехом и, вырвав руку, вышла из машины.

Было уже прохладно, дул довольно свежий сильный ветер. Очутившись рядом, они посмотрели друг на друга, словно тайное и стыдное совершили. Алимардан почувствовал неловкость, чтобы скрыть ее, уверенно взял Клару под руку, повел в подъезд.

Поднимаясь по лестнице, Алимардан вдруг подумал: «А не ловушка ли это?», ему стало беспокойно и страшно, и женщина, шедшая рядом, показалась ненужной, нежеланной.

— У вас есть кто-нибудь дома?— спросил он нарочито веселым тоном.

— Оказывается, вы трус,— кокетливо ответила Клара и остановилась на площадке у какой-то двери. Открыв ее своим ключом, зажгла свет в передней.— Заходите? Чаю выпьем...

Алимардан прошел в комнату. Ковер на полу, широкая тахта, закрытая клетчатым пледом, трельяж с массой красивых пузырьков и коробочек. Над столом в углу висело множество портретов кинозвезд, в центре

Алимардан увидел и свой большой портрет, где он был снят в чустской тюбетейке, улыбающимся.

Ниже висела фотография Клары, прислонившейся к виску какого-то молодого мужчины с курчавыми волосами.

— А это кто?— спросил Алимардан.

Клара мельком взглянула и равнодушно ответила:

— Брат..

Она включила магнитолау, раздалась джазовая шумная музыка.

— Ну вот, отдыхайте, я поставлю чай.

— А где он сейчас, ваш брат?— «Никакая сестра не станет фотографироваться с братом в такой позе!»

— Допустим, умер.— Клара прямо взглянула на Алимардана и улыбнулась насмешливо.— Слушайте музыку, я сейчас.

Вернулась она уже в халате, внеся на маленьком подносе чайник чая, две пшалушки, рюмки и бутылку коньяку. Поставив все это на маленьком столике, Клара села на тахту рядом с Алимарданом и подняла к нему лицо. И, словно они уже много раз это делали, Алимардан уверенно обнял ее и поцеловал в губы.

Спускаясь в предутренних сумерках по темной лестнице, Алимардан чувствовал страх и неуверенность, и словно бы какая-то грязь прилипла к телу. Все-таки это была его первая измена жене..

Ему довольно долго пришлось звонить, наконец, слышалось шлепанье галош, Мукаддам открыла молча и, повернувшись, пошла к дому.

«Ноги тонкие, как у курицы!— с раздражением думал Алимардан, идя следом.— Где были мои глаза, когда я женился?»

— Вы ходили на свадьбу?— спросила вдруг Мукаддам.— Все хорошо прошло?

«На какую еще свадьбу?— недоуменно подумал Алимардан.— Проклятье, да ведь сегодня свадьба у Анвара!..»

— Да,— сказал он.— Я был на свадьбе.

Он все-таки чувствовал себя виноватым и потому был тише и даже ласковей, чем обычно.

5

Алимардана свалил его старый враг — бронхит. Проходила болезнь на этот раз в очень тяжелой форме,

и, поскольку Мукаддам плохо чувствовала себя, будучи уже на девятом месяце, врачи положили Тураева в больницу: нужен был уход. Через десять дней его выписали, однако заведующий отделением, пригласив Алимардана в кабинет, ласково, но настоятельно сказал, что работать сейчас ему нельзя, нужно еще отдохнуть и подлечиться где-нибудь у моря, чтобы окрепли связки и легкие.

— У вас здесь золотой инструмент!— сказал профессор, дотронувшись до своего горла.— Берегите его!..

Алимардан действительно чувствовал себя слабым и решил поехать в Гагры, в санаторий, куда, он знал, у них в профкоме были путевки. Однако когда, придя в театр, он услышал, что в ближайшее время намечена поездка в Японию, уезжать раздумал. Сказал администратору, что здоров и петь в субботнем концерте будет.

Зима завернула круто. Две недели уже стояли сильные морозы, трескались стволы фруктовых деревьев. Сегодня немного отпустило, но Алимардан не стал разогревать машину, поехал на работу на троллейбусе.

Выйдя на своей остановке, он пошел через сквер, ведущий к театру. Пошел, очевидно, быстрее, чем мог, потому что вдруг у него перехватило дыхание, стало сухо в горле, он остановился, тяжело дыша, прикрыв рот мохеровым шарфом.

Деревья в сквере стояли тихие, заснеженные, сверкали отсветом недалеких фонарей. В черном морозном небе нестерпимо горела маленькая круглая луна. Алимардан прошел дальше, снова остановился передохнуть и вдруг удивленно и восхищенно улыбнулся.

Из-под широкого колпака уличного фонаря конусом падал свет, и в этом косяке света сверкали, струились, текли мельчайшие снежинки. Казалось, что это не они падают вниз, а сама земля величаво плывет вверх, к небу.

«Давно я не глядел вокруг,— подумал Алимардан.— Давно. Измельчал я как-то...»

Позади него раздался звонкий смех, Алимардан обернулся. По сквернику, по колени в снегу, бежала девушка в заячьей белой шубке, беленькой шапочке, надетой набекрень на черных волосах. Лицо ее, попавшее в полосу света от фонаря, показалось Алимардану юным и прекрасным. Следом за девушкой выскочил

парнишка и, вытряхнув на бегу пальцами из ботинок снег, схватил снежок и догнал девушку. Прижав снежок к ее лбу, он спросил, улыбаясь:

— Ну, что с тобой делать?— в глазах паренька светилась нежность.— Ну-ка, скажи, что мне с тобой делать?

Девушка продолжала смеяться все так же звонко, с шумом переводя дыхание.

— Хватит!— она умоляюще подняла руки к лицу.— Хватит, Марат-ака, я сдаюсь!

Парень отбросил снежок и, обернувшись, увидел Алимардана. Лицо у него сразу стало серьезным. Молча взяв девушку под руку, он повел ее прочь, скоро они растворились в темноте.

Алимардан долго смотрел вслед влюбленным. Ему стало грустно и жаль, что вот никогда он так не гулял и теперь уже не будет гулять. Что-то чистое, высокое и прекрасное прошло в жизни мимо него. Почему?.. Кто знает. Так уж получилось...

Он вышел к театру. Портал был ярко освещен, но перед кассой народу было маловато.

Пройдя артистический вход, Алимардан поднялся к себе в уборную, начал быстро гримироваться.

Зал снова щедро отозвался аплодисментами, когда ведущая произнесла его имя, но почему-то в этот раз у Алимардана было беспокойно на душе. Подняв свой тар, он вышел на сцену, поклонился и начал петь. Где-то на середине второй песни он вдруг со страхом почувствовал, что не хватает дыхания, пересохло в горле. С трудом добредя до конца, он вытер пот, передохнул и, виновато улыбнувшись, начал третью песню. Пел и слышал, как в зале люди удивленно переговариваются, вскоре зал, уже не слушая его, недоуменно приглушенно рокотал.

Закончив песню, Алимардан ушел за кулисы, ему вяло и в общем недоброжелательно похлопали.

Ведущая, вопросительно взглянув на него, шепотом спросила:

— Что с вами, Алимардан-ака? Что объявить?

— Объявляйте кого-нибудь еще,— сказал Алимардан с нарочитой веселостью.— Другим ведь тоже хочется показать себя.

Ведущая подняла понимающе брови, подошла к микрофону:

— Выступает Мутал Кадыров!..

Алимардан хотел было уже уходить, но остановился: зал отозвался вдруг такой бурей аплодисментов, какой встречал когда-то его, в его лучшие времена. Алимардан отстранился, давая пройти на сцену высокому, тонкому в талии парню с вьющимися волосами и большими добрыми глазами.

«Мутал Кадыров?— подумал Алимардан.— Кто же это такой?.. Ах да, впрочем, слышал... Он этой осенью окончил Ленинградскую консерваторию...» Постоял, послушал. Голос Кадырова был другого тембра, чем у него, но очень приятный, нежный, и диапазон голоса, казалось, был необъятным. Песня кончилась, зал взревел от восторга. Алимардан, прикусив губу, пошел наверх.

Дорогой он зашел в кабинет художественного руководителя. Зуфар Хадиевич, сияя золотыми зубами, поднялся навстречу.

— Проходите, дорогой!— он долго тряс его руку.— Садитесь. Вы уже совсем выздоровели?

— Да, конечно... Пустяки.— Алимардан не стал садиться.— Зуфар Хадиевич, я зашел узнать, когда мы едем в Японию?..

— Видите ли, дорогой,— художественный руководитель, опустившись в кресло, стал перебирать какие-то бумаги, лежащие перед ним.— Вы ездили этим летом по Прибалтике, по разным другим республикам... Я включил в японские гастроли Мутала Кадырова.

У Алимардана на некоторое время словно бы отнялся язык.

— Вот как?..— только и нашелся сказать он.

— Надо давать дорогу молодым,— успокаивающе и назидательно сказал Зуфар Хадиевич.

Алимардан повернулся и вышел из кабинета.

«А я уже не молодой?— билось у него в мозгу, когда он почти бегом шагал по лестнице.— Меня уже на свалку, а этого ублюдка в Японию? Ну, ничего, вы еще обо мне вспомните!.. Вы еще на пузе, дорогой художественный руководитель, приползете ко мне!.. Его душила обида.

Было еще не так поздно, когда он вернулся домой, но лампочка над воротами не горела, окна тоже были темны. Он долго и тщетно жал кнопку звонка.

«Что там, подошли, что ли?»— зло выругался он, продолжая жать кнопку. Ответом ему было молчание. Тогда он недоуменно пожал плечами, вспомнил, что ес-

ли Мукаддам куда-то уходила, то клала ключи в нишу под воротами. Алимардан стал ощупывать нишу — ключи были там.

Недоумевая по-прежнему, он вошел в дом, огляделся. В комнате царил какой-то странный хаос, на столе валялся листок бумаги с паспех нацарапанными буквами. Алимардан взял листок: «Меня отправили в седьмую. Мукад...»

Он постоял, пытаясь сообразить, в чем все-таки дело, потом в его голове молнией сверкнула мысль: «Да ведь ее увезли в седьмой роддом!..»

Выводя из гаража машину, он шептал: «Седьмой... Седьмой? Где же он находится?.. И, наконец, вспомнил: «На Чиланзаре!..»

Была уже полночь, но подъезд роддома ярко светился. Алимардан вошел, прочитал список, приклеенный к окошку дежурки, фамилии Тураевой там не было. Тогда он постучал по окну. Окно открылось, выглянула пожилая полная женщина, спросила несердито:

— Что тебе, сынок?

— Как с Тураевой дела, узнайте!

Окошко захлопнулось. Алимардан ждал, переминаясь с ноги на ногу: в подъезде было прохладно, а он поехал как был в лаковых концертных туфлях. Где-то недалеко звенел трамвай, гудели, отзываясь колесам, стальные рельсы.

Наконец в дежурке послышались шаги, окошко распахнулось.

— Сын! — сказала женщина, светясь от радости. — Поздравляю вас, у вас сын! Только что разрешилась. Роженица лежит в шестой палате...

Алимардан почувствовал, как у него все задрожало внутри и глаза наливаются слезами.

Домой он несся на предельной скорости, ничего не видя и не слыша.

— Я назову его Шавкатом! — бормотал он. — Пусть сын будет мне памятью о днях моей славы!..

6

В роддом к Мукаддам приходили все: мать, отец, Лабар, только Алимардан не показывался. Правда, на третий день, когда ей разрешили подниматься, он прислал посылку с фруктами и сладостями, пришел сам. Му-

каддам подошла к окну, Алимардан стоял посреди двора, улыбался, тряс в воздухе папахой. Женщины, лежавшие с ней в палате, узнали его, узнали, что она жена Тураева. Ей завидовали, просили непременно познакомиться, когда он приедет. Однако с тех пор Алимардан не показывался. Анзират-хола сказала, что зять уехал ненадолго на гастроли в Таджикистан. Дело есть дело, но Мукаддам все-таки было грустно. Видно, она ждала где-то в глубине души, что в их семейной жизни с рождением сына что-то изменится хотя бы немного, что-то наладится...

Стоя у окна в коридоре, Мукаддам думала об этом, и было ей нехорошо.

За окном сияло солнце, сверкал снег, ребятишки катились с горки, весело пищали, сквозь двойные рамы доносились их крики и смех.

Маленькая девочка в пестром шарфике усадила на санки еще меньшего, лет четырех, мальчика, толкнула с горки. Но сани поехали криво, перевернулись, мальчик упал в сугроб, кое-как поднялся и заревел, смешно скривив губы.

Девочка сбежала вниз, быстро лопоча что-то, стала отряхивать братика, утирать ему нос концом шарфа, уговаривать. Малыш перестал плакать, они вместе снова полезли на горку. На этот раз девочка села сама, посадила братца впереди и, ловко управляя ногами, успешно съехала с горы.

Мукаддам улыбнулась. Через несколько лет и ее Шавкат станет таким. Но, господи, как долго ждать!..

Подходило время кормления, сестры развозили по палатам младенцев, уложенных на колясочку рядами по несколько штук, как батоны в булочной. Мукаддам тоже прошла в палату, легла, ожидая, пока ей привезут сына. Надо было немножко отдохнуть: сегодня ее выписывали, и после обеда за ней должны были приехать родители.

Еще издали, в коридоре, она услышала плач Шавката, улыбнулась с нежностью, развязала тесемки рубахи на груди. Молоденькая сестра принесла ей туго запеленатую куколку: тонкие бровки были треугольником трагично подняты вверх, глаза плотно зажмурены, беззубый ротик был широко разинут в крике. Мукаддам приняла сына, положила удобно, сунула в рот сосок. Захлебнувшись молоком, Шавкат сразу замолчал, за-

чмокал, только черные бровки были все еще недовольно сдвинуты.

«Не угодишь на вас!— с нежностью подумала Мукаддам.— Эх ты, Тураев!..»

После обеда санитарка принесла Мукаддам одежду, она оделась, попрощалась с роженицами и пошла к выходу, чувствуя, как слабо подкашиваются ноги. Сестра сзади несла младенца. Было Мукаддам грустно и тоскливо: всех ее соседок по палате встречали мужа, нетерпеливо топтались во дворе, пока жены одевались, кричали что-то, бросали снежками в окно. Остающиеся женщины смотрели на них, обсуждая, чей муж красивее и у кого слишком стар, а у кого слишком молод... Ее вот не встречал никто, даже мама, кажется, не пришла, во всяком случае, сестра ей ничего не сказала об этом. Как они с Шавкатом будут добираться до дому, если их никто не встретит?

В приемной никого не было. Мукаддам надела шубу, повязала платок, взяла из рук сестры младенца и, поклонившись, вышла на улицу.

У подъезда стояла знакомая бирюзовая «Волга». Алимардан сидел, облокотившись на руль, дымил сигаретой.

От радости у Мукаддам совсем ослабели ноги, она чуть не упала, негромко крикнула:

— Мардан-ака!

И остановилась. Услышав голос Мукаддам, Алимардан резко обернулся, выскочил из машины и, отбросив сигарету, подбежал к ней.

— Дай мне его,— сказал он нетерпеливо и протянул руки.

Мукаддам осторожно положила ему завернутого в два одеяла — байковое и ватное — сына, Алимардан, неловко прижав его к себе, попросил:

— Открой.

Мукаддам приподняла край одеяла. Шавкат крепко зажмурил глаза оттого, что в лицо ему ударил солнечный свет, заворочался и закричал.

— Он на меня похож...— с удивленной и глуповатой улыбкой проговорил Алимардан и взглянул на Мукаддам.— Смотри. Правда?

Мукаддам улыбнулась, чувствуя, как растаяло что-то в сердце:

— Вылитый вы!.. Поехали, а то еще застудим...

Она забрала младенца, они сели в машину и поеха-

ли. Алимардан, прижимаясь к ней плечом, то и дело поглядывал на сверток в ее руках и улыбался. Сейчас им обоим казалось, что все забыто, что все сначала, что они самые счастливые люди на свете...

Глава четвертая

Должно быть, слово «судьба» люди выдумали, чтобы утешаться, когда оказываешься в беде. Чтобы сокрушенно разводило руками: «Уж ничего не напишешь, такая судьба!..» И забывают, что в семидесяти случаях из ста творцом такой своей «судьбы» оказывается сам человек...

Алимардан также лепил свою судьбу, не задумываясь об этом.

В один из дней ранней весны он не пошел на концерт: его друг, заведующий большим мебельным магазином, выдавал дочь замуж и умолил прийти на свадьбу. Алимардан поколебался и согласился. «Пусть-ка проведут концерт без меня!— подумал он.— Посмотрим!»

Приехав на следующий день на репетицию, он встретил у подъезда театра Зуфара Хадиевича. Тот был в одном костюме, по-весеннему.

«Сейчас начнет пилить!— капризно подумал Алимардан.— Черт возьми, надоело мне это!..»

Он уже раскрыл было рот, чтобы сообщить о том, что вчера сильно заболел и не мог прийти, но Зуфар Хадиевич, радушно протянув руку, спросил, кивнув на «Волгу»:

— Что твой конь? Бегает?

— Как зверь!— радостно отозвался Алимардан.

— Тогда поехали, прокатимся...— Зуфар Хадиевич без приглашения открыл дверцу машины и бросил плащ на сиденье.— Весна, дорогой... Душит меня в городе весной тоска, хочу в степь. Какое солнце, погляди только!.. Почки набухли везде...

— Да, набухли...— недоуменно согласился Алимардан.— А куда поедем?

— В степь Захарыка...— проговорил Зуфар Хадиевич, вставляя в мундштук сигарету.— Давно я там не был...

Алимардан быстро вел машину, ожидая, что вот сейчас-то художественный руководитель и начнет проборку, но тот молчал, сладко шурился от бьющего в глаза солнца и курил.

Когда они выехали за город, Алимардан, опустив боковое стекло, кивнул спутнику:

— Опустите. Вкусный воздух...

Зуфар Хадиевич улыбнулся, согласно кивнул и тоже опустил свое стекло. Весенний ветер теперь ходил по машине, вырывая руль у Алимардана, но тот еще ожесточеннее жал на педали, испытывая наслаждение от противоборства стихии.

Свернув с дороги, они поехали целиной и остановились на вершине холма, километрах в пяти от шоссе. Вышли.

Сладко пахло весенней талой водой, проснувшейся землей, нежными, проклюнувшимися сквозь старый дерн иголочками молодой травы. Капельками солнца сверкали по всему склону цветочки мать-и-мачехи.

Чувствуя, что пьянеет, что у него кружится голова от ощущения радости бытия, Алимардан глубоко, прерывисто дышал, улыбался, глядел вокруг. Потом, распахнув руки, побежал вниз, чувствуя, как упруго подается, словно войлочная кошма, дерн под ногой, как сладко щекочет щеки и шею несущийся навстречу тугой воздух. Выбившись из сил, он упал на землю, лег на спину, глядя вверх. Небо было нежно, пастельно-голубым, таким, каким оно бывает только весной. Неподвижно распахнув крылья, парил беркут. И струился в вышине непривычно теплый весенний воздух.

Подошел Зуфар Хадиевич, бросил на землю плащ, лег молча. Так они лежали долго, глядя в небо, думая о своем. Наконец художественный руководитель спросил, щелкнув зажигалкой:

— Хорошо прошла свадьба?

Алимардан быстро покосился на него, но лицо художественного руководителя было покойным, безмятежным, благостным. Он неторопливо выпустил колечки дыма изо рта.

— Это был мой старый друг,— сказал Алимардан виновато.— Приставал, приставал, ну как откажешь?..— Через паузу он продолжил:— Я понимаю, Зуфар-ака, люди на концерт идут ради меня, а я... Нехорошо вчера получилось...

— Ты думаешь?— Зуфар Хадиевич добродушно усмехнулся.— Нет, ты ошибаешься, дорогой... Давно уже люди ходят на концерт не только ради тебя... Появились другие имена, ты пропустил это...

— Ради кого же?— чувствуя, как поднимается в нем обида, спросил Алимардан.— Интересно...

— Есть другие...— словно не услышав, продолжал художественный руководитель.— Речь не о зрителях сейчас, а о тебе. Я работаю в театре уже тридцать лет, сколько я видел за это время дарований, погибших прежде своего расцвета!.. Мне было бы жаль увидеть тебя среди них...

Алимардан, дернувшись, резко сел и тоже закурил, обиженно глядя в сторону. Нечего его хоронить раньше смерти.

— За год ты хоть одну новую песню создал?— продолжал все так же неторопливо Зуфар Хадиевич.— Нет... Тебя не удивляет, почему уменьшилось число твоих поклонников?

В общем-то в глубине души Алимардан чувствовал, что с его славой что-то происходит. Однако ему было чем себя утешить.

— Конечно,— усмехнувшись, сказал он.— Ажиотаж прошел, так всегда бывает. И вы сами это знаете, что, когда появляется новый певец, его окружают сырихи — глупые девчонки, кидающиеся на всякое новое имя, на смазливую морду. Так было со мной, теперь с Муталом Кадыровым, потом придет черед следующего.

— Верно,— согласился Зуфар Хадиевич.— Но сырихи уже давно тебя бросили. А сейчас бросает публика.

— Неправда. Меня не бросят истинные ценители искусства.

— Ты стал хуже петь,— Зуфар Хадиевич поднялся.— Ты слишком много пьешь, куришь, у тебя слабые связки... Проверь себя: ты теперь микрофон в самый рот суешь, а раньше он тебе не был нужен. Подумай об этом серьезно... За вчерашний твой проступок я должен был бы тебя прогнать из театра. Но я хочу тебе добра, поверь.

— Я не нуждаюсь ни в чьей жалости,— Алимардан тоже поднялся.— Думаю, вам тоже не придется меня больше жалеть.

Обратно они ехали молча.

С того дня Алимардан попытался взяться за создание новой песни. Листал газеты Фурката, вспоминал классические народные мелодии и те, малоизвестные, хранившиеся где-то в его абсолютной музыкальной памяти. Но, видно, одного этого было мало: что-то погасло в нем. Новые его песни походили на старые, он сам видел это

и петь их не решался. Пришло время, когда надо было не топтаться на месте, а шагнуть на ступенечку выше, перейти в новое качество, но в нем не было ни сил, ни накоплений, ни внутренней одержимости... Одних умозрительных решений было недостаточно.

«Что я трепыхаюсь, подобно курице с отрубленной головой!— подумал тогда Алимардан.— Живут десятки певцов, не лезут из кожи вон. Почему я должен?..»

И он пошел к Кларе. Для нее он по-прежнему оставался умным, красивым, талантливым. Клара его любила. Алимардан не мог это сказать про себя, но ему уже, как рюмка коньяку, необходимо было ее беззаветное обожание.

Дома у него, впрочем, тоже все наладилось. Алимардан теперь любил подолгу играть с сыном и все свободное время проводил возле его постельки, наблюдая за ним, или брал к себе на тахту и возился с малышом — это занятие ему никогда не надоедало.

Лучше стал он относиться и к Мукаддам. После родов она словно бы вновь расцвела, пополнела, в походке ее появились покой и уверенность, теперь это уже была не тоненькая нервная красавица девушка, а статная зрелая женщина в расцвете своей красоты.

Друзья-артисты, увидев на официальном банкете Мукаддам, после долго донимали Алимардана расспросами, где он откопал такую красавицу и почему это он ее прячет от глаз людских, не зовет к себе в гости. И верно, вчуже глядя на жену, Алимардан удивлялся, не понимая, что это с ней случилось, какая она стала снова: белоликая, с высоким широким лбом и черными, в одну линию бровями, с косами почти до полу, с горделивой покойной осанкой... «Шахиня!..— самодовольно усмехался он.— Знал, какую брать!.. Не то что у остальных — курицы ощипанные». Обласканная чужими взглядами, жена снова сделалась желанной и для него. Так бывает.

Однажды Алимардан, как обычно, валялся с сыном на тахте, щекотал ему пальцем животик, а тот хохотал, закатываясь, дрыгал в воздухе толстыми ручонками и ножками.

— Мукад!— хохоча вместе с сыном, кричал Алимардан,— погляди, погляди на него, как он жмет на педали! Велосипедист! Ты посмотри!..

Мукаддам, отложив мокрую тряпку, которой она чистила ковер, подошла к ним и, обняв мужа за плечи, на-

клонила к сыну. Шавкат, узнав мать, загугукал, обнажив в улыбке беззубые десны, потянулся к ней ручонками.

— Маленький ты мой,— начала ворковать Мукаддам, целуя пальчики сына.— Мой мальчик, мой красавец, мой Шавкатджан... Скажи: папа, не мучай меня, не щекочи, мне это вредно...

— А тебе?— спросил Алимардан, обняв жену и погладив ее по спине.— Тебе тоже вредно?..

Он стал, смеясь, целовать попеременно то жену, то сына, как вдруг в воротах зазвенел звонок. Мукаддам побежала открывать. За калиткой стояла Лабар, в новом пальто, в ярком индийском платке — сияющая, располневшая, как луна в зените.

— Лабар!— Мукаддам взвизгнула, словно в дни юности, и повисла на шее у подруги.— Заходи, как я рада!

— Твой муж дома? Не пойду!.. Я пришла звать тебя на свадьбу.

— Правда?— Мукаддам захлопала в ладоши.— Джахангир, да? Наконец-то!.. Как я рада за тебя!.. Халима, значит, вышла замуж? Ой, как я рада, подружка...

Она снова обхватила Лабар за шею и закружилась по каменной дорожке.

— Жаль, у Алимардана концерт сегодня, а то бы он тоже поехал и спел на твоей свадьбе!— поахала Мукаддам.— Ну, я побегу одеваться. Шавката тоже придется взять, знаешь, он так подрост!..

У дома Лабар стоял заказанный женихом автобус, гости сели в него и отправились в путь-дорогу. Свадьба должна была состояться в кишлаке Айнатак, что значит «стеклянная гора». Джахангир был оттуда родом, там жили его родители, и молодые после свадьбы должны были тоже остаться там. Уже и работа для обоих подыскалась.

Когда они подъехали к кишлаку, садилось солнце. Закатные лучи, отраженные от плоской высокой скалы красного камня, падали веером на кишлак, окрашивая его розовым сказочным светом.

«О-о, как красиво!— восхитилась Мукаддам, выглянув в окно.— Действительно Айнатак!..»

Она давно, наверное, со школьной поры, когда их на машинах вывозили в горы на маевку, не видела гор. И сейчас сидела замороженная, молча, слушая великую тишину и неподвижность гор, тишину, которую не нару-

шало ни вечернее протяжное мычание коров, ни вещание радиоточки, находившейся неподалеку.

— Как красиво!— повторяла она вслух.— Счастливая, Лабар, будешь здесь жить!..

Автобус остановился, стало слышно, как неподалеку шумит сай, летящий от снежных вершин, запахло близким снегом. Кишлак был небольшим, дома крохотными, глиняными, кривые улочки были покрыты щебнем и овечьим пометом.

Послышались звуки свадебного сурная. Лабар ухватила за руку Мукаддам, та, усмехнувшись, похлопала ее по локтю.

— Не бойся. Вон, я вижу, идут люди жениха.

Лабар еще сильнее стиснула ее руку. Парни с цветами в руках окружили автобус.

— Где невеста?— весело загалдели они.— Да отпусти же ее, Джахангир! Мы хотим ее увидеть!..

В двери автобуса сунул рыжую голову жених и, улыбнувшись, пригласил:

— Выходите, пожалуйста.

Поверх рыжих волос у него была надета черная чувствительная тубетейка, он был в черном костюме.

Поддерживаемая с одной стороны женихом, с другой — Мукаддам, Лабар степенно вышла из автобуса и пошла по улице, низко наклонив голову, лицо ее было полуприкрыто фатой.

На узкой улочке толпился народ, бегали ребятишки, играл старик на сурнае, молодой парень стучал по дойре. Из-за заборов выглядывали женщины и старухи, громко обсуждали невесту.

Мукаддам несла на одной руке спящего Шавката, другой поддерживала Лабар.

— Не споткнись!— шептала она ей.— Иди медленно, не споткнись.

Когда они вошли через маленькие ворота во двор дома Джахангира, друзья жениха запели традиционное поздравление со свадьбой «туйлар мубарак». Мать Джахангира осыпала дорогу перед сыном и будущей невесткой деньгами и сладостями. Затем еще громче и жалобнее запел сурнай.

Миновал костер, разожженный, чтобы прогнать от молодых злых духов, все трое прошли по двору между столами, за которыми уже сидели гости,— к почетному столу на терраске. Гости поднялись и стали хлопать в ладоши, пока невеста и приехавшие не уселись на места.

Лабар шла по двору, опустив голову, и так продолжала сидеть с низко опущенной головой, ничего не ела и не пила, как и требовал обычай. Мукаддам изредка предлагала ей поесть, сама же ела с аппетитом: дальняя дорога и свежий воздух располагали к тому. С гор потянуло прохладой, и Мукаддам кутала Шавката, опасаясь, как бы он не простудился.

Свадьба шла своим чередом: подавались все новые кушанья, гудела дойра, звенел рубаб, пелись песни. То и дело кто-то выходил между столами плясать, все хлопали в ладоши, кричали: «Яша!», совали ему деньги. Мукаддам смотрела на свадьбу, на черные чувстские тюбетейки, склоненные над длинными рядами столов, вспоминала свою свадьбу и то, как она, так же как Лабар, просидела целый вечер с наклоненной головой, а после у нее два дня болела шея; вспомнила Алимардана рядом с собой — красивого, серьезного. Как и требовал обычай, он не выпил ни глотка вина ни в первый, ни во второй день свадьбы. Она вдруг заскучала по нему и, приоткрыв одеялко, нежно поцеловала Шавката в лобик, проверила, не вспотел ли он.

Над горой зажглись крупные звезды. Небо было черным, прозрачным, далеким, звезды сверкали, как драгоценные камни, и белела под луной скала, врезаясь в небо.

«Сейчас автобус в город пойдет!.. — услышала Мукаддам обрывок фразы и, восторженно, потрогала за локоть Лабар.

— Я тоже поеду.

— Ты же обещала, что будешь ночевать! — обиделась Лабар. Эту ночь ей предстояло провести с женщинами, потому, конечно, ей хотелось, чтобы любимая подруга была рядом. — И мужа предупредила... Нехорошо, я от тебя этого не ожидала!

Лабар огорчилась, даже отвернулась от нее, но Мукаддам уже не могла с собой совладать. Какая-то тревога овладела ею, ей непременно хотелось попасть сегодня домой.

Потихоньку пробравшись между гостями, Мукаддам вместе с другими женщинами села в автобус — скоро он уже пробирался по горным дорогам, освещая обрывы светом фар.

Когда Мукаддам, наконец, достигла ворот своего дома, был, наверное, третий час. Лампочка над воротами не горела.

— Твой шалопай отец еще не пришел с концерта!— огорченно произнесла Мукаддам и сунула руку в нишу. Ключей там не было. Но Мукаддам вспомнила, что положила ключ в карман плаща, и, достав, открыла дверь.

Она поднялась на веранду и зажгла свет, в эту же секунду загорелся свет в окнах спальни. Дверь открылась, на пороге в нижнем белье показался Алимардан. От неожиданности Мукаддам отпрыгнула назад, едва не выронив Шавката.

— Как вы меня напугали!— сказала она.— Хорошенькое дело!..— передохнула и улыбнулась, протянула отцу Шавката.— Вот мы и вернулись... Мы очень соскучились.

Она посмотрела на лицо Алимардана и испугалась. Лицо его было белым, губы дрожали, глаза затравленно бегали. Еще не понимая, в чем дело, Мукаддам шагнула вперед — из-за плеча Алимардана увидела сидящую на их постели полуголую женщину.

— А-а-а!— закричала Мукаддам в ужасе и попятилась.— А-а-а!— продолжала она кричать, как безумная, потом повернулась и побежала прочь, прижимая к себе Шавката так сильно, что ребенок, закатившийся в плаче от испуга, начал хрипеть, задыхаясь.

Алимардан босиком бросился за ней.

— Мукад, Мукад!— звал он, не находя, что нужно еще сказать.— Мукад, не надо, успокойся! Мукад!

Он схватил ее за плечо, Мукаддам вывернулась и сильно толкнула его в грудь.

— Уходи, проклятый, нечисть немытая!— навзрыд выкрикнула она и пустилась дальше.

Алимардан, пробежав несколько шагов следом, осознал, что он в одном белье и бос, вернулся в дом.

Мукаддам бежала, прижимая к груди Шавката, пока не выбилась из сил, потом побрела медленнее, задыхаясь от слез. Вот итог всей ее жизни!.. Этот человек некогда опозорил ее, потом издевался над ней, а теперь осквернил их ложе, совершил страшный грех, введя в дом чужую распутную женщину!.. Горе, горе, горе на ее голову, почему она родилась под такой несчастливой звездой, почему, едва она начинает мечтать, что вот заживет покойно, какое-то несчастье с новой силой обрушивается на ее голову!..

Она шла, сама не зная куда, понимая только, что назад, в этот проклятый особняк, оца уже не вернется, но и вперед, в отчий дом, ей нет пути: отец не пустит ее

на порог. Успокоившийся Шавкат загугукал, заулыбался, и Мукаддам в порыве нежности покрыла поцелуями его лицо, потом двинулась дальше.

2

Весна, когда приходит ее срок, одинаково сияет для всех, и нет ей дела, что сейчас на душе у человека — горе или радость.

Облака, гонимые ветерком, плыли по голубому, светящемуся небу, отцветал урюк и персики, на крыше летней кухни, точно камни рубина, засверкали цветы полевого тюльпана, возле хауза во дворе Мукаддам зазеленела усьма. Некогда она чернила ею свои соболиные брови, хотя отец ругался и не велел сажать усьму.

Теперь усьма не нужна. Не для кого ей быть красивой. Еще хорошо, что отца нет дома: полмесяца назад он уехал к брату в Бойсун. Но со дня на день должен вернуться, и что тогда будет — Мукаддам не представляла.

Мукаддам во дворе стирала распашонки и пеленки Шавката, теплое весеннее солнце грело ей плечи, играло на пузырьках мыльной пены, горой поднявшейся в тазу, но на сердце у Мукаддам были мрак и безысходность.

Выданная дочь — отрезанный ломоть. Вместо того чтобы радоваться, что ее девочка снова дома да еще с хорошеньким черноглазым внуком, Анзират-хола стенала денно и ночью, словно гора обрушилась на ее плечи. Мукаддам все рассказала ей, объяснила, что не вернется к мужу ни за какие посулы, но разве это имело значение!.. «Приедет отец и убьет их обоих,— кричала Анзират-хола,— а сейчас они уже собирают позор от соседей, шушукающихся за своими дувалами!»

Проснувшийся Шавкат заплакал, Мукаддам, обтерев руки, побежала в комнату. Анзират-хола, согнувшись над кроватью, меняла у внука мокрую пеленку, платок сполз ей на плечи, седые волосы растрепались. Хлопоча над внуком, Анзират-хола во весь голос проклинала его отца:

— Будь проклят этот распутный парень! Чтобы он сгинул, подавившись куском! Чтобы слезы ребенка упали на его голову!

Мукаддам взяла сына из рук матери, и расстегнув платье, стала его кормить.

— Найдется и на него напасть, будь он проклят, этот муж!— бранилась Анзират-хола, перетряхивая в кровати подстилки.— Чтобы он солнечного света не увидел, чтобы кусок хлеба ему всегда был горьким!..

Мукаддам глядела на мать, на ее измученное, опухшее лицо, на седые волосы, неряшливыми прядями спадавшие на щеки, и ей было жаль ее. Но, с другой стороны, что она могла сделать? Не ее вина: терпение ее было долгим...

— Не бранись, мама... Какая от этого польза,— сказала Мукаддам и погладила потные, прилипшие ко лбу волосенки сына.

— Еще говорит, чтобы я не бранилась! Вот погоди, придет отец, он нам всем покажет!..

Собрав мокрые тряпки, Анзират-хола плюнула с сердцем и вышла во двор. Слышно было, как она шаркает галошами и охает, приговаривая: «О аллах!»

Шавкат жадно сосал, перебирая пальчиками по груди матери, изредка он скашивал на нее черный глаз и улыбался краем рта. Каждый раз сердце Мукаддам счастливо обливалося нежностью. «Кто мне нужен?— думала она.— Как-то будем жить... Только бы отец...» Приезда отца и она ждала с трепетом душевным.

Шавкат уснул, мать ушла к соседям, Мукаддам, достирав и развесив пеленки, стала подметать двор и чистить посуду. В калитку постучали.

«Это он!— у Мукаддам оборвалось сердце, она узнала стук мужа.— Не буду открывать. Зачем...»

Но, помедлив минуту, она все-таки пошла, видно, в душе ее жила надежда на ошибку, на то, что Алимардан скажет ей какие-то слова, которые перечеркнут, как страшный сон, вчерашнюю ночь.

Откинула цепочку — перед ней и точно стоял Алимардан. Лицо его было почерневшим, глаза запавшими. Вспомнив, что у нее расстегнут ворот платья, Мукаддам собрала в горсть воротник — и сама удивилась этому жесту: словно перед ней стоял чужой мужчина.

— Вот я пришел, Мукад...— сказал, наконец, Алимардан с такой нежностью и тоской в голосе, что у Му-

каддам все расплылось перед глазами от слез, подступивших к горлу. Пальцы у него дрожали, она смотрела на эти пальцы, покрытые мягкими волосками, на эти руки, протянутые к ней. Она вспомнила, как ласкали ее эти пальцы, эти руки, потом подумала, что эти руки ласкали и ту женщину...

Задохнувшись от сдавившей сердце ненависти, Мукаддам прошептала:

— Зачем вы пришли? Что вам нужно?!

— Мукад...— Алимардан улыбнулся.— Ну?.. Потопись...

Мукаддам, закусив от обиды губу, облокотилась о стену. Когда-то она каждый вечер и даже утром слышала от него эти слова: «Поторопись, родная, я соскучился!..» Но кто знает, сколько женщин с тех пор слышали от него эти же слова...

— Уходите!— с ненавистью повторила она.— Я не хочу вас видеть!..

Ей хотелось, чтобы Алимардан заплакал, встал на колени, упрасивал ее — может, она и простила бы его, где-то в ней еще жила надежда на примирение. Но в то же время она понимала, что никогда до конца не сможет простить и забыть. А Алимардан не стал умолять.

Лицо его вдруг сделалось сухим и отчужденным, он пожал плечами:

— Как хочешь... Но из-за Шавката все-таки подумай. Я буду ждать.

— Не дождетесь!— выкрикнула Мукаддам и, захлопнув калитку, заперла ее дрожащими руками на цепочку. «Мерзавец!— шептала она.— Какой подлец, отребье!.. Я буду ждать... Не жди!..»— ее душила ненависть, и глаза ее поэтому были сухими.

Прошлую ночь Мукаддам не спала, так что сегодня она легла рано, сразу как только вечером покормила Шавката, и он уснул. Задремала, но вскоре проснулась и вскочила: ей почудилось, что кто-то стоит возле постели.

— Тише,— сказала Анзират-хола.— Приехал отец...— она вздохнула и закончила дрожащим голосом:— Он все знает... Он был у твоего мужа и разговаривал с ним. Он зовет тебя...

Мукаддам молча постояла, собираясь с мыслями, слушая, как воеет за окном ветер и стучат по стеклу ветки урючины. Потом пошла вниз.

Комната, оклеенная цветастыми обоями, была полуосвещена, на курпачах, на почетном месте сидел отец, перед ним стояла хонтахта, на ней фарфоровый чайник с чаем и две пиалы. В одной был мед.

Мукаддам поздоровалась, но сама едва услышала свой голос. Отец мельком поглядел на нее из-под нависающих бровей и ничего не ответил. Лицо его было бледным и сумрачным. Мукаддам присела на корточках у двери. Вошла мать, не сводя испуганных глаз с мужа, тоже опустилась на корточки рядом с Мукаддам.

Отец молчал, опершись кулаками о край хонтахты. Анзират-хола тайком кивала Мукаддам, чтобы она заговорила первой, спросила о здоровье отца, о том, удачно ли он съездил, но Мукаддам молчала, понимая, что, как ни тягостно это ожидание первой реплики отца, если она заговорит, отец разъярится еще больше. Наконец отец прервал молчание.

— Что случилось? Почему ты здесь, а не дома?..

Мукаддам продолжала молчать, не находя, что ответить. Ведь отец уже знал все, зачем же без толку толочь воду в ступе.

Тогда торопливо заговорила мать:

— Вода в реке, помутнев от гроз, снова становится прозрачной... Завтра вы сами отвезете ее к мужу, и все забудется...

— Я не пойду к нему, мама!— прервала ее Мукаддам.— Не трудитесь напрасно...

Отец зыркнул на нее глазами, но продолжал сидеть, сгорбившись, уперев напряженные, с надутыми венами кулаки в края низенького столика.

Мать растерянно замолчала, прикрыла беззубый, проваленный рот узкой сухой ладонью и замерла так. Ветер за окнами усилился, потрескивали сучья урючины, что-то гудело под стрехой айвана. Лампочка, висящая под потолком, медленно раскачивалась из стороны в сторону, переползала и тень отца на стене.

— Я говорил с твоим мужем,— нарушил, наконец, тишину отец.— Он во всем раскаивается. Говорит, приходил тебя упрашивать, да ты его прогнала.

Перед глазами Мукаддам вдруг снова встала та ночь, молодая женщина на их постели и муж в нижнем белье, стоящий в дверях. Она хотела сказать отцу что-то резкое, но сдержалась и только опустила голову.

Заговорила мать:

— Доченька, разве сыщешь мужа, который ни разу

не побранил бы или не побил бы свою жену? Не быть же из-за этого при живом отце сиротой вашему ребенку?..

У Мукаддам подступили слезы к горлу, но она продолжала молчать.

— У нас в роду не было еще таких, которые уходили от мужей,— заговорил снова отец.— Уже по всей махалле судачат об этом... Не упрячься зря, пусть кипящий казан остается с прикрытой крышкой. Другого выхода нет.

Мукаддам молчала.

— Ты шла замуж по своей воле,— вступила мать.— Мы тебя не принуждали. Что ж ты навлекаешь позор на наши седины?..

«По своей воле!— горько подумала Мукаддам.— Конечно, по своей... Но если человек однажды сделал глупость, неужто его за это казнить всю жизнь?..»

— Он завтра приедет,— закончил отец.

Мукаддам встрепенулась:

— Кто?

— Завтра придет твой муж и заберет тебя,— повторил отец мягко, но тоном, не терпящим возражений.— Он признал, что виноват. Конь о четырех ногах — и то спотыкается.

— Я не вернусь к нему,— в тон отцу ответила Мукаддам.— Змею сколько ни выпрямляй, она все будет кривая... Я не вернусь к нему, папа.

Черные глаза отца засверкали, он резко выпрямился, вдавив кулаки в столик, крикнул:

— Пойдешь! Не пойдешь — так я сам тебя отведу!

— Не пойду!

— Пойдешь!

Кровь бросилась Кари-ата в голову, но и в Мукаддам заговорила своевольная отцовская кровь. А кроткая, робкая Анзират-хола металась, ломая руки, между мужем и дочерью.

— Не пойду!

— Не кричите так!— умоляла Анзират-хола.— Напугаете мальчика. Оставьте это. Утром... Образуется все.

— Пойдешь, сукина дочь!— кричал отец, и руки у него дрожали, а на губах выступила пена.

— Не пойду! Я ваша дочь, между прочим.— Мукаддам вскочила.

Глаза отца сверкнули огнем, ногой, одетой в ичиги, он так ударил по тахте, что столик, пролетев мимо Му-

каддам, упал возле желоба для стока воды и с треском разломался. Упала посуда.

— Уходи прочь из дому, неблагодарная тварь!..

Мукаддам шагнула к отцу.

— Я и сама уйду, не беспокойтесь!

Бросившись наверх, она схватила с кровати Шавката, завернула в одеяльце и побежала к выходу. Дорогу ей преградила мать, упав на колени и пытаясь забрать ребенка, Анзират-хола причитала, и кричала, и плакала, но Мукаддам, ничего не слыша, оттолкнула ее и выскочила.

— Не трогай ее, Анзират, пусть уходит!— ревел отец, трясаясь от ярости.— Пусть лучше пропадает, чем будет позорить наши седины!..

Мукаддам сбежала вниз по кирпичным ступеням, оглянувшись в последний раз на отчий дом и выбежала на улицу. Сразу ее волосы растрепал ветер, осушил слезы, текшие по лицу, толкнул в грудь, останавливая, задерживая. Мать догнала ее, уцепилась за платье:

— Доченька, родная, образумься, останься!— кричала она.— О горе мое, почему я дожидала до этих дней, почему не умерла раньше!..

Мукаддам бежала дальше, не помня себя, и мать вскоре отстала.

Ветер свистел в закоулках, раскачивал фонари на столбах, пятнал сырые стены дувалов тенью бегущей Мукаддам. Не заботясь о том, что ее могут услышать, молодая женщина рыдала в голос, Шавкат проснулся и тоже надрывался от крика.

Ташкент! Как и любой другой город, ты равнодушными объятиями принимаешь счастливых людей, но точно так же равнодушно распахиваешь просторы своих улиц перед человеческим горем, ты не можешь сочувствовать каждому, ибо нас много..

Окна высоких домов еще светились, и за каждым текла своя жизнь. У кого-то она была прекрасной, полной, напряженной; кто-то провожал и встречал новый день, не требуя от него ничего, радуясь, что жив еще, а кто-то так же, как Мукаддам, молил о смерти. Но на улицах только она одна сейчас неслась как безумная, позабыв все на свете, ее шаги и ее рыдания высоко отдавались в каменных стенах.

Наконец Мукаддам в изнеможении опустилась на большой валун, которым заканчивалась ведущая к ним улица. Перевела дыхание, собираясь с мыслями, попра-

вила платок на голове, укутала теплее Шавката, дала ему грудь.

Когда-то, когда она была совсем маленькой, на этом камне сидела женщина, продававшая семечки, про нее говорили, что ее муж погиб на фронте. Тогда Мукаддам «несчастье» казалось словом, которое касается только других людей, сама же она представляла себе жизнь как нечто безоблачное, светлое, дарящее одни радости.

Потом этот валун был местом, где они обычно ставались с Анваром. Бедный Анвар, сколько она принесла ему горя! Конечно, она не любила его, глупая девчонка, ничего она не понимала тогда в любви. Но он любил и был наказан за это. Почему в жизни всегда случается так, что тот, кто больше любит, тот больше и страдает, как бы в наказание за любовь? Она тоже любила и тоже была наказана...

Шавкат, насытившись, бросил сосок и агукал, улыбался, глядя черными глазенками на мать. Под одеялом буграми ходили туго запеленатые ручки, которые он пытался сейчас вытащить. Мукаддам прижалась лицом к лобку сына, облила его снова слезами, зашептала, запричитала: «Маленький мой, сладенький мой, моя кровинка, сиротиночка бедная!..»

Вдали по асфальту зазвенели чьи-то быстрые шаги, Мукаддам убрала грудь и поднялась.

— Мукад!

Мукаддам не сразу узнала Лабар, узнав, радостно вскрикнула:

— Лабар!..

— Сумасшедшая, ты что, хочешь убить свою мать!— закричала Лабар, обнимая подругу.— Ты в уме ли?

Лабар хотела забрать у нее Шавката, но Мукаддам отстранила ее.

— Не надо. Зачем ты здесь?..

— Мама тяжело заболела, я должна была приехать. Ее в больницу отвезли... Я сейчас собралась в кишлак обратно ехать, вижу, Анзират-хола как безумная мечется по улице... Вернись домой, Мукад!

— Нет!..— Мукаддам покачала головой.— Ты же знаешь, я не могу...— Внезапно одна мысль пришла ей в голову, озарив лучом надежды будущее.— Слушай, как ты думаешь, для меня в вашем кишлаке работа нашлась бы?

— А ты бы поехала к нам?— недоверчиво спросила Лабар.

— Конечно, с радостью!— выдохнула Мукаддам, еще не веря, что отыщется на земле кусочек места, где смогут теперь существовать, не завися ни от кого, она и Шавкат.

— Думаю, найдется...— медленно проговорила Лабар и вдруг загорелась:— Будешь жить пока у нас, мать Джахангира и за малышом посмотрит, она хорошая!

Внезапно хлынул дождь, асфальт на улице стал черным, у обочины заструились потоки воды.

— Пойдем к нам,— заторопилась Лабар.— Пошли быстрее, не то малыш простудится!

Мукаддам в нерешительности покачала головой.

— Не знаю...

— Ну и шляйся всю ночь под дождем!— усмехнулась Лабар.— Ладно, ладно, пошли. Нечего...

Она обхватила Мукаддам за плечи, прикрывая краем платка, подружки побежали вверх по улице.

У конца следующего дувала, бессильно прислонившись к стене, стояла Анзират-хола. Платок сполз с седых волос, по лицу текли не то слезы, не то капли дождя. Мукаддам молча постояла возле матери, потом двинулась дальше. Анзират-хола добрела до калитки дома Лабар. Мукаддам обняла ее, поцеловала в щеку.

— Не плачьте, мама,— прошептала она.— Я поеду работать в кишлак к Лабар, все будет хорошо. Не плачьте!

Мать молча кивнула, ушла в свою калитку. Мукаддам посмотрела ей вслед, утерла слезы. Она знала, что в эту дверь она не войдет уже никогда.

3

Зал и балконы были битком набиты людьми, как когда-то, в лучшие времена Тураева. Так же, как когда-то, своды театра дрожали от исступленных аплодисментов, от криков и топота ног, так же щедро летели на сцену цветы. Разница была в том, что посреди сцены стоял и пел, почти не склоняясь к микрофону, не Алимардан, а Мутал Кадыров. Алимардан же, ожидая своего выхода, стоял за кулисами и слушал. Ему был виден отсюда зал, возбужденные благодарные лица, сияющие глаза, слышно было пение Кадырова.

Пел он великолепно, и, хотя у Алимардана разрывалось сердце от ревности и зависти, он не мог не признать, что поет Мутал прекрасно. Алимардан как бы ощущал себя на месте певца, чувствовал такое знакомое ему единение с залом, когда как бы невидимые нити связывают тебя с каждым из сидящих, наполняют силой и уверенностью, колышат на крыльях вдохновения.

Кончив выступление, Мутал поклонился, прижав руку к сердцу, ушел со сцены. Зрители продолжали хлопать в такт, крича: «Му-тал, Му-тал!»

Ведущая вышла на сцену и, не дожидаясь, пока аплодисменты смолкнут, объявила:

— Выступает известный, любимый наш певец Алимардан Турев!

Аплодисменты усилились. Взяв тар, Алимардан вышел на сцену, поклонился, но аплодисменты и не думали стихать, а люди в зале стали снова выкрикивать: «Му-тал, Му-тал!..» Алимардан проглотил и это, поднял тар, намереваясь начать петь, но в ту же минуту с галерки раздались свист и шипение.

У Алимардана в горле поднялись слезы обиды, но, однако, он взял первые аккорды и запел, только голос его потонул в грохоте обидных аплодисментов, свисте и шиканье. Люди гнали его со сцены!

И Алимардан ушел.

Он бежал по коридорам театра, по ступенькам лестницы, дрожа от обиды. Так высоко вознесенный недавно, думал ли он, что будет так унижен!.. Или век певца и правда подобен веку мотылька, рождающегося с восходом солнца и умирающего с закатом, чтобы освободить место другому, который должен родиться на восходе будущего дня?..

Или это только его певческая слава уложилась в один яркий блистательный миг, в один весенний благоуханный день, и он сам виноват, что беззаботно растерял силы, необходимые на продление века, необходимые для жизни?..

Алимардан вышел в скверик и побрел, ничего и никого не видя. А вокруг цвела весна и распустились нежные первые листья на деревьях, трава в газонах, напоенная дождем, тоже буйно пошла в рост.

Только сейчас до конца Алимардан почувствовал, как он бесконечно одинок. Клара была ему не нужна, а жена и самое дорогое, что у него было на свете,— сынишка, покинули его. И он сам виноват в этом.

Теперь он готов был умолять Мукаддам вернуться, простить и забыть. И он решил сделать это.

...Сойдя с троллейбуса, Алимардан вошел в переулочек и остановился перед калиткой Мукаддам. На ветке урючины, высывающейся через забор, блестели крохотные, как бусинки, зеленые плоды, на земле стояли лужи после вчерашнего дождя, и закатное небо отражалось в них. Две девочки неподалеку играли в мячик. Одна из них, в красном платье и бархатной безрукавочке, бросала мячик о стенку и, быстро обернувшись, ловила — ее многочисленные косички с серебряными монетками, вплетенными в концы, развевались по воздуху и звенели. Вторая девочка, серьезно сложив ручки на животе, отсчитывала:

— Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...

Жизнь шла своим чередом, и то, чему радовалось когда-то одно поколение, подбирало другое, осваивало и думало, что книга бытия началась с них.

Алимардан медлил постучать в калитку. Щедро обласканный в свое время родителями Мукаддам, он в дни своей славы забыл о них и холодно принимал в своем доме. Он не думал тогда, что ему когда-нибудь могут снова понадобиться их участие и забота...

Наконец он решился и нажал на резную растрескавшуюся дверь, она подалась. Во дворе все было тихо, журча, текла вода из водопроводной трубы в цементированный квадратный хауз, а оттуда, переливаясь через край, орошала грядку с усьмой.

Алимардан перешагнул порог. Открылась дверь застекленного айвана, по ступенькам спустилась Анзират-хола и, заметив человека, вошедшего во двор, поспешила навстречу, прикрывая от закатного света рукой глаза.

— Входите!— сказала она радушно и, подойдя ближе, взглянула близорукими глазами Алимардану в лицо. И сразу же закрылась концом платка, словно перед ней стоял чужой злой человек.

— Что вам надо?— закричала она дрожащим голосом.— Зачем вы пришли сюда?

— Я...— Алимардан не находил, что сказать.— Мне... Мне сына надо...

Со ступенек айвана спустился Кари-ата, пронеся свое тучное тело по двору, он пошел на Алимардана, как танк, его волосатая грудь, видная в распахнутом ворота

летнего халата яктака, яростно вздымалась, ноздри гневно дрожали.

— Вы зачем тут?— крикнул Кари-ата.

Смирив себя, Алимардан негромко проговорил:

— Я хотел видеть Мукад...

— Какое вам до нее дело?— закричал старик, и борода его затряслась.— Чтобы продолжать мучить ее своей беспутной жизнью?..

В сердце Алимардана вдруг вспыхнула ярость:

— Где мой сын? Я заберу его у вас!

— Нет...— сказала Анзират-хола, горестно заломив руки.— Она уехала, ушла... И Шавкат с ней.

— Врете!— закричал Алимардан.— Вы не имеете права!.. Я его отец!

— Не каждый, кто плодит детей, имеет право называться отцом...— сказал Кари-ата и пошел в дом.— Уходи и не приходи сюда никогда...— добавил он.

Алимардан постоял в отчаянье посреди двора, потом медленно вышел в калитку. Он понимал, что ему сказали правду: ни Мукаддам, ни Шавката здесь не было, и адреса их ему не дадут.

4

Порой, разыскивая нужную вещь, вы наткнетесь средихлама и старья на какую-то мелочь — заржавленный ножичек или детскую тюбетейку с распоротой каемкой,— обесцвеченные воспоминания вдруг вновь обретают краски, и вы с умиленно затихшим сердцем видите, как этим ножичком вы сделали себе свисток, а тюбетейку, словно корабль, пускали по арыку. И те детские годы кажутся вам светлыми, чистыми, сладостными...

Когда Алимардан вошел во двор городского дома Аңвара, воспоминания детства нахлынули на него. Сидя в углу айвана на курпаче, он оглядывался вокруг, и все напоминало ему дни детства — те зимние вечера, когда, соскучившись в кишлаке, он приходил сюда к другу.

Набегавшись по улице, они садились к сандалу, сунув ноги под столнк, закрытый одеялом, жевали урюк и джиду, болтали. Проснувшись на заре, они доставали с перекрытый айвана глиняные касы с полузамерзшим

молоком, макали в него хлеб, уплетали с таким наслаждением и аппетитом, с каким уже давно Алимардан ничего не ел.

Здесь мало что изменилось с тех пор. Так же блестяли медные блюда в нишах, те же почерневшие перекрытия в потолке айвана, те же растрескавшиеся опоры. То же тутовое дерево посреди двора. Наверху, на балахане, висели нанизанные на нитку стручки красного перца. Только дом под балаханой изменился: его побелили, сменили разошедшиеся двери на новые, покрасили оконные рамы. В окнах висели белые тюлевые занавески — в доме появилась молодая невестка...

Из дому торопясь, проворными мелкими шажками вышла Икбол-хола. Она поставила перед Алимарданом хонтахту, принесла на подносе чайник с зеленым чаем, пиалу, наломала лепешек, подала халву.

— Как хорошо, что вы пришли, как мне приятно видеть вас в нашем доме,— говорила она ласковым голосом.— Как давно вы у нас не были!..— она протянула гостю пиалу с чаем.— Берите, дорогой, не сидите чужим...

Алимардан, приняв пиалу, испытующе взглянул на Икбол-холу: «Сказал Анвар ей, что произошло между нами?..— Но лицо Икбол-холы было безмятежно-радушным.— Нет, не сказал».

Икбол-хола тоже почти не изменилась. Такая же заботливая, радушная. Только седины в волосах прибавилось.

Из-за того, что Алимардан давно не сидел на курпаче, ноги его стали затекать. Он машинально поискал глазами стул и вдруг устыдился этого своего жеста. Как он все-таки изменился за последнее время, стал каким-то другим человеком!..

— Вы думаете, Анвар сразу пойдет домой?— спросил он.

— Да, дорогой, не волнуйся. Уже недолго ждать.— Икбол-хола, понизив голос, добавила:— Невестка скоро должна родить, сын очень беспокоится за нее. С работы сразу же бежит домой. И я хочу внука... Вот уже более четверти века в этом доме не слышался голос младенца! Пошли ей аллах здоровья и счастливых родов, такая она добрая и славная...

Тень печали прошла по лицу Алимардана: он опять вспомнил Шавката.

Икбол-хола проворно встала, побежала во двор и стала хлопотать с угощением в летней кухне.

Прогретый за день воздух был душным и неподвижным, листья тутовника, жаждущие ветерка, уныло повисли железные крыши домов вокруг струили душный жар.

Икбол-хола, подоткнув подол платья, стала поливать из ведра двор, на айван дотянулся пресный запах горячей земли.

В переулке вдруг раздались знакомые шаги Анвара. Первым порывом Алимардана было вскочить и уйти, не дожидаясь появления бывшего друга, не снося унижений. Но он заставил себя остаться на месте: кроме Анвара, ему никто не мог помочь...

Анвар, подходивший к айвану по дорожке, выложенной кирпичом, внезапно остановился. На лице его промелькнуло удивление, затем неприязнь. Постояв минуту, он медленно пошел дальше, протянул Алимардану руку.

«Соблюдает обычай!— насмешливо подумал Алимардан, слабо пожав протянутую руку.— Не то он давно бы уже меня прогнал!»

— Садись,— пригласил Анвар.

Они сели рядом на курпаче.

— Ты давно меня ждешь?

— Да нет... Не очень... Я хотел было уходить уже...

Они опять долго сидели молча, потом Анвар повернул голову:

— За что ты выгнал Мукаддам?

«Слышал уже!»— подумал Алимардан.

— Ты и рад!— пробурчал он, покрываясь краской стыда и гнева.

Анвар тоже вспыхнул, пожал плечами. Мукаддам давно уже была забыта им, а сейчас, когда должна была вот-вот родить Этибор, Анвар только о ней и думал.

— Как ты все еще глуп и эгоистичен!— сказал Анвар дрогнувшим голосом.— Ведь у тебя же сын...

Он задел самое больное место Алимардана.

— Ты лучше не говори про это!— гневно прошипел он.

И Анвар его понял. Он был все-таки чутким и понятливым, друг его детства, и знал Алимардана он едва ли не лучше, чем тот сам себя знал.

— Сходить мне к ней?— спросил Анвар.— Или, может быть, моя матушка сходит?..

И как ни унижительно казалось Алимардану выдать из себя эти слова, но все же пришлось, сделав усилие, произнести это:

— Сходи сам лучше... А матери не говори ничего...

Не дождавшись обеда, который для них готовила Икбол-хола, они поехали к дому Мукаддам.

В узкой улочке стояла пыль столбом: малышня гоняла мяч, дети постарше возвращались из школы.

Алимардан сидел, положив голову на руль, считал удары своего сердца. Анвар что-то долго не возвращался.

Сгустились сумерки, на город опустила крылья птица ночи. В окнах зажегся свет, загорелись голубые экраны телевизоров. Издалека донесся жалобный голос сурная и гудение дойры: кто-то справлял свадьбу. Из парка слышались звуки духового оркестра.

Алимардан нервно закурил и открыл дверцу машины, собираясь выйти,— у него не хватало терпения, но тут увидел идущего Анвара. Он шел один, обхватив себя руками за локти, точно его знобило. Подойдя к машине, он молча сел и продолжал молчать. Алимардан чувствовал, что у него все кипит внутри и что он пытается успокоить себя.

Алимардан включил зажигание, они поехали. Доехав до дома Анвара, Алимардан остановился.

— Мукаддам уехала с сыном в кишлак Айнатак,— сказал Анвар.— Она никогда к тебе не вернется. Если бы я знал, что ты сделал, я бы ни за что не пошел просить за тебя!.. Нечистый, подлый человек! А еще отец!.. Я не хочу больше знать тебя!..

Анвар вышел из машины, сильно швырнул дверцу.

— Ну и катитесь вы все!..— крикнул ему вслед Алимардан.— Проживи и без вас. Подумаешь!

Он включил газ и рванул с места с бешеной скоростью. Машина, словно обезумевшая, неслась по улицам, милиционеры свистели ей вслед, прохожие в ужасе разбегались в стороны.

Глава пятая

1

Два года прошли в каком-то тумане. Алимардан не смог бы сосчитать, сколько вина он выпил за эти два года, со сколькими женщинами кутил. С Кларой, винов-

ницей его несчастий, он, правда, расстался, но были другие и немало...

Теперь он редко выступал по телевизору или в концертах, ездил иногда на гастроли по маленьким городам республики, где его еще помнили, любили и встречали так же тепло, как прежде. Главное же время он проводил на свадьбах и пил, пил, пил...

Иногда, проснувшись среди ночи, он думал, что видит страшный сон, и давал себе зарок бросить пить, начать все сначала, подлечиться, поправить голос, отыскать Мукаддам, Шавката, зажить новой, трезвой, трудовой жизнью... Но утром болела голова, надо было опохмелиться, а после уже все шло по инерции, катилось под горку.

Зуфар Хадиевич вышел на пенсию, его проводили с почетом. После этого пропала последняя связь Алимардана с театром, его туда больше не приглашали.

Однажды Алимардан, как всегда, пришел утром в буфет на вокзале выпить свою рюмку коньяку, пока не начали работать рестораны. Выпил, в голове у него прояснилось, и, подойдя к окну кафетерия, он стал наблюдать за людьми, сновавшими перед входом в вокзал.

Опять была весна. Женщины в низко повязанных платках сажали на цветнике посреди площади рассаду. Снег везде стоял, люди, одетые в демисезонные пальто, ждали машины на стоянке такси, спорили между собой, когда подходила очередная.

Скамейки на площади были полны пассажирами, ожидавшими прихода поезда: светило неяркое солнышко, и никому не хотелось идти в здание вокзала. Кто-то дремал, обняв чемодан, кто-то читал утренние газеты, кто-то просто предавался размышлениям, дымил сигаретой. Женщина, прикрыв грудь платком, кормила ребенка. Подъезжали машины, из них выскакивали люди с вещами, торопясь, неслись в здание вокзала. Проезжали тележки, груженные чемоданами, проходили носильщики.

Алимардан сосредоточенно следил за происходящим, искренне недоумевая: куда они все так спешат, торопятся, намереваясь обогнать друг друга? Ведь в конечном итоге придут они в одно место, потому что стоянка у всех одна...

По трансляции объявили о прибытии какого-то поезда, люди еще больше засуетились. Промчался парень с

букетом цветов, и Алимардан равнодушно вспомнил, что за свою жизнь ни одной женщине, никому не подарил цветов. Ему дарили... Зачем все-таки дарят цветы? Обычай? Глупый предрассудок? Или это приятно дарить цветы, получать цветы? Ему они были приятны только как символ почета. Никогда ему в голову не пришло бы любоваться формой цветка, его запахом, подбором красок в букете. И все тоже так?.. Цветы — символ. Символ славы, любви, уважения, почета... В давние времена люди были умней и практичней, понимали, что человек не лошадь, цветы жевать не будет. Дарили драгоценные камни, золото, деньги. Сейчас этот обычай остался у них на свадьбах: чем больше ты нравишься людям, тем более ценные купюры они суют тебе под тюбетейку...

Алимардана окликнули. Он обернулся и увидел Мутала Кадырова. На нем был серый джемпер, плотно обтягивающий худощавое и мускулистое, как у спортсмена, тело. У Мутала еще не было и намека на брюшко, хотя он был немногим моложе Алимардана: сейчас ему тоже, должно быть, около тридцати.

— Можно мне к вам сесть?

— Садитесь!— Алимардан пожал плечами.— Я не откупил столик.

— Я в Наманган ездил,— словно не замечая его недоброжелательного тона, сказал Кадыров.— Вернулся этим поездом, зашел позавтракать, смотрю, вы сидите...

Алимардан выпил еще коньяку и раздраженно отвернулся. Он не скрывал, что не любит этого парня, встречаясь с ним, отворачивался, не здороваясь. Конечно, он понимал, что так тому суждено было быть: чья-то звезда закатывается, чья-то восходит, но Мутал наглядно втоптал его ногами в грязь, смешал с прахом, а сам все сиял на небосводе — неизменно, как и в первые месяцы славы, любимый публикой.

— Вы ждете кого-то?— спросил Мутал.

— Тебя!— усмехнулся Алимардан.— Расскажи мне про систему Станиславского, что ли... Вообще, проведи разъяснительную работу!..

Опустив глаза, Мутал промолчал. А Алимардана мучила ненависть.

— Никого не ожидаю!..— продолжал он.— Гляжу на людей вот. И тебе советую: посмотри! На концертах они на тебя смотрят, а теперь ты на них полюбуйся. Ты ведь любишь их?..

Алимардан выпил еще, а Муталу официантка принесла заказанное, и он стал есть рубленный бифштекс.

— Люблю...— ответил вдруг Мутал.

— Вот и молодец!— удовлетворенно захохотал Алимардан.— Это ты сейчас говоришь, пока они тебе цветы носят. А когда они забудут тебя?..

— Тогда посмотрю, как будет. Но думаю, что не изменюсь: я же не ребенок, чтобы сегодня любить одно, а завтра другое.

Алимардан снова захохотал и, намазав кусок хлеба горчицей, стал жевать его. На глазах у него выступили слезы.

— А за что их любить?— продолжал он.— За то, что в твоём бифштексе мяса чуть больше, чем в моем куске хлеба? А? За то, что вот среди этой толпы едут люди, которые где-то в Новосибирске втрюдорога будут сбывать прошлогодние яблоки таким же людям, как они?.. За то, что вон та красавица сейчас целует мужа, а завтра, на курорте, будет целовать любовника?..

Мутал, не отвечая, пожал плечами.

— Ты еще простофиля!— сказал Алимардан.— Подожди, жизнь стукнет тебя мордой об стол — откроешь глазки!..

Они долго молчали... Мутал съел бифштекс, выпил кофе с молоком, закурил.

— Мне очень жаль, Алимардан-ака, что у вас так вышло...— сказал, наконец, Мутал.— Я очень любил вас, ваши песни. Я учился у вас петь и быть искренним на сцене... У меня есть все ваши пластинки, я их часто слушаю...— он помолчал, вздохнул и продолжал:— А люди разные... Есть и такие, как вы говорите. Их много, я знаю... Ну, а другие? Моя мать... После смерти отца она не вышла замуж. Тогда мне казалось, что так и должно быть: раз она моя мать, значит, должна жить ради меня. А ведь она овдовела совсем молодой... Но вот я женился сам, у меня есть дети. И только теперь я понял, как нелегко было матери отказываться от своего счастья ради меня... Таких матерей много...

Алимардан уже не слушал его. Он вспомнил свою мать, ее любовь к нему, ее заботы, за которые он так и не смог отплатить, не успел украсить ее старость. Вспомнил, как несколько лет назад, когда он стал встречаться с девушками и, случалось, задерживался, мама, взяв фонарь, выходила к калитке и, сев на землю, поджидала свое дорогое чадушко... И ни слова упрека!.. А сейчас ее

пыльный портрет висит в огромном запущенном доме, и чадушко ее не порадовало бы маминых глаз! Почему-то следом за матерью он вспомнил Шавката, его пухлые ручонки, тянущиеся к его лицу, черные улыбающиеся глазки, румяные губы, пускающие пузыри. Сейчас его мальчик уже большой, ходит, лепечет что-то.

Сердце у Алимардана сжалось, и, чтобы не расплакаться на глазах этого выскочки, он встал и ушел.

Шел по улице, неуклюжий в своем демисезонном пальто, и упрямо думал, что дождется все-таки. Все-таки дождется! Мукаддам рано или поздно придет к нему: есть ребенок, она любит его, своего мужа. Такая сильная, преданная любовь не могла пройти из-за глупости. Мукаддам вернется к нему!..

Но она не вернулась. Вместо нее в один из дней принесли ему повестку в суд. Алимардан принял ее, не осознавая, как бы во сне. Он не понял, что это конец, совсем конец. В суд он шел радостный, надеясь увидеть Шавката.

Однако Шавката он не увидел, Мукаддам приехала без него. Она мало изменилась, только кожа на лице чуть огрубела, возле глаз и вокруг губ легли морщины: видно, ей много приходится теперь бывать на воздухе, на ветру, под солнечными лучами.

Она сидела спокойная, красивая, положив на колени грубые красные руки, негромко, но уверенно и спокойно отвечала она на вопросы судьи. Отвечал и Алимардан, не вполне сознавая, что говорит. Их развели.

На троллейбусной остановке Алимардан догнал свою бывшую жену.

— Мукаддам-хон, где Шавкат?— умоляюще спросил он.— Я хочу его увидеть, я истосковался...

Мукаддам мельком глянула на него: она торопилась в универмаг купить Шавкату трехколесный велосипед, как пообещала, уезжая.

— Шавкат дома, в кишлаке.

— Когда же я увижу его?— Алимардан задышался от волнения.— Аллах, вы лишили меня самого дорогого. Это жестоко... И потом вы не имеете права: я отец его!..

— Вы не смогли стать ему отцом!— сказала Мукаддам.— Пеняйте на себя!..

Она села в троллейбус и уехала. Алимардан тоже сел в свою «Волгу» и поехал в ресторан «Ташкент».

Алимардан давно сделался завсегдатаем ресторана «Ташкент». Он заходил сюда почти ежедневно, зная, что здесь его ожидает отдельный столик и бутылка лучшего коньяка. Едва он садился, официантки, ни о чем не спрашивая, несли коньяк.

В этот вечер он так же, как всегда, зашел в «Ташкент», сел за свой столик и, не дожидаясь, пока принесут закуску, выпил подряд две рюмки коньяку и после, через короткую паузу, третью. В голове у него сразу прояснело, смятенный дух успокаивался. Сегодня ему сообщили довольно печальное известие: оказывается, еще месяц назад, почти сразу после получения развода, Мукаддам вышла замуж за лесовода Кабира, живущего там же, в Айнатаке. Лесовод этот давно засылал к ней сватов, но Мукаддам не соглашалась из-за ребенка. Однако, значит, этот ловкий Кабир все же сумел ее уговорить...

Алимардана мучила ненависть и тяжкая ревность. На Мукаддам ему было теперь наплевать: он вообще утратил в последнее время интерес к женщинам, обнаружив, что общение с бутылкой коньяка менее хлопотно и сулит неизмеримо большие наслаждения. Но его мальчик, его Шавкат, который не успел запомнить лицо своего отца, теперь будет звать отцом чужого дехканина — об этом Алимардан не мог думать спокойно, его душила ненависть и жажда отмщения.

Выпив еще две рюмки и закусив какой-то соленой рыбой, Алимардан с истовостью маньяка уставился перед собой и все перебирал способы и пути, используя которые, можно будет увидеть мальчика и забрать его.

На эстраду вышел парень с рубаком и стал играть и петь что-то. Алимардан в раздражении поднял голову: голос певца был пропитой, осилший, фальшивящий. «Вероятно, это один из тех недоносков, которые, вылетев со второго курса консерватории, мнят себя певцами!..» — злобно подумал Алимардан и стал глядеть на парня в красном свитере и польских джинсах, раздувая от гнева ноздри. Однако пьяный взгляд Алимардана парня не испепелил: кончив одну песню, он лихо принялся разделяться со следующей. Алимардан хотел было подняться и подойти к сцене, чтобы прогнать наглеца, но внезапно снова опустился на место.

«Будь счастлива, моя хорошая, я ухожу, потому что мной овладела страсть...»

Это была его песня! «Песня юноши»... Алимардан, ухмыляясь, неотрывно глядел в лицо певцу, глаза его то и дело застилала пьяная слеза. Его первая, подхваченная всеми песня, которую он когда-то сочинил для Мукаддам, песня, витавшая над их брачным ложем, над его молодостью и славой!..

«Я думал о тебе, солнцеликая моя, дни и ночи, а ты даже не спросила, живой ли я еще, зажили мои раны или нет...»

Раньше, исполняя песню, Алимардан не особенно обращал внимание на слова. Сейчас же, закрыв лицо ладонями, он повторял: «Когда мы встретились, все прочили тебе беду, но вот я ухожу, и в беде мое сердце, а твое спокойно...»

Как же так все-таки случилось, что за такой короткий срок он потерял все: молодость, красоту, славу, друзей, жену, сына... Не слишком ли много потерь для одного человека?..

Песня закончилась, раздались жидкие аплодисменты. Певец, кончив раскланиваться, поднял рубаб, чтобы начать новую. Алимардан, налив до краев коньяком фужер для воды, встал и властно закричал:

— Стой!

Голос его потонул в шуме ресторана, только от ближних столиков обернулись люди и снова занялись своей беседой. Алимардан, пошатываясь и задевая сидящих, прошел к эстраде.

— Стой!— крикнул он еще раз. Теперь его услышали.

Певец обратился к нему сначала снисходительно-равнодушно, приняв за очередного пьянчугу, потом узнал, лицо его преобразилось, он почтительно поклонился.

— Что вы хотели, Алимардан-ака?

— Повтори!— крикнул Алимардан и достал из кармана несколько смятых десятков.— Повтори песню! Тысячу раз! Слышишь!..

Еще раз почтительно поклонившись, певец взял рубаб в руки.

Алимардан пошел обратно к столику. Подойдя совсем близко, он неприятно удивился: за столом сидел какой-то парень в красной тюбетейке, с пышными усами. Увидев Алимардана, незнакомец встал и почтительно поздоровался.

— Я вас сюда звал?— раздраженно, не ответив на приветствие, спросил Алимардан.

Незнакомец, растерявшись от грубого приема, покраснел и, раскрыв рот, произнес:

— Я..

— Нет, вы скажите, я вас звал сюда?...— снова перебил его Алимардан, дрожа от злости.— Я вас приглашал к себе за стол?

Незнакомец, еще больше растерявшись, неуверенно проговорил:

— Но я пришел, разыскивая вас, домулла!

Алимардан, остывая, опустил на стул.

— Что вы от меня хотели?..

— Я был в театре, мне сказали, что вы здесь, наверное... Дело в том, что мы проводим свадьбу...

Алимардан снова пришел в раздражение: что за люди, умереть не дадут спокойно!.. Не нужны ему ни деньги, ни свадьба, никто не нужен!.. Устал от шума, суеты от всего устал, пусть оставят его в покое!..

— Подите прочь со своими делами!— бросил он.— Пройдет ваша свадьба и без меня.

Он закрыл лицо руками и облокотился о стол, повторяя негромко слова песни, которую во второй раз исполнял певец: «Но вот я уйду, и в беде мое сердце, а твое спокойно...»

Когда он спустя много времени поднял голову, незнакомец все еще сидел перед ним.

— Я же сказал, не поеду!— крикнул Алимардан.— Что вы тревожите меня!..

— Я приехал из самого Айнатака, домулла,— смущенно сказал парень.— Свадьба не моя, наш председатель женит сына в воскресенье. Ранс специально прислал меня за вами, очень просил уговорить...

Алимардан выпрямился и внезапно обретшим ясностью взглядом посмотрел на просителя.

— Да, домулла. Издалека. Не откажите!.. Оставить вам деньги?

— Откуда, ты говоришь? Из Айнатака?..

— Не нужны мне твои деньги!— пробормотал Алимардан.— Я еду!..

3

Свадьба была как свадьба — не лучше и не хуже других, каких сотни за последние три года провел Алимар-

дан. Только он не пил сегодня ничего и пел поэтому лучше, чем обычно. Мозг его сверлила мысль: увидеть сына, увидеть сына!.. А для этого ему надо было быть трезвым. Он знал, что если глотнет, то уж не остановится, и потому, когда председатель поднес ему пиалу с водкой, он холодно отставил ее: «Выпью — петь не смогу. И сердце болит...» Раис больше не наставлял, робея перед высоким гостем.

Алимардан пел, представляя, что где-то в толпе женщин на него смотрит Мукаддам с маленьким Шавкатом, а за дастарханом на коврах сидит Кабир и, похохатывая, рассказывает соседям, как он отбил у знаменитого певца жену и сына. А может, он, подобно другим, сунул ему под тибетейку пятерку, чтобы унижить его...

Каждый раз, когда ему совали деньги, Алимардан отказывался, но особо чувствительные горные жители, не избалованные приездом знаменитостей, буквально засыпали его деньгами. И раис настоял, чтобы он взял положенные ему за свадьбу триста рублей.

Когда свадьба шла к концу, вдруг с гор понесся сильный ветер, мгновенно перешедший в буран. Затрещали ветви вишен во дворе, ветер поднял с ковров дастархан, попадали, разбиваясь, бутылки, пиалы. Люди забеспокоились, загалдели, зашумели, стали торопясь проталкиваться в помещение. Следующий сильный порыв ветра сорвал со стены айвана свадебный паяк, висевший позади почетного стола, невеста испуганно закричала и закрыла ладонями лицо.

Висевшая среди двора огромная тысячесвечовая лампочка начала сильно раскачиваться — и вдруг лопнула, осыпав сидящих внизу множеством осколков. Двор погрузился во тьму. Из дому вынесли десятилинейную керосиновую лампу, но порыв ветра тут же сорвал стекло и погасил огонь.

Сверкнула молния, озарив остроконечные вершины гор и сонмы черных зловещих туч, стоящих над ними. Сразу же последовал оглушительный раскат грома. И снова молния, и снова гром.

Протолкавшись сквозь суетливое скопление забывших о нем людей, Алимардан подошел к своей машине, открыл дверцу, зажег фары, включил зажигание. Кто-то дернул дверцу за ручку, потом заглянул в лобовое стекло, постучал.

— Чего? — спросил Алимардан грубо, после, узнав

председателя, накинувшего от дождя на голову бекасовый чапан, повторил мягче:— Что вы хотели?

— Вы уезжаете?— крикнул председатель.— Оставайтесь, дорога плохая! Завтра поедете.

Алимардан и не думал уезжать, не для свадьбы он ехал в такую даль! Ему надо было разыскать дом Мукаддам, сидя в машине, он размышлял как раз об этом.

— Стоит ли оставаться?— сказал он между тем, делая вид, что колеблется.— Завтра у меня дела...

— Дела подождут!— председатель улыбнулся.— Сейчас вас Шадывай отвезет к себе домой, переночуете, а утром и в дорогу!.. Сейчас!— крикнул обрадованно председатель и убежал в дом. Вернулся он тут же с тем самым парнем, который приходил к Алимардану в ресторан.

Алимардан отворил дверцу. Шадывай тяжело сел на сиденье и начал отряхивать пыль с одежды.

— Эге, как беснуется ветер, пыль до неба поднялась!— пробормотал Шадывай, показывая Алимардану серые от пыли брюки и рукава праздничного костюма.— Ну что, поехали? Направо сейчас.

Алимардан с раздражением покосился на то, как пассажир обивал с себя пыль в машине. Но сдержался, ничего не сказав. «Что поделаешь, кишлачный народ, не понимают ничего!.. Должно быть, и муж Мукаддам из таких же недотеп...»

При мысли о том, что, возможно, через несколько минут он увидит своего дорогого мальчика, сердце у Алимардана стало биться гулко и часто. «А может быть, я и увезу его, если удастся... Может, ее мужу не нужен чужой ребенок, своих будет, как маку... Отдадут! Не отдадут — тайно увезу, украду. Уеду с ним куда-нибудь в район, пусть ищут!.. Что, разве я не имею права?...»

Алимардан осторожно вел машину по узеньким — ослу пройти только — улочкам кишлака, машину трясло на выбоинах. Шадывай то и дело указывал ему куда сворачивать. Брехали собаки.

Маленькие, как бы затерянные среди скал и утесов глиняные домишки испуганно притихли и затаились. В окнах не светило ни одного огня, словно кишлак вдруг вымер.

Снова сверкнула молния, осветив рваные, врезавшиеся в небо вершины, тут же рассыпался, долго, оглуши-

тельно грохоча, гром. Затем вспышки и раскаты стали следовать один за другим, словно скалы обваливались на кишлак.

— Ого, разбушевалась стихия!— сказал Алимардан нарочно веселым голосом, пытаясь отвлечься.

— Это еще что, уважаемый гость!— ответил торопливо Шадывай.— У нас тут такие грозы бывают в эту пору, легче оглохнуть, чем такое слушать! Страху натерпишься...

О ветровое стекло застучали редкие капли, потом хлынул ливень. Дорогу совсем не стало видно, машина шла, как по морю, шелестя колесами в понесшемся по улицам потоке.

— Не знаешь, где дом Кабира?— собравшись с духом, спросил Алимардан и, почувствовав, как задрожал у него голос, разозлился на себя.— Агронома Кабира?

— Вы говорите про лесовода нашего?— удивленно спросил Шадывай.— Здесь, как раз на этой улице, в конце. А вам зачем?

— Я хочу заехать к нему,— хрипло, изо всех сил стараясь быть естественным, сказал Алимардан.— Мы старые друзья, давно не виделись...

— Да полноте, уважаемый гость!— взмахнул рукой и улыбнулся Шадывай.— Сегодня вы сделайте честь моему дому, будьте гостем. А завтра к Кабиру.

— Да нет, поедем сейчас!— решительно сказал Алимардан и замолчал. От волнения у него дрожали руки и пересохло в горле.

Они проехали мимо магазина, выделявшегося среди домов поселка белеными стенами, потом Шадывай коснулся локтя Алимардана.

— Здесь, домулла! Мы приехали!

Алимардан мгновенно выключил мотор, остановив машину на подъеме, и вышел. Он сразу промок до нитки и стал дрожать.

— Идемте, пожалуйста!— закричал Шадывай.— Оставьте машину, пойдемте в дом.

Снова блеснула молния, осветив узкую улочку.

— Вот он сам, легок на помине!— прокричал Шадывай.— Вот он идет, домулла! Вон сам Кабир!

При новой вспышке молнии Алимардан увидел подходившего к калитке человека, на поводу он вел лошадь. Шадывай поспешил Кабиру навстречу, поздоровался с

ним за руку. Алимардан услышал, как Шадывай, заканчивая какое-то объяснение, произнес:

— Вот он и сам, ваш гость из Ташкента.

Переборов в себе страх и раздражение, Алимардан шагнул навстречу хозяину дома. Его мучил болезненный интерес к нему.

Они столкнулись перед воротами, под стрехой которых висела неяркая лампочка. Пожимая протянутую ему жилистую руку, Алимардан всматривался в Кабира. У того было узкое сухое лицо, тонкие усы над сочными губами, небольшие, в нависших веках глаза. Он улыбнулся — блеснула полоска очень белых мелких зубов. То ли от грубых сапог, то ли от плаща его шел какой-то противный запах, похожий на запах рыбьего жира. Алимардана замутило.

«И эта вонючая скотина стала отцом моего ребенка?» — раздраженно подумал он и выдернул руку.

Кабир все еще внимательно глядел на него, вероятно, пытаясь вспомнить, где и каким образом они встретились.

Лошадь, которую Кабир держал на поводу, вдруг испуганно вздернула голову, повела широко глазами и заржала.

— Тихо! — прикрикнул Кабир тонким резким голосом. — Стоять! Проходите, дорогой гость! — продолжал он с учтивостью, свойственной горным жителям.

— Что ж вы не приходили на свадьбу? — спросил Шадывай.

— Я поднимался на Айнатак, — сказал Кабир и, повернувшись к Алимардану, повторил: — Прошу в дом, дорогой!

— Тогда я вернусь к раису? — спросил Шадывай, и Алимардан кивнул.

— Да, конечно, идите. Вы мне больше не нужны.

Нагнувшись в низком проходе калитки, они вошли во двор. Сверкнувшая молния осветила вишни, росшие во дворе, конюшню в углу.

Кабир, отпустив лошадь, распахнул перед Алимарданом дверь в дом.

— Прошу вас, — произнес он, заходя следом. — Проходите, я сейчас вернусь, только расседлаю лошадь и поставлю в конюшню, а то она все грядки затопчет.

Алимардан оглядел низенькую комнату, освещенную

тусклой лампочкой. Потолок, обитый обоями, ниши, где стояла немногочисленная бедная посуда, грубая кошма на полу... И на это убожество Мукаддам променяла его роскошный дом, его самого!..

Он наклонился, чтобы развязать шнурки туфель, вдруг дверь комнаты, заскрипев, отворилась, вбежал маленький мальчик.

— Папа, папа!— закричал он и, миновав Алимардана, бросился к Кабиру.

Тот, присев на корточки, протянул руки, его грубоватое лицо преобразилось от нежности.

— Ну-ка, ну-ка, иди сюда, мой сладкий, мой ненаглядный, кроха моя!..

Подхватив Шавката на руки, Кабир поднял его к потолку и стал целовать в щеки и шейку,— должно быть, кончики усов щекотали нежную кожу,— мальчик ежился и закатывался от смеха.

Алимардан стоял неподвижно, словно его поразил паралич.

— А ну, подойди к дяде, поздоровайся!— сказал Кабир, поставив малыша на пол.— Он у нас уже большой, не ложится спать, пока папка домой не вернется... Ну, что нужно сказать?..

Шавкат, однако, не подошел к Алимардану, отчужденно посмотрел на него искоса и, сложив ручки на животе, нахмурил брови.

— Ты что, забыл, как нужно здороваться?— засмеялся Кабир.— Он у нас дикарь, дядя, совершенный дикарь!.. Ну, раздевайтесь, проходите. Я сейчас...— И, заглянув в приоткрытую дверь он крикнул:— Мать, гость в доме!

Кабир вышел. Алимардан, дрожа, кинулся к сыну.

— Шавкат!— прошептал он.— Маленький... Сыночек!

Шавкат попятился от него боком и прижался к стенке.

— Шавкат!— простонал Алимардан, и ребенок, видимо, почувствовав что-то, быстро из-под нахмуренных бровей посмотрел на Алимардана. Это был его взгляд — из-под бровей ребенка на Алимардана со знакомым по портретам выражением глядели его собственные, тураевские глаза!

Забыв обо всем, Алимардан схватил, прижал к себе сына и стал целовать, жадно вдыхая запах чистой дет-

ской кожи, молока, родного нежного тельца, перебирал мягкие пальчики, ласкал, ласкал не обращая внимания на то что ребенок, испугавшись, начал хныкать и вырываться. Он давно уже никого так самозабвенно не ласкал..

Шавкат захныкал громче, завизжал испуганно — и тут же раздался крик. Алимардан поднял голову: в дверях комнаты стояла Мукаддам. Она была одета в застиранное старенькое платье, без платка на голове.

Бросившись к Шавкату, она вырвала его, схватила на руки и задом, пятясь, глядя на Алимардана остановившимися от ужаса глазами, вышла из комнаты, плотно закрыла за собой дверь.

Алимардан постоял в растерянности, потом повернулся и медленно побрел прочь. В темноте он наткнулся на Кабира, ничего не ответив на его недоуменный окрик, вышел за ворота, сел в машину.

Он спустился по улочке, развернулся и выехал на горную дорогу, ведущую в город.

Сначала Алимардан ехал медленно, заворуженно глядя перед собой, он видел, как Шавкат со сверкающими глазенками бросается к Кабиру и как отворачивает неприязненно личико от поцелуев настоящего отца, как выдирается из его объятий, визгливо плачет, словно Алимардан причинил ему своими поцелуями боль..

Полыхали молнии, освещая острые вершины гор, грязную, мокрую дорогу и бурный, вспученный поток, несущийся рядом, под обрывом. Алимардан, открыв боковое стекло, подставил лицо хлещущим струям дождя. Руки его привычно покачивали руль, следуя извивам дороги, но дороги он уже не видел, не помнил, где он.. Потом он резко крутанул руль — и «Волга», повиснув на секунду задними колесами на краю обрыва, опрокинулась набок, легла на крышу, затем снова набок — дальше Алимардан уже не слышал ничего, он ударился виском и потерял сознание. Уйдя в поток, машина не стала сопротивляться стихии, горная бешеная вода мгновенно расколотила ее о камни, поволокла вниз, вышвыривая на отмель то капот, то часть кузова, то шасси и, наконец, человеческое тело.

Похороны Алимардана не были пышными и многоядными. Старый художественный руководитель, преподавательница консерватории, еще два-три человека — и все. И юноша, когда-то игравший с ним здесь, неподалеку, на берегу тихой деревенской речки. И женщина, ко

торой он не принес счастья. Постояли, склонив головы над могилой, уронили несколько слез, ушли.

День был ясный, тихий, солнечный. На деревьях, покрывшихся молодой листвой, свистели птицы, среди травы светились каплями крови крохотные полевые тюльпаны. И летали яркокрылые мотыльки. Весело порхали с цветка на цветок, красуясь на заходящем солнце, нисколько не заботясь о том, что жизни им осталось чуть больше часа, до захода...

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ. *Перевод автора.*

Светлые лунные ночи	4
Утешение	6
Сон	7
Кваква — ночная птица	8
Долг	9
Две легенды	9
Вязаные носки	14
Самый тяжкий грех	16
Плач ребенка	19
Измена	21
Фотокарточка	26
Книга	26
Шейх нашей махалли	27
Той	29
Терпение	33
Пожелание дедушки Ирмана	36
Моя тетушка Ача	51
Совесьть	58
Я нашел свою сестру	72
Базар	83
Золотые серьги	94
Мать русского мальчика	107
«Взятка» Наима парикмахера	118
Ходжа	124
Свет луны — от солнца	133
Продавец семечек	146
Сваты	152
Мастер	164
Зависть	167
Хвост ящерицы	170
Колыбельная	177

Мрамор белый. Мрамор черный	180
Мольба	181

ДЕНЬ МОТЫЛЬКА. *Перевод М. Ганиной.*

Глава первая	184
Глава вторая	218
Глава третья	244
Глава четвертая	265
Глава пятая	286

УТКУР ХАШИМОВИЧ ХАШИМОВ

ДЕЛА ЗЕМНЫЕ

Повести

Перевод с узбекского

Переиздание

Редактор *А. Липкина*

Художник *В. Чуб*

Художественный редактор *А. Кива*

Технический редактор *Р. Рахматуллина*

Корректор *К. Байходжаев*

ИБ № 3808

Сдано в набор 24.09.87. Подписано в печать 25.01.88. Формат 84×108¹/₈₈. Бумага типографская №2. Гарнитура литературная. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.—оттисков 16,38. Уч. изд. л. 17,18. Тираж 60000. Заказ № 1066. Цена 1р.10к. Договор № 141—87.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129, Ташкент, ул. Навои, 30.

ГП ТППО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ташкент -700129, ул. Навои, 30.

Хашимов, Уткур.

Дела земные: Повести: [Пер. с узб.].— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1988.—304 с.

В книгу известного узбекского писателя — Лауреата Государственной республиканской премии им. Хамзы, автора многих произведений Уткура Хашимова включены его повести «Дела земные» и «День мотылька».

Повесть «Дела земные» посвящена самому светлому чувству — любви к матери. В повести «День мотылька» — писатель рассуждает о месте и самоутверждении человека в жизни.

У32